

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

М. Могильнер



МИФОЛОГИЯ
«ПОДПОЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕКА»

МИФОЛОГИЯ «ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Марина МОГИЛЬНЕР

МИФОЛОГИЯ
«ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»:
РАДИКАЛЬНЫЙ МИКРОКОСМ
В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА
КАК ПРЕДМЕТ
СЕМИОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Новое литературное обозрение
Москва
1999

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Предисловие | 5 |
| Часть I | |
| В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО | 19 |
| МИФ О ГЕРОЕ | 41 |
| С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ | 61 |
| НИЗВЕРЖЕНИЕ В ХАОС | 72 |
| Часть II | |
| КОНЕЦ ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭПОХИ | 91 |
| «КОНЬ БЛЕДНЫЙ» | 102 |
| ИСКУШЕНИЕ СВЕРХЧЕЛОВЕКОМ | 121 |
| ВЕТЗИЕ ЗАВЕТЫ | 133 |
| Часть III | |
| КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» | 155 |
| КРОВЬ НА СЕРЕБРЕ ВЕКА | 177 |
| НА ЗАРЕ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА: ОБРЕТЕНИЕ ИСТОРИИ | 197 |
| «И УВИДЕЛ Я НОВОЕ НЕБО И НОВУЮ ЗЕМЛЮ» Вместо эпилога | 205 |

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. XVI

Художник серии
Н. ПЕСКОВОЙ

В оформлении книги использованы рисунки из сатирических журналов «Пчела», «Маски», «На распутье», «Нагаечка», «Отбой», «Паяц», «Пулемет».

Могильнер М.

Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. — М.: Новое литературное обозрение, 1999. — 208 с.

Книга посвящена исследованию радикальной мифологии начала XX века, под влиянием которой находилась дореволюционная леворадикальная интеллигенция. Автор выявляет корни этой мифологии, многие из которых обнаруживаются в художественной словесности того времени. Анализ литературных произведений, героями которых были подпольные террористы, профессиональные революционеры и пр., позволяет проследить связь идеалов и ценностей интеллигенции с политикой, социальное функционирование соответствующих миров.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Что можно считать явным признаком соприкосновения с областью мифологического? Пожалуй, первым симптомом служит удивительная красочность и насыщенность нашего представления о феномене, о котором нам известно, в общем-то, не так уж и много. Исторический материал в этом смысле насквозь мифологичен. Два-три факта, несколько имен и дат — вот подчас все, что нам доподлинно известно о событии, которое живет в нашем воображении и рождает целый веер эмоций. Что-то подобное происходит при произнесении слова «причина», назывании имени «Кутузов» или попытке представить «битву на Чудском озере». От воздействия такой мифологии избавиться практически невозможно ни на уровне обыденного сознания, ни в рамках научного дискурса.

Пожалуй, лучшей иллюстрацией сказанного является академическая история дореволюционной российской интеллигенции, которая естественным образом находится в зависимости от влиятельных мифологем, созданных интеллигенцией в порядке самоописания¹. Пика могущества миф достигает тогда, когда речь заходит о леворадикальной интеллигенции, представители которой на уровне обыденного сознания персонифицируются в образах самоотверженных героев с бомбой, а в пределах научного подхода рождают герооцентричную историографическую тенден-

¹ Советская историография преодолевала воздействие дореволюционной интеллигентской мифологии с помощью другого мифа, возведенного до уровня методологического принципа. Марксистская трактовка предполагала социологическое объяснение феномена интеллигенции, которое, в свою очередь, тоже присутствует в наборе дореволюционных моделей самоописания: *Лейкина-Свирская В. Р.* Интеллигенция в России во второй половине XIX века. — М.: Мысль, 1971. Ее же: *Русская интеллигенция в 1900–1917 годах.* — М.: Мысль, 1981; *Ерман Л. К.* Интеллигенция в первой русской революции. — М.: Наука, 1966; *Федюкин С. Л.* Великий Октябрь и интеллигенция. — М.: Наука, 1972; *Ушаков А. В.* Демократическая интеллигенция периода трех революций в России. — М.: Просвещение, 1985, *Знаменский О. Н.* Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль—октябрь 1917 г.). — Л.: Наука, 1988. и др. Интересна попытка В. Р. Лейкиной-Свирской — автора основных обобщающих трудов по истории российской интеллигенции — освободиться от влияния моделей прошлого. Понимая, что интеллигенция не укладывается в классовую схему ни по социальному составу, ни по экономическим характеристикам, Лейкина-Свирская обращается к оригинальным определениям самих интеллигентов, разбивая их на народнические, марксистские, либеральные, правительственные и др. Тем самым демонстрируется комплексность и неоднозначность изучаемого феномена. Исследовательница не желает идентифицировать себя ни с одной из этих позиций, объявляя, что изучает интеллигенцию как социальный слой. При этом критерии выделения этого слоя как некой целостности не даются, зато сама целостность разби-

цию². Подобная зависимость историка от моделей, созданных персонажами его исследований, должна четко осознаваться как одна из основных когнитивных проблем исторической дисциплины³.

Помимо рокового для отечественных гуманитариев обаяния радикальной мифологии изучение создателей и носителей радикальной субкультуры — радикальной интеллигенции — осложняется тем непосредственным впечатлением, которое возникает при первом же знакомстве с текстами, созданными этой субкультурой. Поражает утрированная литературность совсем «нелитературных» по своему характеру документов: частных писем, передовых статей в партийной печати, выступлений на судах, предсмертных записок террористов и т.п. Совершенно очевидно, что, будучи неотъемлемой характеристикой текстов, оставленных российскими радикалами начала века, утрированная литературность должна была играть важную роль в их мировосприятии. Можно ли решить эту проблему в контексте исторического исследования, оставаясь в рамках научного дискурса?

ваются на группы в зависимости от выполняемых «исторически обусловленных общественных функций» (*Лейкина-Свирская В. Р.* — 1971. — С. 17). Хотя Лейкина-Свирская особо подчеркивает, что эти функции не сводятся к профессиональным, на деле ее классификация основана именно на профессиональном признаке: чиновники, офицерство, духовенство; технические кадры; медики; учителя; работники науки; цех литературы; деятели революционного движения. Последние никак не вписываются в предложенную схему (если только все революционеры не объявляются профессиональными революционерами, и это занятие приравнивается к легальным профессиям, что само по себе достаточно проблематично). Учтя противоречия в классификации интеллигенции (и игнорируя изначально неясное ее определение), в следующей монографии Лейкина-Свирская откровенно приравнивает социальный критерий к профессиональному: «Социальным критерием в изучении интеллигенции для нас служит ее профессиональная трудовая деятельность в пределах определенных функций...» (*Лейкина-Свирская В. Р.* — 1981. — С. 3).

На перестроечном и постперестроечном этапе об интеллигенции писали и пишут прежде всего в жанре исторической публицистики, воспроизводя все дореволюционные интеллигентские мифологемы. Историки же, наряду с признанием надуманности и ограниченности как классовой трактовки интеллигенции, так и практиковавшейся в советской исторической науке профессиональной идентификации этого слоя (работники умственного труда), стремятся уйти и от растворения в исторической мифологии. Авторы новейшего сборника «Интеллигенция и российское общество в начале XX века» (СПб., 1996) просто игнорируют проблему определения предмета их научного интереса, де-факто отождествляя интеллигенцию то с членами политических партий, то с академическими слоями. Их коллеги, участвовавшие в параллельно вышедшем сборнике «Интеллигенция в условиях общественной нестабильности» (М., 1996), не смущаются тем, что одно и то же определение интеллигенции может содержать совершенно противоречивые характеристики (при этом сборник иллюстрирует уже отмеченную тенденцию: определения предлагают социологи и философы, историки же либо пассивно их принимают, не замечая противоречий, либо вычлениют свой предмет эмпирически).

² Не избежал определенного «герое-центризма» и автор лучшего на сегодняшний день исследования эсеровского террора Р. А. Гордонничий (*Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901—1911 гг.* — М.: РОССПЭН, 1998).

³ Один из важных аспектов этой проблемы рассмотрен М. Одесским и Д. Фельдманом в книге «Поэтика террора» (М., 1997). Они практикуют «семантический подход к истории» — исследование «конструкций и терминов, используемых носителями "террористического менталитета" — на каждом историческом этапе» (С. 9). Их подход возможно распространить и на научную реконструкцию сюжетов радикальной истории.

Замысел этой книги возник именно в ходе подобных размышлений о возможности превратить радикальную мифологию в объект серьезной научной рефлексии и придать истории российской радикальной интеллигенции начала века необходимую ей литературную (не литературоведческую) доминанту. Для сопротивления обаянию радикальной мифологии пришлось погрузить ее в исторический контекст, проследить ее источники, социальные функции, соотношение с другими слоями радикального сознания. Поиски корней радикальной мифологии вели к конкретным литературным произведениям, и постепенно все тексты, созданные радикально настроенными писателями для своих «идеальных читателей», предстали как один великий мифологический эпос, как первичный культурный код мира российских радикалов. Эфемерность этого мира, длительное отсутствие легальных политических, образовательных и прочих институтов, где бы взгляды радикальной интеллигенции могли быть открыто признаны, привели к утрате роли литературы. Не случайно всякому, «желающему ознакомиться... с надеждами той части русского общества, которая создает историю», знаменитый представитель российского радикализма Петр Кропоткин предлагал «обращаться не к официальным изданиям и не к передовым статьям, а к произведениям русского искусства»⁴.

Литературный эпос радикализма успел приобрести законченные формы к началу XX века, именно к тому моменту, когда наряду с окончательной кристаллизацией типа профессионального революционера, организационно оформилась партийная система, определявшая политическую историю радикальной интеллигенции и страны в целом вплоть до Октября 1917 года⁵. Несмотря на партийные и программные размежевания, оппозиционные партии, вместе с близкой к ним по духу периодикой и литературой и их широкой читательской аудиторией, говорили на одном языке — языке некоего единства, противопоставившего себя режиму. Это единство получило название «Подпольная Россия»: емкая характеристика, часто встречающаяся в печати тех лет, описывавшая мир профессиональных революционеров, членов левых политических партий и общественно-культурную среду, питавшую радикализм. Понятие «Подпольная Россия» изначально возникло как название литературного произведения: в широкий обиход его ввел террорист и писатель С. Степняк-Кравчинский в серии одноимен-

⁴ Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. — СПб.: Изд-во «Труд», 1907. — С. 2.

⁵ Шелохаев В. В. Феномен многопартийности в России // Крайности истории и крайности историков. Сб. статей. — М.: РНИСиНП, 1997. — С. 9—20.

ных беллетристических «революционных профилей» в 1882 году⁶. В определенном смысле Степняк-Кравчинский был основателем радикальной мифологии, поскольку речь идет не о мифах как устном предании, а о мифологии литературной.

Литературное мифотворчество не случайно оказалось наиболее адекватной формой интеллигентской саморефлексии. Невостребованность новой модернизированной элиты традиционалистскими государственными структурами, отчуждение как от народа, так и от государства, выпадение из сословной лестницы, неукорененность в традиции и в настоящем стимулировали интеллигенцию к моделированию собственной биографии и исторической миссии, к поискам своей социально-политической ниши. Преодолевая границы национальной специфики российской интеллигенции, можно утверждать, что интеллигент — это интеллектual в модернизирующемся обществе, именно поэтому выполняющий ряд несвойственных интеллектualу функций по реорганизации общества в поисках установления собственной комплексной (интеллектualной, социальной и политической) идентификации⁷. Но в России интеллигенция слишком долго оставалась невостребован-

⁶ Художественные очерки С. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия» первоначально были написаны на итальянском языке и впервые напечатаны в миланской газете «Il Pungolo» в виде корреспонденций из Швейцарии. Отдельной книгой «Подпольная Россия» появилась сначала в Италии (1882), затем вышла в английском переводе в Лондоне (1883). Тогда же несколько очерков были переведены на русский язык и печатались в нелегальных изданиях. Полный текст очерков на родном языке автора был издан в 1893 г. (Лондон, изд-во Фонда русской прессы). Часть тиража выпустили на тонкой бумаге, контрабандой доставили в Россию, отпечатали на гектографе, и книга сразу обрела популярность и известность среди российских читателей. Первые легальные издания очерков появились в России только в годы первой революции (1905—1907), но уже накануне 1905 года нелегальные типографии выпускали отличные издания «Подпольной России» с добавлением «Заключения», написанного Степняком специально для русского издания через 12 лет после появления очерков на итальянском языке. Скажем, в ходе обыска нелегальной типографии в Казани (22. 02. 1904) главной находкой оказались «40 экземпляров свежоотпечатанных гектографическим способом начала брошюры под заглавием «Подпольная Россия» (с 1 по 40 стр.)», обложка к ней с «рисунком преступного характера», рукопись восьмого по порядку очерка «Петр Кропоткин» и приговоренная для печатания на гектографе, переписанная печатными буквами рукопись «Заключения» (НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 237. Л. 32).

⁷ Ср.: Герасимов И. Российская ментальность и модернизация // Общественные науки и современность. — 1994. — № 4. — С. 63—73. Подобный подход был удачно реализован в большинстве американских работ в области интеллектualной и социальной истории России. См.: Richard Pipes (Ed.) *The Russian Intelligentsia* (New York and London: Columbia University Press, 1961). Особенно ценная с теоретической точки зрения статья Мартина Малии «Что такое Интеллигенция» (Martin Malia, «What Is the Intelligentsia?», p. 1—21), где вводятся исследовательские координаты, определяющие и наше понимание интеллигенции: западный интеллектual — российский интеллигент и традиционное общество — модернизированное общество; Marc Raeff, *Origins of the Russian Intelligentsia* (N.Y.: Harcourt, Brace & World, Inc., 1966); Christopher Read, *Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia 1900—1912* (Trowbridge and Esher: Redwood Burn Ltd., 1979); Andrzej Walicki, *A History of Russian Thought from the Enlightenment to Marxism* (Oxford: Clarendon Press, 1980); Gary Saul Morson, «What Is the Intelligentsia? Once More, an Old Russian Question» in *Academic Questions*, 1993, v.6, # 3, summer, p. 20—38; Philip Pomper, *The Russian Revolutionary Intelligentsia* — 2nd ed. — (Arlington, Illinois: Harlan Davidson, Inc., 1993).

ной, что, с одной стороны, радикализировало ее, а с другой — заставляло создавать иллюзорные миры для себя самой в прошлом и настоящем. Так возникал миф об идеальной стране, населенной идеальными людьми, — Подпольной России.

Безусловно, элементы Подпольной России, то есть примеры своеобразного раскольнического сознания российских интеллектуалов, можно обнаружить на всем протяжении XIX века, у разных исторических личностей в диапазоне от видных царских сановников до идеологов поколения разночинцев. Не менее справедливо и то, что оппозиция, которая предполагается самим актом мифологизации (комплексного осмысления, кодификации) подполья — Подпольная Россия *versus* Легальная Россия, — может осмысливаться в контексте распространенного научного представления о дуальности как основополагающем принципе российской культуры и истории нового времени. И все же речь идет не об общем принципе, а об одном из его конкретно-исторических воплощений, которое проявилось в 1880-х годах прошлого века. Аналогично, понятие «Подпольная Россия» имеет свой четко определенный хронотоп и выражает прежде всего не существование оппозиционных настроений, ощущение социального раскола или фрустрацию по поводу отсутствия политической ниши для любой оппозиционности, а обретение радикальной интеллигенцией адекватного языка самоописания.

Поколение интеллигенции периода Подпольной России, сделавшее выводы из хождения в народ и последовавших судебных политических процессов, предложило новое понимание политики и политического (политическая культура, ее морально-философское обоснование, тип организаций, идеалы и ценности). Если народники еще не знали политики как профессионального занятия (для них «политика как самоцель не существовала»⁸), то люди Подпольной России понимали политику именно так⁹. Политика периода Подпольной России была окончательно осознана как систематическое силовое воздействие на государство. Интеллигенция, чьи гуманистические ценности в принципе противоречили насилию, да еще системному, вынуждена была трудиться над самооправданием, и именно поэтому Подпольная Россия не исчерпывается лишь профессиональными революционными группами и партиями, но обязательно включает тексты, описывавшие эти

⁸ Wortman R. The Crisis of Russian Populism. — (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), p. X; См. также: Pipes R. Narodnichestvo: A Semantic Inquiry in *Slavic Review*, 1964, v. XXIII, # 3 p. 441–458.

⁹ Троицкий Н. А. Царские суды против революционной России. Политические процессы 1871–1880 гг. — Саратов: Изд-во Саратовского г-с ун-та, 1976 — С. 120

организации и их членов, навязывавшие их образ как самим радикалам, так и Легальной России. Наряду с заполнением информационной брешы и в полном соответствии с универсальной функцией мифа служить логической моделью, способной преодолеть противоречия человеческой картины мира¹⁰, революционная мифология снимала присущие миру радикалов глубокие противоречия.

Очевидно, что действительно глубокий анализ радикальной мифологии в конкретно-исторической перспективе не может удовлетвориться простой констатацией существовавших мифов или описанием литературных текстов—хранителей мифов. Только изучение социального функционирования литературной мифологии позволит ответить на вопрос о роли мифологического фактора в формировании радикального микрокосма, и более конкретно — леворадикального типа политики и сознания. Для решения таких задач требуется особый исследовательский жанр, метод, который сочетал бы в себе академическую корректность с постановкой вопросов о соотношении психологии, этики, философии, архетипических образов и индивидуального «я» на определенной ступени группового сознания.

Проблема поиска жанра усугубляется еще и существованием мнимого противоречия между историческим характером исследования и литературным материалом, положенным в его основу¹¹.

¹⁰ Levi-Strauss C. The Structural Study of Myth in *Journal of American Folklore*, 1955, V. 68, p. 428—445.

¹¹ Дореволюционная академическая школа вполне в традиции интеллигентской саморефлексии подменяла историю реальных людей историей литературных типов. Социально-психологические характеристики, «идеи, взгляды, чувства, впечатления людей известного времени» искал в художественной литературе В. О. Ключевский, а за ним — Н. А. Рожков, С. Ф. Платонов, В. И. Семеvский и др. См.: *Ключевский В. О. Отзыв об исследовании С. Ф. Платонова «Древнерусские сказания и повести о смутном времени XVII века как исторический источник»* // Ключевский В. О. Соч. В 9 т. — М.: Мысль, 1989. — Т. 7. — С. 124; *Ключевский В. О. Евгений Онегин и его предки* // Там же. — Т. 9. — С. 84—100; Недоросль Фонвизина: опыт исторического объяснения учебной пьесы // Там же. С. 55—76; *Рожков Н. А. Пушкинская Татьяна и грибоедовская Софья в их связи с историей русской женщины XVII—XVIII веков* // Журнал для всех. — 1899. — № 5. — С. 558—566; *Семеvский В. И. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М. Е. Салтыкова(Щедрина)* // История СССР. — 1978. — № 1. — С. 113—130. Примеры интеллигентской саморефлексии см.: *Авдеев М. В. Наше общество (1820—1870) в героях и героинях литературы.* — СПб.: Изд-во К. В. Трубникова, 1874; *Общественное самосознание в русской литературе. Критические очерки.* — СПб.: Изд-во М. П. Мельникова, 1900; *Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов. Исторические очерки.* — Изд. 4-е, доп. — СПб.: Изд-во «Колос», 1909; *Войтоволский Л. Текущий момент и текущая литература: К психологии современных общественных настроений.* — СПб.: Изд-во «Зерно», 1908; *Овсянко-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции* // Овсянко-Куликовский Д. Н. Собр. соч. — СПб.: Изд-во «Общественная польза» и «Прометей», 1911. — Т. 9; *Иванов-Разумник. История русской общественной мысли: индивидуализм и мешанство в русской литературе и жизни XIX в.* — СПб.: Изд-во М. М. Стасюлевича, 1911. — Т. 1—2. и др.

В советском источниковедении вопрос о литературных источниках возникал sporadически, поскольку в принципе их статус как вспомогательных и «субъективных» был определен изначально. См.: *Мироенц Н. И. Художественная литература как исторический источ-*

Оказавшись перед аналогичной дилеммой, А. Эткинд нашел свой жанр, разомкнув границы литературных текстов в историю, сочетая «археологию текста» — интертекстуальный анализ, включающий тексты в гипотетический неавторизированный интертекст, с экстратекстуальностью, признающей наличие внетекстовой реальности. Однако А. Эткинд — литературовед, что в нашем случае немаловажно, настаивает на «презумпции интертекстуальности»¹² и выбирает в качестве своего исследовательского жанра дискурсивный анализ. Этот выбор не только, по признанию самого автора, оставляет его подход в рамках филологии¹³, но и выявляет существенные его ограничения. Дискурсивный анализ оправдан, когда речь идет о некоей «семиотической дыре», которую внешние наблюдатели наделяют определенным смыслом. Именно такую модель А. Эткинд предлагает в исследовании о роли сектантства в культуре «серебряного века». Но Подпольная Россия как форма самоописания радикальной интеллигенции не может быть названа «семиотической дырой». Напротив, Подпольная Россия интересует нас как условная реальность, которую «придумала» и наделила смыслом сама радикальная интеллигенция, в аутентичность которой верила и в терминах и образах которой описывала себя, успешно навязывая это описание другим.

Видимо, «наш» метод следует искать, исходя из представления о Подпольной России как о сложном динамическом единстве разнопорядковых элементов (политические партии, нелегальные кружки, профессиональные революционеры и сочувствующая революции публика, легальная и нелегальная пресса), объединенных общим

ник: к историографии вопроса // История СССР. — 1976. — № 1. — С. 125—176. Открытость современной российской историографии к методологическим воздействиям извне способствовала формированию новых представлений о роли художественных текстов. См.: *Миронец Н. И.* Революционная поэзия Октября и гражданской войны как исторический источник. — Киев: Выща школа, 1988; *Думова Н.* О художественной литературе как источнике для изучения социальной психологии // О подлинности и достоверности исторического источника. — Казань: Изд-во КГУ, 1991. — С. 112—117. В эти же годы известный российский источниковед Сигурд Шмидт выступил с серией докладов и статей, которые на сегодняшний день являются последним словом академического источниковедения по вопросу о художественном тексте. В отличие от Миронца, которая акцентирует воспитательную и агитационную роль литературы, и Думовой, развивающей традицию изучения «психологических типов», Шмидт учитывает опыт истории ментальностей, считая произведения литературы и искусства «важным источником для понимания менталитета времени их создания и дальнейшего бытования...» (*Шмидт С. О.* Художественная литература и искусство как источник формирования исторических представлений (1992) // Шмидт С. О. Путь историка. Избранные труды по источниковедению и историографии. — М.: РГГУ, 1997. — С. 113—115). См. также: *Шмидт С. О.* Историографические источники и литературные памятники // Там же. С. 92—97; *Кабанова В. В.* Источниковедение истории советского общества. Курс лекций. — М.: Изд-во РГГУ, 1997; *Медушевская О. М.* Источниковедение. Теория, история и метод. — М.: Изд-во РГГУ. — 1996.

¹² Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. — М.: Новое литературное обозрение, 1998. — С. 108.

¹³ Там же. С. 6.

ценностным кодом, общим преданием, общностью представлений о нормативном, общностью негативных оппозиций из мира России легальной. Очевидна также неравномерность строения Подпольной России, в которой имеется центр, вырабатывающий язык самоописания этого единства, и периферия. Ю. М. Лотман предложил понятие, которое, на наш взгляд, способно корректно описать это противоречивое единство — *семиосфера*¹⁴. В трудах Лотмана семиосфера предстает как открытая система, состоящая из гетерогенных элементов и испытывающая внутреннюю асимметрию и постоянное давление извне. Эта модель объясняет сложное единство, в котором существовали элементы семиосферы Подпольной России. Ее ядро формировали политические партии, идеологи радикализма, подпольные организации, профессиональные революционеры. Именно ядерные структуры поддерживали единство подполья, создавали его метаязык, обеспечивали саморефлексию. Они вырабатывали и воплощали собой норму семиосферы, которая обеспечивала единство и взаимодействие ядра и менее однородной периферии. Одной из функций семиосферы является перевод «чужой» информации на язык данного единства, чего, собственно, и добивалась радикальная интеллигенция, замыкаясь в собственном мире и отгораживаясь от энтролийных воздействий извне.

Согласно модели Лотмана, граница семиосферы динамична и прзрачна, она является как бы двунаправленным информационным проводником. Применительно к Подпольной России представление о границе семиосферы позволяет окончательно уяснить уникальную роль литературных текстов, через которые и проходила эта динамическая граница и в которых информационный метаболизм развивался наиболее интенсивно.

Рассматривая Подпольную Россию как семиосферу, мы обретаем и метод, в рамках которого снимаются противоречия между историческим характером исследования и литературным материалом. Речь идет о семиотическом анализе, утвердившемся в исторической науке в постструктуралистский период, когда школу Анналов — прежнего законодателя «исторических мод» потеснили английская «новая экономическая история», американские «новая интеллектуальная», «новая социальная» и прочие «новые» истории. Реабилитируется сам принцип историзма — вместо синхронной становится интересна диахронная сторона литературных источников. На этом этапе возникают собственно исторические методики работы с художественными текстами и создаются став-

¹⁴ Лотман Ю. М. О семиосфере // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. — 1984. — Вып. 64¹. — С. 5—23

шие уже классическими труды, основанные на литературных источниках¹⁵. Отстаивая право историков на независимую литературоведческую экспертизу, современная американская исследовательница отмечает, что проблема сегодня не в том, какой документ более «объективен», а в том, чтобы научиться «техникам чтения, которые помогут открыть литературное и историческое значение любого источника... Мы не читаем наши документы одинаково: вопросы историков отличаются от тех, которые задают их коллеги в других областях, и даже когда они используют те же источники, они используют их по-разному»¹⁶.

В методологическом плане долгожданная возможность задавать художественным текстам «исторические вопросы» возникла в результате переосмысления как позитивистского литературоведения, так и структурализма в пользу семиотики. На Западе этот переход может быть персонифицирован в лице талантливого историка и писателя Умберто Эко¹⁷, в то время как в России параллельный процесс связан с именем Ю. М. Лотмана¹⁸. В настоящее время речь идет уже о «семиотическом вызове», брошенном современным историкам¹⁹.

В рамках семиотики, ставшей методологическим основанием лучших исторических интерпретаций художественных произведений, текст мыслится не как некоторый стабильный предмет, имеющий постоянные признаки, а в качестве функции. «В понятие текста вводится презумпция создателя и аудитории, причем эти последние могут не совпадать по своим объемам... Современная точка зрения опирается на представление о тексте как пересечении точек зрения создателя текста и аудитории. Третьим компонентом является наличие определенных структурных признаков, воспринимаемых как сигналы текста. Пересечение этих трех элементов создает оптимальные условия для восприятия объекта в качестве текста»²⁰. Таким образом получает легитимацию интерес историка к тому, что в литературоведении именуется «контекстом». Если

¹⁵ Carlo Ginzburg, *The Cheese and the Worms. The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller* (London and Henley: Routledge and Kegan Paul, 1981); Robert Darnton, *The Great Cat Massacre and Other Episodes of French Cultural History* (New York: Basic Books, Inc., 1984); Lynn Hunt, *The Family Romance of the French Revolution* (Berkeley and Los Angeles, 1992).

¹⁶ Lynn Hunt, «The Object of History: A Reply to Philip Stewart» in *The Journal of Modern History*, v. 66, # 3, September 1994, p. 545—546.

¹⁷ Umberto Eco, *A Theory of Semiotics* (London: Macmillan, 1977); *The Role of the Reader* (Bloomington: Indiana University Press, 1979); *Six Walks in the Fictional Woods* (Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1994).

¹⁸ Об этом см. подробно: Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. — М.: «Гнозис», 1994

¹⁹ Репина Л. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории — М., Наука, 1996. — С. 30.

²⁰ Лотман Ю. М. Культура и взрыв — М. «Гнозис» и Изд. группа «Прогресс», 1992 — С. 179.

текст мыслится как коммуникативное событие, то контекст является органической частью текста²¹. Соответственно тезис о механическом отражении контекста в тексте снимается, и историк встает перед проблемой функционирования текста в контексте, перед проблемой художественного текста как реальности, которая формирует идеи и представления людей²². Возникает возможность апелляции к внутренней точке зрения самих участников исторического процесса, «реконструкции системы представлений, обуславливающих как восприятие тех или иных событий, так и реакцию на эти события»²³. С этой точки зрения малохудожественные, популярные произведения литературы представляют исключительно ценный источниковый материал для исследователя, так как они — свидетели повторяемости, широкой адаптации идей, превращения их в предмет «массового потребления». Если прежде интеллектуальная история считала достойным внимания лишь «высокие» тексты, то современная антропоцентричная историография отказывается от методологического снобизма прежних лет. Любой литературный текст воспринимается как ценностное уплотнение мира (выражение М. Бахтина), выстроенное вокруг литературных героев. Интерпретационная интрига состоит в «раскручивании» этого ценностного уплотнения, в выстраивании системы ценностных ориентаций автора, героев и читательской аудитории в рамках их культурно-исторического контекста.

²¹ Из представления о художественном тексте как коммуникативном событии выросло целое направление в современной исторической науке, которое можно определить как культурно-антропологическая история чтения. Чтение было осмыслено как «творческая деятельность, в результате которой возникают понятия и представления, не сводимые к намерениям авторов текстов или издателей книг» (Roger Chartier, «Texts, Printing, Readings» in Lynn Hunt (Ed.), *The New Cultural History* (Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1989), p. 156). Применительно к истории России это направление представлено следующими работами: Чтение в дореволюционной России / Ред. А. И. Рейтблат. — М.: РГБ, 1995; Gary Marker, *Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700—1800* (Princeton: Princeton University Press, 1985); Jeffrey Brooks, *When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861—1917* (Princeton: Princeton University Press, 1985); «Readers and Reading at the End of the Tsarist Era» in William Mills Todd III (Ed.), *Literature and Society in Imperial Russia, 1800—1914* (Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1978), p. 97—150.

²² Анализ предложенной трактовки пространства художественного произведения см.: Lloyd S. Kramer, «Literature, Criticism, and Historical Imagination: The Literary Challenge of Hayden White and Dominik LaCapra» in Lynn Hunt (Ed.), *The New Cultural History* (Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1989), p. 100—128. В отечественной исторической науке этот подход впервые обосновала М. В. Нечкина, предложившая изучать «не просто художественный образ как таковой, а именно функцию художественного образа в сознании читателя» (Нечкина М. В. Функция художественного образа в историческом процессе. — М.: Наука, 1982. — С. 318). См. также: Литература и история (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей XVIII — XX веков). — СПб.: Наука, 1992; Белый О. В. Тайны «подпольного» человека. Художественное слово — обыденное сознание — семиотика власти. — Киев: Наукова думка, 1991.

²³ Успенский Б. А. История и семиотика: восприятие времени как семиотическая проблема. Статья первая // Зеркало. Семиотика как реальность. Труды по знаковым системам. — Вып. 831 — Тарту: Изд-во ТГУ, 1988. — С. 67

Вот такому комплексному «спектральному» анализу подвергнется совокупность текстов, созданных представителями радикальной интеллигенции начала XX века. Поиски этих текстов проходили не только в библиотеках, но и в различных архивохранилищах: Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Национальном архиве Республики Татарстан (НАРТ), Архиве республиканской психиатрической больницы (г. Казань), Бахметьевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк), Славянской библиотеке университета Хельсинки.

Как правило, художественный уровень этих текстов невысок, хотя встречаются и исключения. Большая их часть никогда не вовлекалась в научный оборот ни литературоведами (в силу отсутствия художественной ценности), ни историками (по причине отсутствия интереса и адекватных методик). Их авторы так или иначе были причастны Подпольной России: в диапазоне от непосредственного членства в какой-либо политической партии до идейной поддержки левой оппозиции режиму. Большинство партийных авторов выступало под псевдонимами, что давало им возможность преодолеть партийную цензуру и самоцензуру интеллигента, используя форму художественного произведения для выражения «своего» отношения к окружающему миру²⁴. В некоторых случаях (прежде всего это касается рукописей, обнаруженных в архиве) не удалось установить авторство текстов, что, однако, не лишило сами тексты источниковой ценности, поскольку литературный источник важен для нас именно как массовый источник. Только выявление и освоение значительного числа беллетристических и поэтических текстов позволило нам говорить о комплексной мифологии «подпольного человека».

Наиболее «прозрачной» для историка является та часть собранных нами литературных документов, которая была создана накануне и в годы первой русской революции — собственно, классические произведения Подпольной России. «Классические» в том смысле, что они наиболее полно соответствовали сформировавшемуся к началу века канону: положительный герой этих произведений практически всегда являлся носителем сюжета, литературные персонажи отождествлялись с конкретной функцией, позитивные и негативные полюса были четко обозначены. В данном случае можно провести некоторые аналогии со сказочным материалом, который анализировал В. Пропп в своей знаменитой «Морфологии сказки»²⁵. Мы тоже рассматриваем структурные элементы зна-

²⁴ Келли А. Самоцензура и русская интеллигенция 1905—1914 // Вопросы философии. — 1991. — № 10. — С. 52—66.

²⁵ Пропп В. Морфология сказки — Л.: «Academia», 1928

чительной группы однопорядковых текстов, вычлняя основные функции героев и сюжетов. Но, в отличие от Проппа, нас интересует культурно-исторический контекст, частью которого являлись литературные тексты Подпольной России и их социальное бытование. Поэтому для нас столь существенно выделение постреволюционных текстов в особую группу, где исчезает тождество между героем и функцией. Именно на основе этого расхождения, сигнализовавшего о назревании кризиса радикализма, создавались новые смыслы, новые значения и новые идеи. Художественные тексты послереволюционной декады представляли собой инструмент культурной регуляции, незаменимый в период кризиса и трансформации. В этих текстах происходило то, о чем писал М. Элиаде как об упадке мифа²⁶: мифом пытались манипулировать, сочетать с другими формами мироосмысления, задавать мифу линейное время, что убивало сам миф, а с ним и гармонию мира радикальной интеллигенции — гармонию Подпольной России.

Подпольная Россия просуществовала недолго: окончательно оформившись на волне широкой общественной политизации и радикализации начала века, она пережила звездный час в 1905—1907 годах, сменившийся кризисом и стагнацией, от которого Подпольная Россия так и не оправилась. Эта история, уместившаяся в рамки двух десятилетий, и есть история мифологического мира, над созданием которого трудился «подпольный человек».

При работе над исследованием я располагала финансовой поддержкой Международного научного фонда, Центрального европейского университета (Будапешт), Института «Открытое Общество» (Москва), а также — творческим и организационным содействием исторических факультетов Казанского университета, Центрального европейского университета и Rutgers University, USA.

²⁶ Элиаде М. Аспекты мифа — М.: Изд-во «Инвест-ППП», 1995.

Часть I

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Страшно то, что жизнь наша становится отражением литературы. Какое же тогда она отражение по счету?

Леонид Семенов, «Листки»²⁷

Российская радикальная интеллигенция начиная с конца XIX века осознавала себя влиятельной общественной силой. Это влияние обеспечивалось как конкретными противоправительственными выступлениями, так и высоким морально-нравственным авторитетом, который закрепился за представителями «Земли и воли», «Народной воли» и их последователями. «...Так как мы... имели сообщников не только по губернским городам, но и по провинциальным закоулкам, — писала Вера Фигнер, — (и все эти сообщники имели друзей и близких) и были окружены целым слоем так называемых сочувствующих, за которыми обыкновенно следуют еще люди, любящие просто полиберальничать, то и выходило, в конце концов, что мы встречали повсюду одобрение и нигде не находили нравственного отпора и противодействия»²⁸. Даже если это утверждение является преувеличением, характерно, что Фигнер подчеркивает именно отсутствие «нравственного отпора и противодействия» в обществе. Моральная санкция общества была необходимым условием существования радикальной интеллигенции — нового социального феномена, лишенного возможности найти оправдание своим действиям как в традиции, так и в общепринятой морали. В этих условиях именно художественная литература взяла на себя роль посредника между радикальной интеллигенцией и обществом. В то же время, в ситуации отсутствия свободной прессы и общественных учреждений, литература оказалась единственно возможным легальным языком самих радикалов — средством самовыражения, борьбы, идейного и философского поиска. Вполне отдавая себе отчет в уникальной роли русской литературы, представители радикальной интеллигенции

²⁷ Семенов Л. Листки // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». — Кн. 8. — СПб., 1909. — С. 38.

²⁸ Фигнер В. Н. Из книги «Запечатленный труд» // Блестящая плеяда. — М.: Молодая гвардия, 1989. — С. 414

считали этот феномен логическим следствием автократического режима: «Ни в какой иной стране литература не занимает такого влиятельного положения, как в России. Нигде она не оказывает такого глубокого непосредственного влияния на интеллектуальное развитие молодого поколения... Причина такого влияния литературы в России вполне понятна. За исключением немногих лет перед и вслед за освобождением крестьян, у нас не было политической жизни и русский народ был лишен возможности принимать какое-либо активное участие в деле создания институций родной страны...» — писал Петр Кропоткин²⁹.

Вначале литература вторглась и закрепились в чуждой ей сфере политики, став важнейшим средством политической агитации. Самые, казалось бы, безобидные произведения легальной печати превращались в грозные орудия пропаганды. Социал-демократические пропагандисты начала века, наряду с брошюрами типа «Рабочее движение в России» (Женева, 1899) или «Мартовская революция в Германии» (Женева, 1898), широко пользовались такими книгами, как «Мазаниелло-неаполитанский герой» Глазера, «Могучий Самсон» Оржешко, «Дурные пастыри» Мирабо, «Страшная смерть невинного человека» Вересаева, рассказами Глеба Успенского, Ивана Франко, Максима Горького, стихами Лермонтова, Надсона. В ход шла даже «Божественная комедия» Данте³⁰.

В конце 1890-х годов ученики петербургских воскресных рабочих школ под руководством интеллигентных учителей—социал-демократов читали «На рассвете» Ежа, «Эмму» Швейцера, «Овод» Войнич, «Спартак» Джованьоли, «Один в поле не воин» Шпильгагена, «Углекопы» Золя, «Лес шумит» и «Сон Макара» Короленко, стихи Мельшина (Якубовича)³¹. Изымая произведения этих писателей, жандармы с некоторой растерянностью отмечали в следственных документах, что «все эти издания относятся к числу разрешенных цензурою», а используются для противоправительственной агитации³².

Социально-политические функции, закрепившиеся за литературой Подпольной России, были настолько утилитарны, что практически каждый ее деятель считал себя способным к литературно-

²⁹ Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. — СПб.: Изд-во «Труд», 1907. — С. 2.

³⁰ Протоколы об обвинении лиц и постановления об освобождении из-под стражи и заключении под особый надзор полиции. Протоколы № 127, № 132 // НА РТ. Ф. 199, Оп. 1, Д. 125, Л. 3, 14, 37.

³¹ Стасова Е. Д. Как мы получали и распространяли нелегальную литературу // Из истории нелегальных библиотек революционных организаций в царской России. Сборник материалов под ред. Е. Д. Стасовой. — М.: ГБ СССР, 1956. — С. 16.

³² НА РТ. Ф. 199, Оп. 1, Д. 125, Л. 14.

му творчеству. Как продемонстрировали историки, для молодых интеллигентов конца XIX века создание собственной поэзии, собственного песенного репертуара являлось частью работы по самоидентификации как особой общественной группы. Прежде всего это касается студенческих песен: они посвящались не только идеям борьбы и народной революции, но и «исключенным курсисткам»³³, и сосланным студентам («Без крика и шума толпился народ / Вокруг дорогого вагона; / Никто не [шагнул?] с громким словом вперед; / Никто не нарушил закона. / Безмолвно страдая незримой слезой, / Мы лучших друзей провожали, / Лишь звуки торжественной песни порой / Протест небесам выражали...», 1899)³⁴, и университетским порядкам («Есть в Петербурге дом огромный / Орел и крест на доме том [...] Я видел этот дом огромный / И в нем сидел и речью темной / Нас Сергиевич изводил»)³⁵. Эти песни описывали весь мир сознательного российского студента: мир политики, науки, дружеского общения.

Тексты таких песен и стихов легко трансформировались в лозунги («Долой бесправие! Да здравствует свобода! / И учредительный да здравствует собор!», 1906)³⁶ и в агитационные листовки. В 1903 году Киевский комитет РСДРП распространил поэтическую листовку с описанием расстрела рабочих на вокзале правительственными войсками. Довольно длинный и трафаретный стих «Мертвые к живым (Киевская бойня рабочих на вокзале)» оказался отличным средством агитации: рабочие горячо отозвались на это стихотворение, оно вызвало несколько подражаний, причем одно стихотворение, написанное рабочим, было также напечатано³⁷. Литературную форму приобретали предсмертные записки террористов, революционные некрологи и даже программные статьи в журналах и газетах. Один из наиболее характерных примеров — редакционная «статья в стихах» на три журнальных листа, сочиненная редактором журнала «Былое—Грядущее» и снабженная следующим пояснением: «В поэтической форме здесь сделана попытка выразить и руководящую мысль нового журнала, и ближайшие задачи его»³⁸.

³³ Исключенным курсисткам (рукопись). Студенческие революционные песни. Хранение Русской библиотеки Императорского Александровского университета в Гельсингфорсе № 117 III, Л. 1. (Slavonic Library, Helsinki University).

³⁴ «Обструкция» (рукопись). 1899 // Там же. — Л. 3.

³⁵ «Есть в Петербурге дом огромный ...» (рукопись) // Там же — Л. 1.

³⁶ Тан. Пора // В борьбе. — СПб.: Б. и., 1906. — Сб. 1. — Вып. 1. — С. 19.

³⁷ Мертвые к живым (Киевская бойня рабочих на вокзале) // Правдин Б. Революционные дни в Киеве (История киевской стачки) — Женева. Издание Российской социал-демократической рабочей партии, 1903. — С. 48—51.

³⁸ Редакция Былое—Грядущее // Былое—Грядущее. — 1907 — Кн. 1. — С. 1—3.

Ссылки на объективные внешние условия, выдвинувшие литературу в сферу политики, удовлетворяли саму радикальную интеллигенцию³⁹. Тем не менее очевидно, что они страдают некоторой односторонностью. В частности, они не учитывают характер феномена российской интеллигенции, для которой слово было синонимом дела⁴⁰, а идеальная беллетристическая реальность приобретала статус нормативной реальности, в которую интеллигенция вписывалась более органично, нежели в настоящее⁴¹. «Да минует всякого молодого, неиспорченного человека грязная чаша практической жизни! Пусть он знает, что эта жизнь неизбежно развратит его мысль и совесть... Пусть он знает, что в этой жизни нет жизни...» — писал в 70-х годах прошлого века автор брошюры «Отщепенцы»⁴². В этом гимне интеллигентской обособленности статус реальности, жизненности переносился с окружающей действительности в действительность иного порядка — в сферу литературы и идеологии. Речь идет не просто о видении искусства как отраже-

³⁹ Типичны рассуждения, часто встречающиеся в критической и мемуарной литературе: «Общество, отрешенное от всякой политической жизни, все интересы свои сосредотачивало на литературе. Новый роман, новое стихотворение, новая книжка журнала были событиями, возбуждали толки, пересуды, и на ней-то, на литературной критике, воспитывалась критика политическая и философская» (*Кельсиев В. Пережитое и передуманное: воспоминания.* — СПб.: Изд-во В. Головина, 1868. — С. 261). Некоторые исследователи и по сей день ограничиваются повторением этих рассуждений. См., например, Igor Kossin, «Russian and Soviet Literatures and the Intelligentsia» in *Research Studies*, 1976, v. 44, # 3. p. 150—164. Тем не менее в последние годы иная точка зрения завоевывает все большее признание: «Трюизмом можно назвать утверждение о том, что русская литература приняла на себя функции философии и политической критики, отчасти благодаря тому, что беллетристическая форма позволяла большую свободу. Очевидно, что, возникнув, традиция философской и политической беллетристики выработала свою собственную динамику развития и формы выражения, применимые к ряду других литературных задач» (Gary Saul Morson, «Literary History and the Russian Experience» in *Literature and History: Theoretical Problems and Russian Case Studies* (Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1986), p. 20).

⁴⁰ Еще в 1858 г. А. Герцен писал о том, что именно отношение интеллигенции к слову вскрывает природу российского радикализма: «У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении, была с своей стороны непостижимая жестокость слова... — страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе» (Цит. по *Кускова Е. Печать // Без заглавия.* — 1906. — № 8. — С. 323).

⁴¹ Пытаясь уяснить феномен революционеров, чья «борьба» проходила главным образом на страницах газет, журналов и литературных альманахов, современные исследователи приходят к следующему выводу: в рамках радикальной традиции литература не воспринималась как отражение реальности, она сама была частью реальности, а потому «литературный», эстетический радикализм приравнивался к политическому. Особенно наглядно продемонстрировала это утверждение Линда Гернштейн на примере известного литературного критика, близкого народническим кругам, Иванова-Разумника: «Я не хочу обращаться к модному и бессмысленному противопоставлению «человека мысли» (a man of thought) «человеку действия» (a man of action), так же как не берусь назвать Иванова-Разумника «преимущественно интеллектуалом». Как историк, и историк идей, я не удовлетворена категорией «преимущественно интеллектуал». Совершенно определено, что Иванов-Разумник был социалистом-революционером; он предвидел, боролся и поддерживал развивающуюся революцию в 1917 и 1918 годах. Но он отслеживал ее главным образом в литературе, а не на улицах...» (Linda Gerstein, «Ivanov-Razumnik: The Remembrance of Things Past» in *Canadian-American Slavic Studies*, 1974, v. 8, # 4, p. 537).

⁴² *Соколов Н. В. Отщепенцы.* — Б. м.: Б. и., 1872. — С. 234 (На обложке от руки надпись «Издание заграничное, т. наз. "вольной печати"»).

ния реальности, а об искусстве, которое «предписывает, что является типичным», формируя таким образом реальность⁴³.

В рамках интеллигентской традиции словосочетание «человек читающий» часто употреблялось как синоним слова «интеллигент», в противоположность человеку официальной культуры. Анализируя письма, присланные на имя Н. К. Михайловского по случаю его юбилея (1900 г., учтены мнения более чем 20 000 корреспондентов), А. В. Пешехонов пришел к выводу, что литература явилась основой для формирования характерного интеллигентского самосознания: «...мысль о том, что не официальная школа и не отвлеченная наука... а прежде всего и больше всего «благородные литературные наставники», Белинский и Герцен, Чернышевский и Добролюбов, Михайловский и Лавров, Щедрин, Некрасов и Успенский — создали русскую интеллигенцию, — эта мысль высказывается в целом ряде приветствий. Как будто их авторы сознательно хотели подчеркнуть, что дипломированную образованность они вовсе не считают характерным признаком интеллигенции»⁴⁴.

Если мир корреспондентов Н. К. Михайловского, действительный мир радикальной интеллигенции — мир оппозиционных кружков, подпольных организаций, террористических групп, нелегальной прессы и легальной тенденциозной («направленческой») периодики и ее читателей, а позднее и политических партий — был полон противоречий, то его литературный двойник, напротив, воплощал собою гармоничную. Бесконфликтный образ Подпольной России противопоставлялся раздираемому противоречиями социальному организму России Легальной. Подвох состоял в том, что последняя конкурировала с литературным образом. В силу объективных причин (ограниченные тиражи; трудности при транспортировке и

⁴³ Rufus W. Mathewson, Jr. *The Positive Hero in Russian Literature* (N Y.: Columbia University Press, 1958), p. 55. См. также: Joe Andrew, *Writers and Society During the Rise of Russian Realism* (New Jersey: Humanities Press, 1980).

⁴⁴ В подтверждение своих слов Пешехонов приводит выдержку из типичного приветствия Михайловскому: «Многие из нас... разбросанные по разным глухим местам России, впервые ощутили потребность разобраться в окружающей жизни, выработать идеалы, с их высоты дать оценку действительности и наметить свой жизненный путь. Школа не давала в этом отношении нам ничего: спасение было в самообразовании, в жадном знакомстве с литературой, с ее могучими образами, с ее глубокими идеями. Оттуда и только оттуда лился к нам свет» (Пешехонов А. В. К вопросу об интеллигенции — СПб. Изд-во «Русское богатство», 1906. — С. 60; 59).

⁴⁵ Необходимо отметить, что определенное идейно-политическое направление определяло лицо не только общественно-политической периодики, но и литературно-критической. Даже на излете первой русской революции (1905—1907) издатели журнала «Новая литература» считали необходимым заявить «От редакции»: «Вполне примыкая по направлению к русской социалистической школе (школе Чернышевского, Лаврова и Михайловского), редакция в анализе научных и литературных произведений будет руководствоваться основными положениями этой школы. Русская критика почти с первых дней своего существования была трибуной определенных направлений, и такое положение ее нам представляется вполне нормальным» (От редакции // Новая литература: критико-библиографический журнал — 1907. — № 1/2. — С. 1)

распространении; ответственность перед законом и проч.) прокламации и другие подпольные издания просто не могли служить основными источниками сведений о мире радикальной интеллигенции для массы населения. Недостаток достоверной информации долгое время компенсировала литература, которая и создала великую мифологию радикализма — гармоничный образ идеальной страны, Подпольной России, населенной идеальными героями.

Носитель мифологического сознания существует в постоянной актуализации мифа — повторении преданий, воспроизведении того, что произошло «в Начале»⁴⁶. Повторяемость литературных сюжетов, стандартность героев беллетристики Подпольной России как раз и обеспечивали требуемую непрерывную актуализацию мифа. При этом содержание литературного мифа о Подпольной России воспринималось как документальное по своей природе, так как в контексте мифа статус реальности приписывается только тому, что входит в «основной священный текст». О реальности того, что не вошло в этот текст, можно говорить лишь условно, как о некоей мнимости, находящейся вне системы подлинных ценностей⁴⁷.

«...Русская революционная среда создала такие чарующие по своему величию образы и типы, каких не много найдется даже в героическом эпосе всех времен и народов. Сколько тут силы, энергии, мужества, героизма, самопожертвования и любви. Где вы еще найдете такое изумительное сочетание искреннего пафоса, классической простоты, колоссального трагизма и эпического спокойствия? Здесь и только здесь» — в этом пылком пассаже критика (1907 г.) реальность революционной борьбы переплетена с литературно-мифологической реальностью, где действуют эпические герои, отличающиеся «классической простотой»⁴⁸. Только мифологизированный литературой образ Подпольной России обладал потенциальной возможностью обеспечить радикализму столь необходимую для его выживания моральную поддержку общества.

Беллетристика была манящей вывеской параллельного мира, вербовавшей все новых и новых желающих переступить его порог. В автобиографиях революционеров, вступивших на эту стезю в 1870-х годах, нечаевский процесс и художественная литература фигурируют как равноценные факторы, определившие их жизненный выбор. По словам Владимира Карповича Дебагория-Мокриевича, пример Нечаева подтолкнул его к принятию тезиса *цель оправдывает средства*. «Так, мало-помалу, — вспоминает Дебагорий-Мокриевич, — мы приблизились к революционному мировоззрению, и нужно сказать, что в этом вопросе... большую роль сыг-

⁴⁶ Элиаде М. Аспекты мифа. — М. Изд-во «Инвест — ППП», 1995.

⁴⁷ См.: Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического — М. Прогресс — Культура, 1995. — С. 14—15.

⁴⁸ Ангарский В. Критические заметки // Новая литература — 1907 — № 1/2 — С. 13

рала наша литература. Благодаря цензуре, прямой проповеди революции, конечно, не было, но было другое: сочувствие к революционным методам борьбы сквозило между строк у многих русских писателей»⁴⁹.

Материалы нечаевского процесса печатались в газетах, и будущие революционеры читали их как художественный текст. В результате художественная реальность оказалась для них не менее значимой, не менее подлинной, чем нехудожественная. Они не способны были критически отнестись к личности С. Г. Нечаева, поскольку в их тексте фигурировал художественный герой — идеальный революционер. Более того, как показали М. Одесский и Д. Фельдман, этот идеальный революционер изначально не мог ассоциироваться с понятием «террор»⁵⁰. Современники, писавшие о нечаевском процессе, одновременно обсуждали события Парижской коммуны, и именно коммунарская, а не нечаевская практика воспринималась ими как террористическая. Возведенный в принцип государственного управления, воспроизведенный как цитата Великой французской революции, террор Парижской коммуны был узнаваем и сохранял все свои положительные и отрицательные коннотации. Политические убийства, подготовлявшиеся тайным сообществом, не вписывались в существовавшее представление о терроре. Эта семантическая пустота быстро заполнялась новыми образами и смыслами, которые черпались из хорошо знакомой интеллигенции сферы литературной героики.

«Я читала о Нечаевском процессе, — вспоминала В. И. Дмитриева. — Меня влекло к этим лицам, но было в этом влечении много книжного, образы их не имели реального оформления и были для меня такими же любимыми героями, как Рахметов, Лео из романа Шпильгагена «Один в поле не воин», тургеневский Базаров»⁵¹. Благодаря именно такому «литературному» прочтению первого гласного политического процесса в России, достигнутый эффект оказался прямо противоположным тому, на который рассчитывали власти. Как отмечали «Московские ведомости» (1871, № 161), образ мыслей, лежавший в основе преступных действий, «не только не подвергся порицанию, но даже прославлен»⁵². Но что более важно, нечаевский процесс выявил, что ни идеологема «террор по-француз-

⁴⁹ Дебагорий-Мокриевич В. К. Автобиография // Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 57—105.

⁵⁰ Одесский М., Фельдман Д. Поэтика террора. — М.: РГУ, 1997. — С. 159—160.

⁵¹ Цит. по: Травушкин Н. С. Как читали в России роман Шпильгагена «Один в поле не воин» // Русская литература и освободительное движение. Ученые записки КГПИ. — Вып. LXIV. — Сб. 1 — 1968. — С. 66.

⁵² Цит. по: Салтыков-Щедрин М. Е. Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики // Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. — Т. 8. Критика и публицистика (1868—1878). — М. Худож. лит., 1957. — С. 244

ски», предполагающая единственный источник террора — государственную власть, ни романтическое представление о тираноборце, выступающем против узурпации власти тираном, т. е. по сути против «террора», не годны для описания индивидуального террора, ведущегося революционерами-подпольщиками. Только Подпольная Россия как государство в государстве могла легитимно претендовать на проведение системного превентивного террора в соответствии с французской моделью. Видимо, здесь мы сталкиваемся с одним из подсознательных механизмов, заставлявших «подпольного человека» трудиться над созданием Подпольной России.

Однако наиболее очевидным, сиюминутным итогом нечаевского процесса явилась его беллетризация. Вера Засулич, вспоминая о деле Нечаева, подчеркивала именно его литературный аспект, внося еще большую гармонию в созданный современниками и потомками мифологический образ нашумевшего политического процесса. Для Засулич важным казалось продемонстрировать, что не только внешние наблюдатели «читали» материалы процесса как книгу, но и сами «нечаевцы» выросли из литературы. П. Г. Успенский, проходивший по нечаевскому делу, перед отправкой в Сибирь просил жену принести ему какую-нибудь книгу. Та почему-то забыла. «Так я и уеду, не прочтя книги, — писал Успенский жене, — а вдруг на том свете меня спросят: читал ли ты такую-то книгу? Что я на это скажу? Ведь я сгорю от стыда!» Засулич отмечает, что это замечание Успенского вовсе не шуточное — оно передает действительное его отношение к литературе. «В книгах, в идее революции, — борьба, заговоры уже давно привлекали его своим величием, поэзией, так сказать»⁵³.

Парадоксально, что не размышления над несправедливостью режима, а литературные впечатления часто выступали как изначальные стимулы к революционной борьбе. В указателях и программах для чтения, составленных в среде народнических кружков в 1880-х годах, «раздел беллетристики стоит на первом месте, а затем идут другие разделы знания, позволяющие знакомиться “с общими историческими социальными законами”»⁵⁴. Сам создатель термина

⁵³ Засулич В. Воспоминания. — М.: Изд-во ВОПИСП, 1931. — С. 32—33.

⁵⁴ Травушкин Н. С. Зарубежная беллетристика в русском революционном обиходе // Из истории русской и зарубежной литератур. — Саратов: Изд-во СГПИ, 1968. — С. 89—90. Действительно, в одном из таких списков — «Каталоге систематического чтения», 1883 — беллетристика не только стоит на первом месте, но произведения литературы дополнительно разбиты на русские, малорусские и иностранные и сгруппированы по тематическому признаку (Общество; Народ). После беллетристики идет раздел литературной критики, и лишь затем — естествознание, история, политическая экономия, социология, психология и логика, педагогика, этика и философия и, наконец, вопросы современной внутренней жизни в России и на Западе. См. Каталог систематического чтения. — Изд. 2-е, доп. — Одесса. Изд-во Е. П. Распопова, 1883

Библиотека „СВѢТОЧЪ“

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ С. А. Венгерова.

№ 6—9.

Серія „Матеріалы для исторіи русскаго общественнаго движенія“ № 2.

С. СТЕПНЯКЪ.

ПОДПОЛЬНАЯ РОССІЯ.

2-е изданіе, вышедшее въ Россіи.

Цена 80 коп.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія А. Э. Винке, Екатерингофскій пр., д. 15.
1906.

«Подпольная Россия» и один из главных ее мифотворцев, Степняк-Кравчинский, прямо приравнивал воздействие «революционной» литературы к воздействию конкретной личности: «Сначала еще мы можем указать на ту или другую книгу, ту или другую личность, под влиянием которых тот или другой человек присоединяется к движению; но потом это становится уже невозможным»⁵⁵.

Подобная точка зрения накануне и в годы первой русской революции стала общим местом. Скажем, члены Литературно-художественного кружка имени Я. П. Полонского, стремившиеся к недопущению политики на свои собрания, в 1905 году вполне одобрительно отнеслись к заявлению докладчика Павла Брюнели о том, что освободительное движение «разбудила [...] запретная литература, проникавшая несмотря на все замки и печати и породившая наконец то движение, которое привело народных представителей в Таврический дворец»⁵⁶. Председатель кружка, Анатолий Федорович Кони, добавил, что «можно говорить с полным правом об участии русской литературы в освобождении крестьян»⁵⁷. Остается сказать, что эти утверждения прозвучали на заседании 16 декабря 1905 года, посвященном докладу под красноречивым заглавием «Освободительное движение в русской литературе». На деле докладчик и слушатели признали приоритет литературы в формировании радикально-революционного образа мыслей в России, т. е. подписались под литературной генеалогией революции.

Возникавшие в те же годы на волне революции политические объединения стремились привить к общему генеалогическому дереву свою литературную ветвь. 6 ноября 1907 года собрались на первое заседание активистки женского движения — члены Петербургского клуба женской прогрессивной партии. Первый же реферат, подготовленный к общему собранию 15 ноября («Русская женщина в литературных течениях XIX столетия»), посвящался литературной предыстории женского социального и политического активизма. Автор реферата, Т. Я. Ганжулевич, вела речь о героинях произведений Тургенева, Гончарова, Горького и Л. Андреева, которые, по ее мнению, демонстрировали неудержимое стремление к самоусовершенствованию и к усовершенствованию человеческих отношений. Из разбора литературных типов следовал вывод, что в своем стремлении к социальной деятельности женщина «превосходит русского мужчину»⁵⁸. Таким образом, сфера литературы и

⁵⁵ *Степняк-Кравчинский*. Нигилизм // Степняк-Кравчинский. Подпольная Россия. сборник статей, рассказов и стихотворений, до сих пор печатавшихся за границей. — СПб.: Изд-во «Ясная Поляна», 1907. — С. 14.

⁵⁶ Литературно-художественный кружок имени Я. П. Полонского за 1905–6 и 1906–7 гг. Отчет совета. — СПб. Изд-во П. П. Сойкиной, 1908. — С. 80.

⁵⁷ Там же — С. 82

⁵⁸ Клуб женской прогрессивной партии // Женский вестник. — 1907 — № 12 — С. 315–316

политики, активизма реального и беллетристического переплетались до неразличимости. Но именно литературная мифология одна вводила новое политическое движение если не в саму Подпольную Россию, то в граничащую с ней сферу.

В принципе, подобная литературная инициация в радикальную политику была лишь следствием литературной мифологизации истории российской интеллигенции в целом. В мемуарах представителей интеллигенции рубежа веков фигурируют целые списки «обязательной литературы», которой определялось становление интеллигента. Поколения молодых людей штудировали одну и ту же беллетристику, кодировавшую их сознание, формировавшую их эстетические вкусы и потребности, их ценностный мир, являвшуюся главной пищей для сердца и ума. Писатель Е. Н. Чириков вспоминал о годах своей гимназической юности (1880-е): «В старших классах мы уже группировались в “кружки саморазвития” и, подчиняясь революционному духу того времени, читали Михайловского, Шелгунова, Миртова, Чернышевского, Писарева и обязательную, так сказать, для всякого мыслящего гимназиста беллетристику: Омуревского *Шаг за Шагом*, Мордовцева *Знаменья времени*, *Что делать?* Чернышевского, *Эмма Швейцера*, *Между молотом и наковальней* Шпильгагена, *Кто виноват?* Герцена и др.»⁵⁹ Современник Чирикова сообщает: «В восьмидесятых годах школьники с увлечением читали такое нехудожественное произведение как роман Чернышевского: *Что делать?* В большом ходу был также тенденциозный роман Омуревского: *Шаг за шагом*. Читали Решетникова, Успенского, Златовратского, Щедрина, Помяловского, Жорж-Занд, Шпильгагена»⁶⁰. Тот же список «обязательной» литературы встречается и у других мемуаристов. Несколько дополняет его Н. Я. Абрамович, который, судя по его списку, моложе Чирикова лет на десять⁶¹: «Что знала наша молодежь? На чем она воспитывалась?.. *Что делать?* Чернышевского, тенденциозные романы Омуревского, Шеллера, статьи Михайловского, затрепанные томики западных утопистов-социалистов да еще *Дубинушка* и *Вставай, подымайся*. Теоретика подпольных изданий, романы Степняка, брошюры эмигрантов»⁶². В библиотеке кружка самообразования

⁵⁹ Евгений Николаевич Чириков. Автобиография // Фидлер Ф. Ф. Первые литературные шаги: автобиографии современных русских писателей. — М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1911. — С. 42–45.

⁶⁰ Роков Г. Параллели: (Из прошлого и настоящего учащейся молодежи) // Вестник воспитания. — 1905. — № 7/8. — С. 176.

⁶¹ Николай Яковлевич Абрамович (псевд. Аратов и Н. Кадмин, 1880—1922) — поэт, литературный критик.

⁶² Абрамович Н. Я. Подполье русского интеллигентства. о тупиках русского интеллигентского сознания. — М.: Свободное слово, 1917. — С. 234.

Владимирской мужской гимназии (основана в 1880 г.) среди наиболее популярных и широко читаемых книг числились все те же «Что делать?» Чернышевского, «Шаг за шагом» Оммулевского, «Знамения времени» Мордовцева, «Один в поле не воин» Шпильгагена, «Эмма» Швейцера, произведения Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского, Константина Гаршина. Гимназисты не только читали, но и переписывали книги, каждая из которых ценилась в среднем в 20—25 рублей⁶³. Рукописный вариант «Что делать?» имелся и в получившей известность, благодаря одному из ее абонентов, А. М. Горькому, подпольной библиотеке А. С. Деренталя в Казани (80-е годы XIX века)⁶⁴. Учащиеся гимназий и семинарий Нижнего Новгорода в те же годы получали книги из «обязательного» списка в частной библиотеке владельца небольшой переплетной мастерской И. В. Духовского⁶⁵.

Очевидно, что в список «обязательной» литературы входили книги общедемократического, гуманистического характера, которые в иных обстоятельствах могли бы восприниматься исключительно эстетически, интеллигентной аудиторией конца прошлого века они воспринимались как книги революционные, пропагандистские. Один из активных пользователей библиотеки кружка самообразования владимирских гимназистов вспомнил и об официальном «Списке книг, запрещенных к обращению в публичных библиотеках и читальнях», который тоже оказал влияние на формирование интеллигентского набора «обязательной» литературы: «Раз правительство запрещает известные книги, значит, их следует читать, догадывались мы. Так список запрещенных книг превратился у нас в свою противоположность — в список рекомендуемых книг...»⁶⁶ Самый первый и популярный сборник революционной мифологии — «Подпольная Россия» Степняка-Кравчинского — безусловно, входил в число запрещенных правительством книг. Несмотря на это, к началу XX века именно книга Степняка чаще всего попадала в руки подростков и молодежи в качестве первой нелегальной книжки⁶⁷.

Таким образом, процесс чтения становился актом политической оппозиции. Мир беллетристики и поэзии, населенный «настоящими» людьми и пропитанный «настоящими» чувствами, становился нормативной реальностью, по правилам которой стремились

⁶³ Федоров Л. К. Нелегальные библиотеки с начала 70-х годов до второй половины 90-х годов прошлого столетия // Из истории нелегальных библиотек революционных организаций в царской России. Сборник материалов под ред. Е. Д. Стасовой. — М.: ГБ СССР, 1956. — С. 34.

⁶⁴ Там же. — С. 37.

⁶⁵ Там же. — С. 40.

⁶⁶ Шестернин С. П. Пережитое. Из истории рабочего и революционного движения. 1880—1900. — Иваново, 1940. — С. 17—18.

⁶⁷ См.: Таратута Е. Подпольная Россия. Судьба книги С. М. Степняка-Кравчинского — М. Изд-во «Книга», 1967. — С. 216—217.

жить интеллигентные читатели. Беллетризировались жизни конкретных людей, литературным образцам следовали буквально, как в случае с многочисленными подражателями героям Чернышевского⁶⁸. Так же буквально читали Тургенева: «Всякая девушка воображала себя Еленой, полпоколения захотело стать Базаровыми»⁶⁹. Подобное растворение в литературе невозможно объяснить только универсальной для всего человечества неудовлетворенностью границами собственной биографии, стремлением к познанию «альтернативного я, обреченного, к несчастью или к счастью, на вечную экзистенциальную нереализованность»⁷⁰. Интеллигенция не столько искала «альтернативное я», сколько пыталась дописать и придать некий смысл своей социальной биографии, которая, в силу как внешних, так и внутренних причин, не была изначально задана. Утрированная беллетризация жизни радикальной интеллигенции стала закономерным следствием ее неукорененности в настоящем. Однако она же явилась залогом интеллигентского отщепенства, консервантом радикализма.

Беллетризация жизни как массовый феномен стала возможна только с появлением определенного типа писателей и складывания специфических отношений между ними и радикальной аудиторией. Безусловно, русская литература всегда несла печать учительства и проповедничества: выполняя религиозно-этическую миссию, она также растекалась в сферу философии, публицистики, политики, принимая на себя «уникальную функцию всеобщего языка культуры»⁷¹. Положительный герой в этой традиции, как правило, являлся героем-идеологом, выразителем, проповедником, страдальцем за Идею. Герой литературы Подпольной России шел еще дальше, навязывая конкретный жизненный сценарий. Настоящие писатели из мира подполья сознательно стремились к тому, чтобы их героев копировали буквально, они писали не романы идей, а создавали нормативную реальность Подпольной России. Их герои, как правило, просты и сводятся к функции (борьба; самопожертвование; самосовершенствование и проч.). Если героями таких

⁶⁸ Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1928. — С. 248—250; Рейсер С. А. Легенда о прототипах «Что делать?» Чернышевского // Труды Ленинградского библиотечного института им. Н. К. Крупской. — 1957. — Т. II. — С. 115—126; Володин А. Раскольников и Каракозов: к творческой истории статьи Д. Писарева «Борьба за жизнь» // Новый мир. — 1969. — № 11. — С. 212—231; и др.

⁶⁹ Венгеров С. История русской литературы. IV. Новейший период // Россия: энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефрон (СПб.) — Л.: Лениздат, 1991. — С. 640.

⁷⁰ Сегал Д. М. Литература и история // Тыняновский сборник. Пятое тыняновские чтения. — Рига, М.: Изд-во «Зинатне» и «Импринт», 1994. — С. 26.

⁷¹ Лотман Ю. М. О динамике культуры // Семиотика и история. Труды по знаковым системам XXV. — Вып. 936. — Тарту, 1992. — С. 21.

произведений оказывались писатели, они практически всегда говорили авторским голосом, персонифицируя функцию писателя Подпольной России: «Мы вам даем возможность пережить чувства посильнее и поприятнее чисто эстетических. Вы переживаете с нами два самых высших счастья, какие только знает жизнь, — счастье борьбы и счастье всезахватывающей любви к человеку... Жизнь вызывает в нас порыв броситься в битву, а мы этот порыв претворяем в красивый крик, и этот крик несем к вам...»⁷² (1900)

Не называй безумными слова,
Когда они огнем негодования
Карают нас за то, что жизнь мертва,
И нас зовут на подвиг и страдания! —

призывал товарищей-читателей поэт в 1902 г.⁷³ «Кровь претворю в напевы!» — развивал ту же тему другой поэт пятью годами позднее⁷⁴. Житель Петербурга Аркадий Бухов подписывал свои стихи псевдонимом Страдалец и утверждал, что

Только тот работает над новью,
Только тот художник и поэт,
Кто творит страданием и кровью
И тоской давно минувших лет...⁷⁵

Произведения писателей и поэтов Подпольной России никогда не создавались только как литература, пусть даже в самом расширительном ее понимании. Многие авторы участвовали в революционном движении, сидели в тюрьмах, побывали в ссылке — они имели моральное право говорить от имени Подпольной России. Народоволец и поэт П. Якубович-Мельшин, чьи стихи знали наизусть и любили, в глазах своей читательской аудитории существовал в трех ипостасях: «...для 80-х годов в нем особенно важен народоволец Якубович, для девяностых — бытописатель каторги Мельшин и трагический образ страдающего ссыльно-каторжного поэта П. Я., для 1900—1910 — литератор, заслуженный сибирский поворотник, критик Гриневиц, один из главных руководителей популярного журнала «Русское Богатство»⁷⁶. После смерти Якубовича в 1911 году эсеровский официоз — газета «Знамя труда» — посвятила ему удивительные по степени откровенности строки:

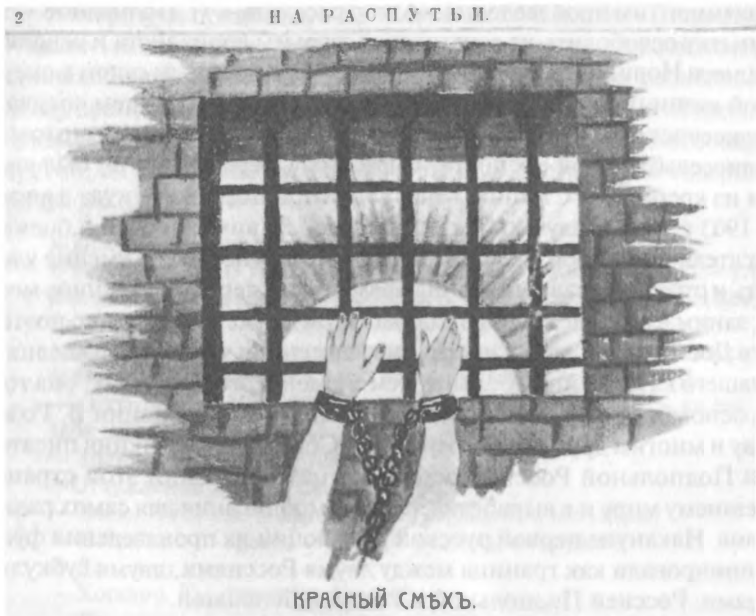
⁷² Вересаев В. На эстраде. Маловероятный случай // Литературное дело. Сборник. — СПб.: Изд-во Д. Е. Колпинского, 1902. — С. 117—118.

⁷³ Лукьянов А. Не называй безумными мечты... // Литературное дело. — СПб.: Изд-во Д. Е. Колпинского, 1902. — С. 142.

⁷⁴ Федоров А. Я не боец, я лишь певец... // Былое—Грядущее. — 1907. — Кн. 1. — С. 5.

⁷⁵ «Только тот». Выписка из письма, полученного агентурным путем с подписью «Арк. Бухов», от 6 июля 1908 г. из г. С-Петербурга в Казань... — НАРТ. Ф. 199. Оп. 1 Д. 654. Л. 36.

⁷⁶ Амфитеатров А. Литературные впечатления // Современник. — 1911. — № 4 — С. 306.



«Его поэзия односторонняя, если хотите, узка — как односторонняя психология революционера, страстно и всецело поглощенного борьбой [...] У Якубовича почти нет стихотворений без «гражданских» мотивов. Зато интеллигент-революционер найдет у него всю гамму своих переживаний, своих настроений...»⁷⁷ Ясно, что именно творческая «узость» Якубовича делала его «своим» поэтом — певцом Подпольной России. Ибо та же эсеровская газета двумя годами ранее разъяснила, что «быть партийным писателем, быть партийным органом в настоящее время значит — выступить в литературе с воинственным кличем борьбы, водрузить во всех областях идейного творчества одно великое знамя, охватить их одним животворящим принципом»⁷⁸.

Настоящий писатель Подпольной России был интересен прежде всего своей внелитературной биографией. Самое первое (итальянское) издание «Подпольной России» вышло с предисловием П. Лаврова, содержавшим революционную биографию Степняка. В дальнейшем, если это не вредило революционной работе писателя, его биография обязательно становилась артикулированной частью

⁷⁷ Н. М. Петр Филиппович Якубович // Знамя труда — 1911 — № 35. — апрель — С. 13

⁷⁸ От редакции // Знамя труда. — 1907. — № 1. — 1 июля — С. 1

созданного им произведения: «Автор рассказа — П. Поливанов — за попытку освободить из саратовской тюрьмы социалиста и революционера Новицкого был присужден в 1882 г. военным судом к смертной казни, которая была заменена вечным заключением сперва в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости, а потом в Шлиссельбургской крепости. В 1902 году, через 20 лет он был увезен из крепости в Степное Генерал-Губернаторство, откуда в апреле 1903 г. благополучно бежал...» и т. д.⁷⁹. Таким образом, в оценку писателя и его произведений закладывалось не только умение уловить и отразить главные веяния времени, но непосредственное место, занимаемое писателем в радикальном движении. Именно поэтому в Достоевском радикальная интеллигенция чтит «петрашевца и бывшего каторжанина больше, чем знаменитого писателя»⁸⁰, на том же основании отказывала даже в формальном признании В. Розанову и многим другим литераторам⁸¹. Социальная функция писателей Подпольной России состояла в преподнесении этой страны внешнему миру и в выработке языка самоописания для самих радикалов. Накануне первой русской революции их произведения функционировали как граница между двумя Россиями, двумя субкультурами: Россией Подпольной и Россией Легальной.

Две России — отнюдь не метафора. Накануне 1905 года раскол в обществе ощущался особенно остро. Согласно публицисту журнала «Образование», произошло «разделение России на надполье и подполье... Вся духовная работа совершалась в подпочвенной сфере. Извне с величайшими усилиями достигалось всеобщее обязательное молчание, а внутри организма шла деятельная работа, упорная, энергичная, шел основной пересмотр устоев, разрушительная критика, расчистка новых путей... Этот термин (подполье. — М. М.) присвоен у нас лишь крайним фракциям, но жизнь видоизменила позиции общественных сил, и скрыться с горизонта пришлось решительно всем культурным элементам»⁸².

⁷⁹ От издателей // Поливанов П. Кончился. — Б. м.: Типография партии социалистов-революционеров, 1903. — С. 1. Биография П. С. Поливанова подробно восстановлена в книге Р. А. Городницкого «Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901—1911 гг.» (М.: РОСПЭН, 1998). История его жизни, в которой назывались конкретные имена и даты, смогла появиться в предисловии к его рассказам только после смерти Поливанова. Саратовский народовец, он действительно предпринял в 1882 г. попытку освобождения арестованного М. Э. Новицкого, за что был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В 1903 году он бежал с поселения, добрался до Женевы, где примкнул к БО партии социалистов-революционеров, составил проект устава этой организации, готовился к боевой работе. Но сильно пошатнувшееся здоровье делало невозможным его карьеру боевика, и, поняв это, 17 августа 1903 г. Поливанов застрелился (см.: *Городницкий Р. А.* — С. 67—69).

⁸⁰ Деятели СССР и революционного движения России: энциклопедический словарь Гранат. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 75.

⁸¹ *Струве П. Б.* В В. Розанов, большой писатель с органическим пороком // Вопросы философии. — 1992. — № 12 — С. 79—85 (Первая публикация: Русская мысль, 1910)

⁸² *Ашешов Н. И.* жизни и литературы // Образование. — 1905 — № 2. — С. 30.

Литература предложила не только само название «Подпольная Россия», но и художественный образ, повлиявший на осмысление происшедшего социального катаклизма в терминах раскола. Популярное в те годы стихотворение в прозе «Порог» И. Тургенева буквально навязывало образ перехода (порога) из одного мира в другой, из пространства одной морали в пространство совершенно иного ценностного мира:

Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледящей струей выносятся из глубины здания медлительный, глухой голос.

— О ты, что желаешь переступить этот порог, — знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Знаю, — отвечает девушка. <...>

— Отчуждение полное, одиночество?

— Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

— Не только от врагов — но и от родных, от друзей?

— Да... и от них.

— Хорошо. Ты готова на жертву?

— Да.

— На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

— Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову...

— И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

— Знаешь ли ты, — заговорил он наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

— Войди!

Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.

— Дура! — проскрежетал кто-то сзади.

— Святая! — пронеслось откуда-то в ответ⁸³.

Метафора Тургенева — порог, разделяющий две России; тяжелая дверь, наглухо захлопывающаяся за каждым, кто делает выбор в пользу России Подпольной, — видимо, была найдена очень вер-

⁸³ Тургенев И. Порог. Стихотворение в прозе // Вперед. — Ростов-на-Дону: Изд-во «Донская речь», б. г. — С. 125—126. См. также: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. В 30 т. — Изд. 2-е. — М.: Наука, 1982. — Т. 10. — С. 147—148. Согласно Циркуляру заведующего типографиями, литографиями, фотографиями, книжною торговлею и библиотеками для чтения в Казанской губернии (№145) от 17 апреля 1909 г. Новочеркасская судебная палата утвердила арест сборника «Вперед» (1909 г., 2-е изд.). См.: НАРТ. Ф 199. Оп. 1. Д. 314. С. 189

но. Она присутствует в разных текстах начала века, иногда как прямая цитата, а чаще — как неосознанный парафраз знаменитого первого «Порога». Скажем, в утопии времен первой русской революции «Анархисты будущего» (1907 г. — издание отдельной книжки, а до этого — сериал в газете «Утро») герой узнает, что его возлюбленная — анархистка:

Куда может бросить ее это увлечение? — думал он. — Она способна на самопожертвование в своем порыве.

Ему вспомнилось прекрасное стихотворение в прозе Тургенева, посвященное русской женщине: «И тяжелая дверь захлопнулась за нею». Неужели она захлопнется и за Аней?⁸⁴

Автор этой утопии цитирует Тургенева открыто, а вот более интересный пример скрытой цитаты. Эсеровский террорист Б. В. Савинков в 1907 году выступил с воспоминаниями о Доре Бриллиант, вместе с которой он участвовал в боевой работе. Он принимал Дору Бриллиант в Боевую Организацию (БО) партии. Повествуя об этом, Савинков помещает в свой документальный очерк следующий диалог:

И теперь она стояла передо мной тихая и печальная. Такая, какую я ее знал во всю ее недолгую жизнь.

— Вы ведь знаете, что придется бросить все... семью?

— Да.

— Жить тайком, без угла...

— Да.

— Быть может, умереть...

— Да.

— Быть может, убить...

Молчанье. Затем чуть внятное:

— Да⁸⁵.

Савинков принимал Дору Бриллиант не просто в БО партии социалистов-революционеров — как подсказывает приведенный отрывок, для него был актуален контекст тургеневского «Порога». Савинков выступал в роли того таинственного, мифического Не-кто, кому дана власть открыть или не открыть дверь параллельного мира. Он — самый что ни на есть настоящий представитель действительного политического подполья — совершенно органично принимал мифологическую Подпольную Россию. И потому выбор революционерки он изобразил как выбор тургеневской девушки, переступающей порог между двумя Россиями.

⁸⁴ *Морской Ив.* Анархисты будущего (Москва через 20 лет). — М.: Изд-во Вл. Чичерина, 1907. — С. 28.

⁸⁵ *Савинков Б.* Революционные силуэты. Дора Бриллиант // Знамя труда — 1907 — № 8 — С. 10

Даже в 1930 году, публикуя мемуары о Боевой Организации партии социалистов-революционеров последнего призыва, бывший боевик, подчиненный Б. Савинкова, М. Чернавский, прибегнул к метафоре «порога». Чернавский искал слова для характеристики двух наиболее «сильных» членов БО 1910 года: М. А. Прокофьевой и Н. С. Климовой. Слова нашлись сами собой: «Вспомнилось известное стихотворение в прозе Тургенева — «Порог». Русская девушка переступает роковой порог, несмотря на предостерегающий голос, сулящий ей там, за этим порогом, всяческие беды: «холод, голод, ненависть, насмешки, презрение, обиду, тюрьму, болезнь, смерть»... вплоть до разочарования [...] Климова и Прокофьева давно перешагнули этот порог»⁸⁶.

Тема раскола неизменно присутствовала в беллетристике начала века. Так, в рассказе Ивана Новикова «Небо молчало» (1906) раскол персонифицировался в образах двух братьев: один — восемнадцатилетний террорист, погибший во время теракта, второй — двадцатилетний студент, не знающий, ради чего жить. Оба персонажа — герои-функции. Первый присутствует за скобками, как и полагается по канону: без имени, без будущего, о его смерти брат узнает из газет. Второй, прежде чем принять поступок брата, рассуждает о расколе между двумя правдами, двумя моральями:

Две правды, два веления совести, два Божьих призыва... Не убий... Ни за что, никого, никогда. Жизнь — самое ценное, самое светлое в мире...

Вот тут-то и есть другая зовущая правда...

Не умывай, отходя к стороне, своих рук — все равно они будут в крови... Выбирай!

Мучительный выбор. Проклятие миру, в котором две правды!...⁸⁷

Тем не менее выбор в рассказе делается в пользу правды погибшего террориста, в пользу его мира.

Раскол мог персонифицироваться и в явной оппозиции героев — стандартных представителей антагонистических миров. Скажем, Герой — террорист, член партийного комитета. Он умный, хороший, добрый; его окружают такие же друзья. Он любит сознательную девушку-курсистку, но готов пожертвовать всем этим и собственной жизнью ради своего идеала. Антигерой — государственный чиновник, карьерист, «усмиритель». Он жесток, груб,

⁸⁶ Чернавский М. В Боевой Организации (Воспоминания) // Каторга и ссылка. — 1930. — Кн. 7 (68) — С. 59.

⁸⁷ Новиков Ив Небо молчало. К возрождению — М : Изд-во «Творчество», 1918. — С. 4—5. В соответствии с Циркуляром заведующего типографиями, литографиями, фотографиями, книжную торговлю и библиотеками для чтения в Казанской губернии (№ 417) от 19 декабря 1909 г., книга Ивана Новикова «К возрождению. Рассказы» (М., 1907) подлежала уничтожению — НАРТ Ф 199 Оп 1 Д. 314 С 194 об

безнравствен, развратен, одинок. В сопоставлении с Героем он воспринимается как не-человек, и убийство Героем Антигероя (терракт) отходит на задний план, ибо в глазах читателей Антигерой уже убит морально. Таким образом, террорист — представитель Подпольной России, — убивая, остается морально чист⁸⁸.

Тот же прием противопоставления героев использовался и в более крупных литературных формах, таких, как роман, герои которого так и противопоставлялись — группами. Группа «наших» и группа «чужих». Например, в длинном романе Р. Скифа «Государственные преступники» на стороне «наших» изображены сельские интеллигенты, работающие на благо народа, и идеальные девушки — их подруги, выросшие на заветах типа «толковая и умная девушка должна работать для народа и жертвовать собой...»⁸⁹. Им противопоставлен мир губернского начальства — лгуны, карьеристы, развратники. Эту группу героев возглавляет губернатор Фон Миллер — отменный негодяй. Революционерка соблазняет и убивает развратного губернатора. В контексте романа такой исход воспринимается совершенно естественно.

Самые бесхитростные писатели проговаривались: в их произведениях противопоставление двух типов героев, и более широко — двух антагонистических миров, носило характер противопоставления идеального утопического мира — миру реальности. Последний и был Россией Легальной, отвергаемой уже потому, что, будучи страной реальной, она уступала красивой и абстрактной стране идеальной. Молодой автор журнала «Студенчество» идеальный мир поместил в студенческом кружке, члены которого собираются почитать хорошие книги и попеть любимые песни («Отречемся от старого мира») под портретами «великих учителей»⁹⁰.

Все они жили мечтой, в красивом порыве ждали жертвы, трепетно искали, как бы стремясь слить маленькие ручейки своей личной жизни с огромным, бушующим морем...⁹¹

Но вот они расходятся по домам, и тут их настигает «мутным заплеснелым ручейком» реальная жизнь — темная и грязная улица, проститутки, городской, восклицающий: « — А я его по башке как трахну...» Музыкальная тема улицы — исполняющаяся «плаксивым тенором» песня *Бедная Расея — несчастная страна*. Моло-

⁸⁸ Буговский А. Сергей Грядун // Образование. — 1907. — № 7. — С. 27—46. Более подробный разбор этого рассказа см.: Могильнер М. Российская радикальная интеллигенция перед лицом смерти // Общественные науки и современность — 1994. — № 6. — С. 56—66.

⁸⁹ Скиф Р. Государственные преступники. — СПб.: Изд-во «Свет», 1908. Роман писался в годы первой русской революции. Последнюю точку автор поставил 13 августа 1907 года.

⁹⁰ Лизинский С. Ворвалось... // Студенчество. — 1906. — № 1. — С. 18

⁹¹ Там же — С. 19.

дежь отворачивается от этого мира, принимая «великий постриг», «смело разрушая и восторженно созидая»⁹².

Если и был возможен диалог между двумя мирами, то звучал он так:

... Друг друга мы понять никак не можем,
 Жалеть ли нам об этом, господа?
 Наш путь иной; нам говорят: «он ложен».
 Нет, никогда, нет, никогда!
 <...>
 Да, не пойдем мы никогда друг друга.
 Они для нас — практичные дельцы,
 А мы для них рушители порядка,
 Мечтатели, наивные юнцы...⁹³ (начало XX века)

Этот бескомпромиссный манихейский подход к окружающей действительности компенсировался удивительной избирательностью взгляда, который легко игнорировал любые нюансы, усложнявшие миф. Существование двойной морали, двойного счета стало общим местом в беллетристике и поэзии. Только форма литературного произведения позволяла завуалировать вопиющие противоречия такого подхода. Скажем, в увидевшем свет в 1906 году сборнике четыре из пяти разделов составлены из революционной поэзии и беллетристики, воспевающей героизм самопожертвования, терроризма и т. п. Лишь один, третий, раздел сборника включает в себя антивоенные произведения следующего типа:

Нет, нет... Я не могу понять,
 Как это может быть?..
 Идти затем, чтоб умирать
 Иль дать себя убить...
 Но мне понять еще трудней,
 Как можно посылать
 Своей рукой других людей —
 Убить и умирать?...⁹⁴

Такая логика присутствовала у авторов сборника исключительно в разработке темы «война», но никак не в отношении темы «революция»⁹⁵. Война как проблема не подлежала монополии Подпольной России, к ней могли быть применимы мерки «мещанско-

⁹² Лизинский С. Ворвалось // Студенчество — 1906. — № 1 — С. 18.

⁹³ Студент. Друг друга мы понять никак не можем .. // Избранные произведения русской поэзии. Изд. 5-е / Сост. В. Бонч-Бруевич. — СПб.: Изд-во М. М. Стасюлевича, 1909. — С. 229.

⁹⁴ Галина Г. Война // Сборник — М.: Изд-во «Набат», 1906. — С. 127.

⁹⁵ Точно так же проявилась двойная мораль в другом сборнике «Не убий!» (1906), где осуждался исключительно правительственный террор. См.: Не убий! Рассказы и стихотворения. — М.: Изд-во Г. А. Иовенко, 1906

го» пацифизма, в то время как насквозь идеологизированное и мифологизированное понятие «революция» до поры до времени безопасно существовало в пределах литературной мифологии подполья, где снимались любые противоречия, с этим понятием связанные.

Очевидно, что литературные мифы, созданные радикальной интеллигенцией, не просто отражали существование радикальной субкультуры в обществе, а были ее важнейшим формирующим компонентом. Будучи достаточно «прозрачными», легко прочитываемыми, адресованными конкретной категории читателей, они представляли собой динамическую границу Подпольной России. Язык литературы подполья был понятен и «легальному» верху, ибо эта литература, пусть и утрированно, развивала традиции гуманистической русской литературы. Она создала гармоничный образ Подпольной России, что придало целостность ей самой и обеспечило моральную санкцию общества.

МИФ О ГЕРОЕ

Я в битву шел, как духом гордый лев,
Мой спутник был — завет отцов нетленный,
И страшен был безудержный мой гнев:
Я бросил жизнь, — и пал мой враг надменный.

Иван Каляев, «Перед казнью», 1905⁹⁶

Опять он здесь, в рядах борцов.
Он здесь — пришелец из Женевы.
Он верит: рухнет гнет оков,
Друзья свободы, где вы, где вы?

[...]

Не дрогнет он. Безумный взгляд
Его лицо не перекосит,
Когда свой яростный снаряд
Жандарму под ноги он бросит.

Андрей Белый, «Опять он здесь...», 1906⁹⁷

Литература задает неслыханные, фантастические нормы героического поведения, а жизнь героев пытается их реализовать. Не литература воспроизводит жизнь, а жизнь стремится воссоздать литературу.

Ю. М. Лотман⁹⁸

Семиотическая идея личности как знака принципиально важна для понимания литературной мифологии подполья. Центральным персонажем большинства поэтических и прозаических произведений Подпольной России являлся герой-революционер с определенным, достаточно постоянным набором качеств и функций в тексте. Начиная с ярких зарисовок Степняка-Кравчинского («Сумрачная фигура, озаренная точно адским пламенем, которая, с гордо поднятым челом и взором, дышавшим вызовом и местью, стала пролагать свой путь среди уstraшенной толпы, чтобы выступить твердым шагом на арену истории»)⁹⁹, через примитивные беллет-

⁹⁶ *Каляев И.* Перед казнью // Памяти Каляева. — М.: Изд-во «Революционный социализм», 1918. — С. 103.

⁹⁷ *Белый А.* Опять он здесь...// Факелы. — 1906. — Кн. 1. — С. 33—34.

⁹⁸ *Лотман Ю. М.* Культура и взрыв — М.: «Гнозис» и Изд. группа «Прогресс», 1992. — С. 79.

⁹⁹ *Степняк А.* Подпольная Россия. Сборник статей, рассказов и стихотворений, до сих пор печатавшихся за границей. — СПб.: Изд-во «Ясная Поляна», 1907 — С. 17

ристические сюжеты, до, скажем, стихотворения М. Волошина «Чайке», посвященного Марии Спиридоновой¹⁰⁰, или Д. Мережковского «Блажен, кто цель избрал, кто вышел на дорогу...»¹⁰¹ — везде герой выступает как основная ценностная доминанта текста, как носитель сюжета.

Накануне и в годы первой русской революции герой все чаще предстает не просто профессиональным революционером, самоотверженно выполняющим свой долг перед народом, но террористом, жертвующим собственной жизнью ради революционного идеала («Террорист»: «Зачем мне жизнь? В ней нет мне наслаждения / Когда народ сгнивает в нищете...»¹⁰²). Именно жертва оправдывала террор в глазах читателей, и она же возвышала ходульный образ до уровня трагического персонажа («Тебе, казненному, воздвигнут алтари, / Терновому венцу поклонятся цари...»¹⁰³).

Пожалуй, приоритет в создании героя мифологического подполя как героя-страдальца принадлежит все тому же Степняку-Кравчинскому. И персонажи его документальных очерков, и герои романа «Андрей Кожухов»¹⁰⁴ подкупают прежде всего готовностью к жертвам:

Засулич вовсе не была террористкой. Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на заклятие...¹⁰⁵

¹⁰⁰ Волошин М. Чайке // Владимирова В. Мария Спиридонова. — М.: Изд-во А. П. Поплавского, 1905. — С. 144.

На чистом теле след нагайки,
И кровь на мраморном челе...
И крылья вольной белой чайки
Едва влачатся по земле [...]
Душа погибла в непогоду...
Погибла в мрачной темноте —
За меньших братьев, за свободу
Распятой жертвой на кресте.

¹⁰¹ Мережковский Д. Блажен, кто цель избрал, кто вышел на дорогу... // Избранные произведения русской поэзии. Изд. 5-е (Сост. В. Бонч-Бруевич). — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — С. 174.

[...] Со знаменем в руках вступая в бой кровавый,
Он может ранами гордиться пред толпой,
Он может совершить свой подвиг величайший
И на виду у всех погибнуть, как герой. [...]

¹⁰² Неизвестный автор. «Террорист». — ГАРФ. Ф. 675. Оп. 1. Д. 211. Л. 1.

¹⁰³ Боровиковский А. Л. «Ессе Ното» // Избранные произведения русской поэзии. Изд. 5-е (Сост. В. Бонч-Бруевич). — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — С. 111.

¹⁰⁴ К—кий С. Из прошлого: Роман из истории 70-х годов. — СПб.: Изд-во «Труд и польза», 1905. Это было первым изданием романа в России. Роман подвергся неизбежной цензуре издателя, «которому пришлось выкидывать самому все чересчур острое в тексте "Андрея Кожухова", чтобы отстоять книгу в целом». Тем не менее роман арестовали, издателя только амнистия спасла от заключения в крепости, книгу же суд постановил уничтожить. Только в 1917 году роман Степняка явился в легальном издании в полном виде и под своим названием «Андрей Кожухов» (Горнфельд А. Г. С. М. Степняк-Кравчинский. Андрей Кожухов // Русское богатство — 1917. — № 11/12. — С. 353—355).

¹⁰⁵ Степняк А. Подпольная Россия. Сборник статей, рассказов и стихотворений, до сих пор печатавшихся за границей — СПб.: Изд-во «Ясная Поляна», 1907. — С. 21

О Д. Лизогубе:

Семьи у него не было. Ни разу в жизни он не испытывал любви к женщине...¹⁰⁶

О героях романа «Андрей Кожухов»:

Будучи свидетелем и участником движения, поразившего даже врагов своею безграничною способностью к самопожертвованию, я желал представить в романтическом освещении сердечную и душевную сущность этих восторженных друзей человечества...¹⁰⁷

И т. д.

Вера Засулич, которая, по словам Кравчинского, «вовсе не была террористкой», но жертвой, действительно думала о себе именно так. В мемуарах она писала, что к «стану погибающих» влек ее прежде всего «терновый венок»: «Не сочувствие к страданиям народа толкало меня в «стан погибающих». Никаких ужасов крепостного права я не видела...»¹⁰⁸ Мысль о жертве как цели человеческого существования пришла к Засулич из книг. Она взалхлеб читала литературу «о подвигах», относя к последней и Евангелие. Любимым ее поэтом оставался Некрасов. «Есть времена, есть целые века, когда ничто не может быть прекраснее, желаннее тернового венка», — цитировала Засулич¹⁰⁹.

Интересно проследить диалог Степняка и Засулич: мифотворца и живого объекта литературного мифотворчества. Вера Засулич читала самые первые публикации революционных профилей Степняка, затем она одна из первых познакомилась с его романом «Карьера нигилиста» (*The Career of a Nihilist*, London, 1889), после смерти автора вышедшим в русском переводе под названием «Андрей Кожухов». На ее глазах проходила канонизация близких ей людей, мифологизация недавней истории, собственно — ее истории. И в центре этого процесса оказывалась довольно абстрактная

¹⁰⁶ Степняк А. Подпольная Россия. — С. 51.

¹⁰⁷ Цит. по: Горнфельд А. Г. С. М. Степняк-Кравчинский. Андрей Кожухов. С. 354. Герой этого романа, посвятив ночь перед покушением размышлениям о приносимой им жертве, забывает почистить револьвер. В день покушения револьвер дал осечку. Ту же коллизию описывает А. Ремизов в романе «В розовом блеске», где девушка-террористка думает только о своей жертвенной смерти, но никогда об убийстве другого человека. Эта беллетристическая ситуация была частью реального опыта русских террористов. Например, эсер-рабочий Фома Качура, покушавшийся на харьковского генерал-губернатора Оболенского, с помощью Г. Гершкини подготовил письмо к товарищам с размышлениями о смысле приносимой им жертвы, брошюру и записку-обвинение для Оболенского (два последних документа — от лица партийного комитета) — все было опубликовано после совершения теракта. Будучи готовым к жертве, террорист оказался не готов к убийству — он плохо умел стрелять. Качура стрелял четыре раза, причем первый раз — в упор. Все пули пролетели мимо, не задев губернатора. См.: Почему стреляли в харьковского губернатора: Письма героя-рабочего. — Б. М.: Типография партии социалистов-революционеров, 1902.

¹⁰⁸ Засулич В. Воспоминания. — М.: Изд-во ВОПИС-Пос., 1931. — С. 16.

¹⁰⁹ Там же. — С. 15



Ходить птичка весело
По тропинкѣ бѣдствій
Не предвиди отъ сего
Никакошь послѣдствій.

и безличная, но великая в своем жертвенном порыве фигура героя-революционера. В 1892 году в отзыве на роман «Карьера нигилиста» Засулич прокомментировала сложившуюся ситуацию следующим образом: художник, берущийся за изображение «мира нелегальных, организованных революционеров», должен сознавать, что это — совершенно особый мир. Основное отличие этого мира в том, считает Засулич, что в нем уничтожены «все обычные условия и

отношения», другими словами — уничтожена «всякая возможность проявления личных недостатков», обусловленных этими отношениями. Таким образом, мир революционеров-подпольщиков оказывается действительно миром идеальных отношений и идеальных людей. Изображать этот мир можно только так, как это сделал автор «Подпольной России», который в характерах своих персонажей выделил лишь яркие черты революционной героики. Абстрактно-героическое изображение революционеров Засулич считала единственно правдивым: «не было между революционерами большой разницы и в нравах, манерах, обычаях»¹¹⁰. В этой предельной типичности Засулич парадоксальным образом усматривала индивидуальность героя Подпольной России — по существу, и свою индивидуальность. Более того, не прибегая к специальной терминологии, она преподносила своего литературного двойника как мифологического героя, лишенного индивидуальности, являющегося воплощением коллективной героики. До Степняка, подчеркивала Засулич, такой герой в литературе не существовал. Степняк показал, что настоящий герой Подпольной России есть «революционный дух» в человеческом облике. Соответственно, такому герою противоречит как излишний психологизм, так и бытописание. Герой должен быть показан вне быта, вне личной жизни — вся эта реалистичность лишает изображение героя признаков правдивости. Откликнувшись таким образом на творчество Степняка, Вера Засулич в данном случае оказалась не просто объектом литературной мифологизации, но и идеальным читателем. Она прочитала именно то, что пытался сказать автор «Подпольной России», более того — не просто прочитала, а добровольно шагнула в миф, поддержав своим авторитетом акт мифологической кодификации мира радикальной интеллигенции.

После Степняка художественное изображение революционера как человека, жертвующего своей жизнью на благо народа, «увенчанного терновым венцом»¹¹¹, стало каноном. Тюрьма входила в мифологию жертвенного героя как необходимая ступень на пути к полному самоотречению. Герой должен был «звать железной це-

¹¹⁰ Засулич В. Карьера нигилиста // Засулич В. И. Статьи о русской литературе. — М.: Худож. лит., 1960. — С. 84—120.

¹¹¹

За счастье людей, за счастье земли
Святой борьбы свой стяг они подняли.
Но люди их мученьям обрекли —
Терновыми венцами увенчали

Вакарин М. Ишли они усталою толпой // Новое слово — 1906 — № 8. — С. 165 См также На смерть И М Ковальского // Земля и воля Социально-революционное обозрение — Берлин: Изд-во Гуго Штейнница, 1904 — С. 42, Поливанов П. С. Алексеевский равелин Кончился — М. Изд-во «Народная мысль», 1906 и др

пью»¹¹², вести «тонкую духовную жизнь» в узких и грязных камерах¹¹³. Как к святыне приходили идеальные беллетристические девушки к воротам тюрем, чтобы «поклониться ИМ»¹¹⁴. Писатели и поэты Подпольной России, ее герои и мученики, строго следили за чистотой следования этому жертвенному литературному канону.

Апологией жертвенности можно назвать все творчество П. Якубовича-Мельшина: народовольца — каторжанина — литератора.

| | |
|--|--|
| Спешу бороться и страдать, | Смирjali ль вы со злобой беспощадной |
| И пламенно любить, | Кипенье сил и крови молодой |
| И жертвой жертвы не считать | И ваше я, божка с утробой жадной, |
| И лишь для жертвы жить! ¹¹⁵ | Убили ль собственной рукой? ¹¹⁶ |

Но друг мой! Странанье — стезя идеала:
Блажен, кто с нее до конца не сойдет!¹¹⁷

На призыв партийного поэта пожертвовать собственным «я» откликались сердца его читателей. «Его-то «я» было с искренностью растоптано, стерто и забыто: сгорело и пеплом разлетелось, как жертва на алтаре народном...» — писал о любимом поэте А. Амфитеатров¹¹⁸. Мельшина выделяли именно потому, что, призывая в стихах к жертве на благо народа, он совершал ее в жизни. Другие поэты, похожие на него как две капли воды («Оставь отца и мать... Не строй себе гнезда — / Будь одинок... И пусть заглохнут навсегда / В твоей душе людские страсти!»¹¹⁹), ценились чуть меньше из-за отсутствия соответствующей внелитературной биографии. Этот фактор несколько девальвировал их проповедь, но и она признавалась нужной, полезной, необходимой для дела.

Николай Морозов, еще один яркий представитель радикальных литераторов с внелитературной биографией, предложил свою формулу жертвенности революционера: «Трудно жить и бороться за волю, / Но легко за нее умирать»¹²⁰. Эти слова позднее широко тиражировались партийными литераторами «второго эшелона». «Умирать за свободу я рад...» — восклицал поэт, чьи стихи

¹¹² *Белый А.* Народный вождь // Перевал. — 1907. — № 10. — С. 20.

¹¹³ (Автор не указан) Всяду жизнь // Сборник. — М.: Изд-во «Набат», 1906. — С. 119—121.

¹¹⁴ *Белоруссов.* У озера (Выписки из дневника) // Там же — С. 106—113.

¹¹⁵ *П. Я.* (П. Якубович-Мельшин). Стихотворения. — СПб.: Изд-во т-ва «Просвещение», 1910. — Изд. 6-е. — Т. 1. — С. 75.

¹¹⁶ Там же — С. 184.

¹¹⁷ Там же. — С. 199.

¹¹⁸ *Амфитеатров А.* Литературные впечатления: П. Я. (П. Якубович-Мельшин) // Современник. — 1911. — № 4. — С. 308.

¹¹⁹ *Боровиковский А. Л.* «Ессе Ното!» // Избранные произведения русской поэзии / Сост. В. Бонч-Бруевич. — Изд. 5-е. — СПб.: Изд-во М. М. Стасюлевича, 1909. — С. 110—111.

¹²⁰ *Морозов Н.* Памяти 1873—75 гг. // Песни борьбы. — Ростов-на-Дону: Изд-во «Донская речь», 1906. — С. 33. Еще одна классическая формула жертвенности принадлежит Н. Огареву: «Иди без унынья, иди без роптанья, / Твой подвиг прекрасен и святы страданья» (*Огарев Н.* Михаилу Ларионовичу Михайлову // Былое (Лондон). — 1904. — № 6. — С. 4—5).

вошли в одно из наиболее полных собраний произведений литературного творчества Подпольной России¹²¹. Другой поэт вторил:

Пусть захлещет град свинцовый,
Встретят смело — рать на рать,
Кто за счастье жизни новой
Ищет счастье умирать...¹²²

Так же чувствовал Иван Каляев, убийца великого князя Сергея Александровича (1905 г.), которого коллеги по БО партии социалистов-революционеров называли «поэт». Поэт-террорист писал стихи о смысле собственной жертвы:

Что мы можем дать народу,
Кроме умных, скучных книг,
Чтоб помочь найти свободу?
Только жизни нашей миг...¹²³

Если Каляев перед казнью писал стихи, то его коллега по партии, террористка Зинаида Коноплянникова, поэтом себя не считала. И все же пусть по-разному, но говорили они перед смертью об одном и том же: «Прости, мой народ! Я так мало могла тебе дать — только одну свою жизнь» (З. Коноплянникова)¹²⁴. Подобно стихам Каляева, которые не были только поэзией, последние слова Коноплянниковой, несмотря на всю их искренность, не были до конца ее словами. За ними стоял утвердившийся в литературе Подпольной России канон, позволявший даже такие широкие обобщения: «Привет, народ страдальцев и героев!»¹²⁵

Герой любил этот народ и отдавал за него жизнь. Литературно-мифологический канон признавал только такую любовь, предполагая, что радикальная интеллигенция *en mass* разделяет точку зрения Степняка-Кравчинского: «любовь к человеку, как бы она сильна ни была, всегда один из островков на реке нашей обществ[енной] жизни» (из письма С. Кравчинского к А. М. Эпштейн,

¹²¹ *Поздняков М. Д.* Борец за свободу // Вперед. Сборник стихотворений и песен. / Сост. М. Львович. — Изд. 2-е. — Ростов-на-Дону. Изд-во «Донская речь», б. г. — С. 136.

¹²² *Черный Г.* Песня // Песни революции. — Киев: Изд-во «Народное дело», б. г. — С. 52.

¹²³ *Каляев И.* Сон жизни // Памяти Каляева. — М.: Изд-во «Революционный социализм», 1918. — с. 96. Помимо этого сборника, стихи Каляева можно найти и в других изданиях: 1905 год. Литературно-исторический сборник / Сост. П. Арский. — Л.: Гос. изд-во, 1925. — С. 145; Воля. Политический, общественный и литературный сборник. — СПб.: Изд-во П. Е. Ознобищева, 1908. — С. 26—27, и др. Самое же полное собрание произведений террориста появилось вскоре после его казни: Убийство В. К. Сергея Александровича социалистом-революционером И. Каляевым / Под. ред. Н. А. С. — М.: Изд-во «Современные проблемы», б. г.

¹²⁴ *Н. К. Казнь З. В. Коноплянниковой // Сознательная Россия. — 1906. — № 3. — С. 69.*

¹²⁵ *А. К. России на 1905 год // Сборник — М.: Изд-во «Набат», 1906. — с. 40.* Чаще коллективным «страдальцем и героем» объявляли не народ в целом, а молодежь. Например: «А ты, горячая родная молодежь, / Прими, прими мое благословенье. / За то, что на костры, в темницы, на мученья / Ты с светлой верою идешь, / Топча насилие и попирая ложь» (*Галина Г.* Я презираю вас, сыны благоразумья // В борьбе — 1906. — Вып. 1 — С. 11).

1878 г.)¹²⁶. Любовь к народу, к свободе требовала жертвы — о такой любви писали много. Любовь в обыденном смысле, даже если ей находилось место в литературе Подпольной России, тоже осмысливалась через идею жертвы и страдания:

На руках у него след оков и цепей...
И в далеком, холодном краю
Он страдал за других, как Христос за людей —
Тот, кого я люблю...¹²⁷ —

или:

Здесь, вчера, еще вместе смеялись они,
Вспоминая минувшие годы,
Договор заключали совместной борьбы
За идею добра и свободы...¹²⁸

Накануне и в годы первой русской революции обращение к теме жертвенной любви превратилось в ритуал: «Они были молоды и верили в себя, были здоровы и сильны, и молодые крепкие тела их, полные упругих неизносившихся мускулов и горячей свежей крови, требовали труда и жертвы»¹²⁹. Банальная тема классического любовного треугольника лишалась статуса «мещанской», если дело происходило на конспиративной квартире, где находилась тайная типография, а социал-демократы соперничали за внимание со стороны сознательной девушки-подпольщицы. Главное отличие от обычной любовной истории состояло не только в «подпольном» антураже повествования, но и в развязке: сложные отношения героев привели к провалу типографии. Дело оказалось важнее человеческих чувств¹³⁰.

¹²⁶ Из переписки С. М. Кравчинского: 2. Письмо С. М. Кравчинского к А. М. Эпштейн от 24 июля 1878 г. // Красный архив. — 1926. — Т. VI (XIX). — С. 198.

¹²⁷ *Галина Г.* Может быть, это был только радостный сон... // Галина Г. Предрасветные песни. — СПб.: Изд-во М. В. Пирожкова, 1906. — С. 8.

¹²⁸ *Арестован!* — ворвались ночью гурьбой... // Вперед. — С. 97.

¹²⁹ *Муйжель В.* Кошмар // Ссылным и заключенным. — СПб.: Изд-во т-ва «Вольная типография», 1907. — С. 145. См. также: *Дальский Д.* Агония // Студенческий сборник Харьковского литературного кружка — Харьков: Изд-во Б. Бенгис, 1907. — С. 185—190

¹³⁰ *Изгнанник.* Он вернулся. — Симбирск: Изд-во Н. И. Колосова, 1907. Повесть писалась с ноября по декабрь 1906 года. В связи с темой политизированного осмысления любовных отношений интересен предложенный К. Чуковским вариант классической истории Монтекки и Капулетти:

Он был с.-д., она — с.-р.
Они друг друга свыше меры
Любили.
Но был к.-д. его отец,
Но был с.-с. ее отец.
Они сердец их под венец
Не допустили
Он был с.-д., она с.-р.
И к ним жандармский офицер явился.
Он посадил его в тюрьму,
Он посадил ее в тюрьму
И скрылся.

(*Чуковский К.* Как они соединились // В борьбе — 1906. — Вып. 1. — С. 8)

Существование канонического героя, «правильных» биографий, чувств и сюжетов крайне облегчало литературные дебюты молодежи, рассматривавшей свое творчество как своеобразную инициацию на пороге Подпольной России. Идеальные герои молодой беллетристики жертвовали собой чуть ли не с младенческого возраста, а их юность проходила «вся в опасностях, сказочных приключениях по тюрьмам, в ссылке и побегах»¹³¹. Такие герои повестей и рассказов не имели ни имени, ни характера. Часто авторы пренебрегали и сюжетом, действительно излишним, когда пишется не столько художественное произведение, сколько политическое заявление. Достаточно было сказать, что революционная кличка героя-подпольщика — Птица и что «для него переставали существовать мать, отец, дитя и друг; он не стремился к счастью, его не манила слава; он не ждал себе награды ни в этой жизни, ни в будущей...», как все многочисленные несуразности рассказа теряли значение¹³².

В годы первой русской революции казалось, что террорист стал самым модным литературным персонажем. Даже в обычной приключенческой повести о запрятанном кладе должен был действовать террорист. Именно он прятал деньги на конспиративной квартире, а потом возвращался из-за границы, чтобы их выкрасть. Выдает его другой террорист, не простивший товарищу уход из «дела»¹³³. В принципе писатель мог не утруждать себя созданием характера героя-террориста, одно наличие этого героя в тексте вызывало у читателя представление об идеальном Герое радикальной мифологии.

В то же время, несмотря на унификацию и обезличенность героя, он вызывал в сознании читателей образ конкретного террориста, что уничтожало дистанцию между прототипом и героем, реальным террористом и художественным образом. Современному читателю мало что скажет лаконичный рассказ А. Грина «Марат» (Трудовой путь, 1907, № 5), но для современников он оказывался чрезвычайно емким в семантическом и эмоциональном отношении, ибо за фигурой героя рассказа террориста Яна возникала символическая фигура убийцы великого князя Сергея Александрови-

¹³¹ Гордин Вл. Миг один // Истина. — 1906. — № 3. — С. 48.

¹³² Немоевский А. Птица // Люди революции. — Л.: Изд-во «Сеятель», б.г. — С. 3. Рассказ Немоевского может рассматриваться как обширный комментарий к вышеприведенной цитате. В рассказе нет ни героев, помимо Птицы, ни действия. Зато много противоречий и пренебрежения деталями. Например, после описания замкнутости и секретности жизни подпольщика автор сообщает, что нелегального Птицу знает в лицо весь район и любой мальчишка укажет его дом, стоит только «огреть» мальчишку «хорошенько нагайкой» (С. 8). Еще нелепее опытный Птица выдает себя — он спотыкается прямо перед городовым и роняет на тротуар шрифт!

¹³³ Плетнев А. Исповедь террориста (Повесть из времен Александра II) — СПб.: Изд-во «За право и правду», 1906

ча, Ивана Каляева (Янека, как звали его друзья по БО партии социалистов-революционеров)¹³⁴, помещавшая литературный персонаж в дополнительное смысловое пространство. После того как Россия узнала подробности теракта, совершенного Каляевым, литературный герой-террорист приобрел, по крайней мере, две новые устойчивые характеристики: если раньше сам момент теракта обычно игнорировали, то теперь литературные герои стали бросать бомбы в ноги лошадям, запряженным в кареты.

Полетели в разные стороны обломки блестящего черного дерева... Спицы колес замелькали в воздухе... белые лошади понеслись вскачь, как бешеные...¹³⁵

И, подобно Яну Грина, беллетристические террористы щадили случайное лицо, находившееся в карете рядом с намеченной жертвой:

Почему не удавалось в те разы. Да, да... помнит. В первый раз [...] ему показалось, что в быстро проехавшей карете тот не один¹³⁶.

Можно утверждать, что у героя Подпольной России были и гендерные характеристики: наряду с революционерами-мужчинами в литературно-мифологическом пространстве существовали и женщины, чаще всего — совсем юные, хрупкие девушки, созданные для чистой и светлой жизни, но принесшие все это в жертву революции. Именно такая героиня действовала в романе Софьи Ковалевской, появившемся в России в 1906 году¹³⁷. Ковалевская избегает подозрений в автобиографичности романа, дистанцируется от своей героини Веры, все время подчеркивая разницу в их взглядах на жизнь. Но также очевидно, что Ковалевская восхищается Верой — идеальной девушкой, молодой, красивой, жертвенной и чистой. Такой тип сформировался в ходе разговоров Веры с ее воспитателем: разговоров «о мучениках, о всех современных героях свободы, пожертвовавших жизнью и счастьем ради торжества святого дела»¹³⁸. В итоге Вера уезжает в Сибирь, чтобы облегчить страдания политических каторжан и ссыльных.

Женский тип революционной героини, а точнее — восприятие этой героини современники сравнивали не просто с религиозным

¹³⁴ Теракт, совершаемый Яном, в точности повторяет покушение Каляева на великого князя. Ян выходит с бомбой дважды, так как в первый раз в карете вместе с намеченной жертвой сидели женщина и мальчик. Точно так же Иван Каляев провалил первую попытку покушения на великого князя Сергея, ехавшего в театр с женой и детьми.

¹³⁵ Гордин В. Миг один // Истина. — 1906. — № 3. — С. 49.

¹³⁶ Ауслендер С. Победивший // Студенчество. — 1906. — № 4. — С. 23.

¹³⁷ Ковалевская С. Нигилистка. — М. Изд-во П. В. Кохманского, 1906. Роман впервые был опубликован за границей в 1892 г.

¹³⁸ Там же — С. 89.



культом, но с особой, наиболее экзальтированной его разновидностью — хлыстовством. В. Розанов усматривал хлыстовский элемент в почитании «живых богородиц» революции. Вера Фигнер в его глазах была «явно революционной “богородицей”, как и Екатерина Брешковская или Софья Перовская...»¹³⁹

Правда, в отличие от представления о хлыстовских «богородицах», актуального для культурной элиты «серебряного века», экзальтированное преклонение перед женскими инкарнациями революционного героя в рамках мифологии подполья было лишено эротических коннотаций. Даже авторы антиреволюционной литературы, в описании революционных героинь следовавшие перевернутому с ног на голову канону (то, что в контексте радикальной субкультуры оценивалось однозначно положительно, они оценивали безусловно отрицательно), позволяли своим женским персонажам отдаваться чувству к мужчине, выходить замуж и рожать детей только после того, как те отказывались от революционной карьеры, переставали быть Героинями¹⁴⁰. Постепенно канон со-

¹³⁹ Розанов В. Опавшие листья // Розанов В. О себе и жизни своей — М.: Московский рабочий, 1990 — С. 204

¹⁴⁰ Силов И. П. «Героиня (дневник медички)» — Изд. 2-е — СПб.: б и., 1908. Повесть написана в 1905 году. Видимо, не случайно героиню этой повести, подобно героине Ковалевской, зовут Вера. Традиция «Вер Павловн» безусловно влияла на образы как идеальных ге-

вершенно лишался плоти, оставалась одна словесная оболочка — выхолощенный знак, лишенный человеческого содержания: «Моих сестер надеждой золотой / Озарены страдальческие лица... [...] / В огонь к тебе моих сестер я кину...»¹⁴¹ Отправляя страдальческих «сестер» в огонь, а главное, публикуя это стихотворение в сборнике революционно-демократического характера, поэт явно рассчитывал, что публика и без его помощи поймет, кто такие «сестры» и в какой огонь они брошены (конечно, в огонь борьбы). Вне контекста субкультуры Подпольной России это стихотворение выглядит бессмысленно.

Даже в бездарных произведениях изображение революционно-самоотречения задевало интимные струны в душе интеллигентного российского читателя. Через страдание снималась отчужденность героя, он становился близок всякому читателю, даже если тот не был напрямую причастен Подпольной России.

Что мне она! — не жена, не любовница
И не родная мне дочь!
Так от чего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь?!¹⁴²

Эти строки посвящены Перовской, но подобных примеров можно привести десятки. Вот, скажем, стихотворение, посвященное памяти С. В. Балмашева:

Свершен преступный суд: пробил твой час урочный,
И гордо принял ты страдальческий венец;
Ты в жертву принесен, как агнец непорочный...
Сорвали жизни цвет, погиб герой-боец!..
Ты молод был, но уже рукою твердой
Геройский подвиг свой бестрепетно свершил
И силы юные, с уверенностью гордой,
Так рано на алтарь священный положил!¹⁴³

Приговоренную к девяти годам каторги Ольгу Любатович тоже воспевали в стихах:

роинь, так и их антиподов. Героиню другого антиреволюционного произведения зовут Аня, но на деле мы вновь встречаемся со старой знакомой «Верой»: юная, чистая девушка, готовая к жертве. «Партийная дисциплина обязывает меня... — говорит она. — Я уже не принадлежу себе [...] Ведь нужно же приносить себя в жертву идее, общему благу...» (*Морской И. Анархисты будущего (Москва через 20 лет).* — М.: Изд-во Вл. Чичерина, 1907. — С. 48) Аня, как и Вера в «Героине» перевоспитываются под влиянием трагических жизненных обстоятельств и возвращаются в Россию Легальную, превращаясь из Героинь в обычных женщин. При этом они отказываются и от высокой непорочности героинь Подпольной России: обе выходят замуж, а Аня к тому же рождает ребенка.

¹⁴¹ *Лустыгин М. Костер* // Альманах. — СПб.: Изд-во Я. Баянского, 1906. — № 1 — С. 29

¹⁴² *Полонский Я.* Что мне она!... // *Песни борьбы.* — М.: б. изд., 1906 — С. 128.

¹⁴³ *Памяти С. В. Балмашева* // *Песни борьбы: сборник стихотворений.* — Ростов-на-Дону. Изд-во «Донская речь». 1906 — С. 35

Ты страдаешь за свободу,
 Так утешься: подвиг твой
 Будет памятен народу,
 Как иконы лик святой¹⁴⁴.

В принятии поэтики героя Подпольной России стиралась граница между параллельными семиосферами. У Андрея Белого, не принадлежавшего в принципе к числу революционных авторов, террорист — «посланец из Женева» нисколько не сложнее своих прототипов из литературы подполья.

... Не дрогнет он. Безумный взгляд
 Его лицо не перекосит,
 Когда свой яростный снаряд
 Жандарму под ноги он бросит...
 Швырнуть снаряд не тяжкий труд
 (Без размышленья, без боязни).
 Тюрьма. Потом недолгий суд,
 Приготовленье к смертной казни.
 Команду встретит ровный взвод,
 Зальются трелью барабаны.
 И он взойдет на эшафот,
 Взойдет в лучах зари багряной...¹⁴⁵

Подобно тому как для революционеров 1880-х годов конкретный образ Нечаева накладывался и замещался литературным Лео, для радикальной интеллигенции начала века конкретный герой-террорист замещался мифологическим Героем — нормативным идеалом образцового (героического) социального поведения. В приведенных примерах собраны все необходимые характеристики «мифа о Герое», кочевавшие из книги в книгу, из стихотворения в стихотворение, из рассказа в рассказ. Герой **молод**, он не успел пожить, он отдал в жертву свою молодую жизнь, что делает его жертву несравнимо ценнее, чем жизнь, скажем, убитого им старика-министра или губернатора средних лет, успевшего пожить¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Е. Н. Ольге Любатович // Подпольные песни и рассказы. — СПб: Изд-во К. А. Четверикова, 1907 — С. 11. См. также «Посмертное стихотворение С. С. Синегуба. Памяти Н. К. Михайловского» (1904 г.) — ГАРФ. Ф. 6753. Оп. 1. Д. 208. Л. 3., и др.

¹⁴⁵ Белый А. Опять он здесь, в рядах борцов... // Факелы. Литературный альманах. — СПб., 1906. — Кн. 1 — С. 33—34.

¹⁴⁶ Сергею Николаевичу Булгакову принадлежит мысль о том, что именно Некрасов создал эстетический образ ранней смерти как апофеоза интеллигентского героизма.

Не рыдай так безумно над ним:
 Хорошо умереть молодым!
 Беспощадная пошлость ни тени
 Положить не успела на нем... — и т. д.

(Булгаков С. Героизм и подвижничество // Вехи: сборник статей о русской интеллигенции. — М.: Изд-во В. М. Саблина, 1909 — Изд. 2-е — С. 46) К сказанному Булгаковым следует добавить, что тема преждевременной смерти — «умереть молодым» — одна из ведущих в романтической литературе и принципиальна для понимания романтического мирозозерцания. Она придавала романтический облик и радикальному герою

Герой жертвует не только жизнью, но и правом любить, создавать семью, рожать детей. Это особенно ярко отражено в женском варианте Героя — в образах совсем юных девушек, в силу возраста и высшей духовной чистоты неспособных даже подумать о телесных удовольствиях или о замужестве и рождении детей. Герои любят народ, принося свои жертвы именно этой любви. Далее, Герой страдает, он свят («страдальческий венец»), и над ним не властен земной суд (в том числе и государственный суд). Герой — смелый и твердый человек, бестрепетно приносящий свою жертву. Таким образом, у читателей естественно создается убеждение в его моральной неподсудности, что делает невозможной разрушительную для героини подполья мысль о том, что Герой зачастую становится не только жертвой, но и убийцей. Для создателей мифа он всегда — **агнец непорочный**.

Этот Герой — семиотический стержень всей радикальной литературы — и был главным оправданием радикализма. Подобно героям мифа, он имел мало общего с героиней индивидуализма. Первым среди равных создавала его радикальная традиция («Заключенному. (Посвящается многим)» — типичная иллюстрация того, как индивидуальный герой воплощал с себе коллективную героиню)¹⁴⁷, тем самым стимулируя желающих подражать нормативному образцу. Эта установка поддерживалась не только литературными текстами, но и другими документами, всплывавшими из недр Подпольной России: скажем, письмами и последними словами заключенных¹⁴⁸ или революционными некрологами, жанрово близкими беллетристике подполья. Вместе с литературой они представляли некий единый текст, который выше мы охарактеризовали как мифологический текст Подпольной России, снимавший противоречия реального мира радикалов. Теперь возможно разглядеть детальнее механизм формирования этого текста: беллетристика и поэзия воспринимались, да и создавались как элемент идеологической сферы подполья (из тюремного письма Марии Спиридоновой товарищам: «...я, как господин А., готовый писать стихи по решению с-р-ов, подчиню ее (свою жизнь. — М. М.) вся-

¹⁴⁷ *Годин Я.* Заключенному (Посвящается многим) // Альманах. — СПб.: Изд-во Я. Баянского, 1906. — № 1. — С. 66. Традиционность героя революционной литературы (первый среди равных) была отмечена исследователями. В частности, Ю. Лотман писал, что коллективный идеал «выражался в индивидуальном герое так же, как он выражался в разнообразии героических личностей, чьи портреты нарисовал Степняк-Кравчинский» (*Лотман Ю. М.* Культура и взрыв. — М.: Изд-во «Гнозис» и Изд. группа «Прогресс», 1992 — С. 101)

¹⁴⁸ Последние слова политических заключенных превратились в особый литературный жанр, апофеоз популярности которого пришелся на 1905—1906 гг., когда не только газеты, журналы и различные сборники печатали выступления подсудимых и их адвокатов, но и выходили специальные издания типа: Последние слова казненных — СПб. Изд-во «Современник», 1906, Последний день И. П. Каляева — Ростов-на-Дону Изд-во «Донская речь», 1906 и др.

кому вашему решению, потому что компетенция организации в обсуждении интересов дела всегда выше компетенции одного человека»¹⁴⁹). За литературными героями видели обобщенный тип положительного героя, созданный радикальной культурой; даже когда за ним проглядывал реальный прототип, сходство ограничивалось внешними деталями — характер, идейные отличия, личные качества оставались излишними.

Поэтика литературы подполья мало чем отличалась от поэтики настоящих писем и документальных биографий революционеров, так как они соответствовали общему канону. Даже в изданиях сугубо партийных и нелегальных, предназначенных для узкого круга читателей, биографические зарисовки о товарищах часто принимали форму беллетризованных повествований о мифологическом Герое. Особенно это касается биографий террористов, которые составляли в соответствии с наиболее совершенным литературным канонem, существовавшим в рамках субкультуры радикализма. Например, в статье, посвященной покушавшейся на адмирала Чухнина эсерке Екатерине Измайлович (1906 г.), появившейся на страницах издававшегося в Париже «центрального партийного органа», газеты «Знамя труда», автор вплетает скудные биографические данные в каноническое жизнеописание:

Ружейный залп... Замерли последние слова... Окровавленная она лежала. Светлая и прекрасная она умерла [...] Ее последние слова — «стреляйте, я свое сделала» были кратки и прекрасны в своей простоте. Так кратка и прекрасна была ее жизнь. В свое дело она верила. Отдавала все свои силы, посвящала и мысли и порывы светлой юности и наконец отдала свою расцветающую жизнь. И умерла спокойно, со счастьем в душе...¹⁵⁰

Статья об Измайлович, довольно типичная для жанра революционного некролога-биографии, теоретически могла использоваться как трафарет для статей о других террористах. С таким же успехом она могла бы быть инкорпорирована в рассказ или повесть о юной, жертвенной и бескорыстной революционерке. Очевидно, что для автора этой статьи одновременно существовало два уровня восприятия Измайлович: знакомая ему лично девушка и террористка, которая воспринималась им менее индивидуально, как одна из инкарнаций героини Подпольной России.

Точно так же известный адвокат А. А. Ольхин, выступавший на политических процессах (в частности, на процессах 50-ти и 193-х,

¹⁴⁹ Неопубликованные письма Марии Спиридоновой, полученные из тюрьмы после объявления ей приговора суда // Владимирова В. Мария Спиридонова — М.: Изд-во А. П. Поплавского, 1905. — С. 118.

¹⁵⁰ Товарищ. Памяти Екатерины Измайлович // Знамя труда — 1907. — № 6. — 30 сентября — С. 12—13

широко известных публике), целиком воспроизводил радикальную мифологию в своем литературном творчестве. В честь убийцы Мезенцева (1878 г.), С. Степняка-Кравчинского, адвокат А. А. Ольхин написал стихотворение «У гроба (Посвящается поразившему Мезенцева)», которое лично читал в редакции «Земли и воли» С. М. Кравчинскому, Н. Морозову и другим революционерам. Присутствовавшие внесли некоторые изменения в стихотворение, и оно появилось в № 1 «Земли и воли», вышедшем 1 ноября 1878 г.¹⁵¹ Революционеры охотно приняли участие в мифологизации своих образов и своего поступка: вместе с адвокатом-радикалом они «подгоняли» свои жизни под беллетристические стандарты, так как литературную реальность считали высшей, нормативной реальностью. Именно такое восприятие литературы и ее героев делало возможным успешное функционирование подполья.

Если развивать эту тему, неизбежно встанет вопрос об ответственности общества за создание системы политического террора в России начала века. Проще всего считать общество пассивным объектом «перманентного прессинга власти», который порождает «соответствующие этому прессингу формы противодействия оппозиционных сил»¹⁵². Гораздо более сложную задачу ставит перед собою исследователь, видящий в обществе активного субъекта взаимоотношений с государством: «Террористический акт... нуждается, о чем убедительно свидетельствуют многочисленные воспоминания, письма, судебнo-следственные материалы, периодическая печать, в ясно выраженной и мобилизующей нравственной мотивации, основой которой может быть только убежденность в бесчеловечности данного политического устройства и действий властей. Подобная нравственная мотивация может быть устойчивой лишь при явно выраженной отчужденности от власти значительной части общества, которая не только считает действия террористов морально оправданными, но и приветствует их, поддерживает материально»¹⁵³. Наконец, самую большую ответственность принимают на себя историки, отказывающиеся увязывать напрямую прессинг власти и нравственную санкцию, которую угнетенное общество предоставляет радикальной оппозиции¹⁵⁴.

¹⁵¹ От редакции «Былого» // Былое (Лондон). — 1903. — № 3. — С. 152. В этом же выпуске перепечатан полный текст стихотворения «У гроба» (С. 147—151).

¹⁵² Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1995. — С. 4.

¹⁵³ *Леонов И. И.* Террор и русское общество (начало XX века) // Индивидуальный политический террор в России. XIX—начало XX в. Материалы конференции. — М.: Изд-во «Мемориал», 1996 — С. 33.

¹⁵⁴ Walter Laqueur, *Terrorism* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1977); Anna Geifman, *Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894—1917* (Princeton: Princeton University Press,

Анализ литературной мифологии Подпольной России свидетельствует, что лояльное отношение к леворадикальной политике, характерное для российского общества начала века, формировалось по своим законам и имело собственную логику развития. Как мы попытались показать, общество давало моральную санкцию не политическому радикализму как таковому, а его литературному двойнику — мифологизированной Подпольной России. Наиболее противоречивая фигура подполья — террорист — в литературном контексте выступал как герой-жертва, снимая тем самым моральную дилемму о возможности насилия. Именно поэтому его действия могли признаваться «юридически, разумеется, преступными, но морально с такою квалификацией ничего общего не имеющими»¹⁵⁵. Все разнообразие оппозиционной политической деятельности персонифицировалось в героях, и соответственно то, что не вмещалось в рамки этого гармоничного образа, до поры до времени оставалось как бы за кадром.

Безусловно, власти отталкивали от себя общество. Пример тому — практически единодушная одобрительная реакция россиян на убийство министра внутренних дел фон Плеве. «Чувство радости и удовлетворения, охватывающее русское общество при известии об убийствах вершащих его судьбу сановников, конечно, указывает на глубокую ненормальность во всем положении общества и народа. Но где же источник этих ненормальных чувств, как не в самом самодержавии?» — писал в 1904 году Петр Струве в «Освобождении»¹⁵⁶. Московский корреспондент «Революционной России» описывал реакцию москвичей на известие об удачном покушении террористов: «Всюду радостные, улыбающиеся физиономии осмелевших российских граждан [...] Нигде абсолютно никакого негодования против самого факта убийства и даже мало удивления...»¹⁵⁷ Депутат Государственной Думы (I — IV) от октябристов граф Эммануил Беннигсен вспоминал: «...Д. И. Аничков, бывший во время этого убийства на фронте, в сибирских казаках, говорил мне, что телеграмму о смерти Плеве приветствовали в его полку криками ура и шампанским...»¹⁵⁸

1993); Zeev Ivianski, «Fathers and Sons: A study of Jewish Involvement in the Revolutionary Movement and Terrorism in Tsarist Russia» in *Terrorism and Political Violence*, 1989, v. 1, # 2, p. 137—155.

¹⁵⁵ Путешественник. Под впечатлением газетной телеграммы // Освобождение. — 1904. — № 52. — С. 34.

¹⁵⁶ Редактор. Конец ф.-Плеве // Освобождение. — 1904. — № 52. — С. 33.

¹⁵⁷ Смерть В. К. Фон-Плеве: впечатления и отклики // Ковалевский М. Русская революция в судебных процессах и мемуарах. — М.: Изд-во т-ва «Мир», 1925. — С. 91.

¹⁵⁸ Emmanuel P. Bennigsen. Box # 1. Correspondence. Manuscripts. Bakhtmeteff Archive, О реакции на убийство Плеве см также в статьях сборника «Индивидуальный политический террор в России XIX — начало XX в. Материалы конференции» (М.: Изд-во «Мемориал», 1996)

В. Владиміровъ.

МАРІЯ СПИРИДОНОВА.

Съ портретомъ и рисунками.

СЪ ПРЕДИСЛОВІЕМЪ

ОТЪ

СОЮЗА РАВНОПРАВІЯ ЖЕНЩИНЪ.



МОСКВА

Типографія А. П. Поплавскаго, Лялинъ пер., соб. домъ.

1905



Но кроме государственных деятелей уровня Плеве террористы убивали и менее известных чиновников. К ним у широких слоев российского населения не могло быть столь единодушной неприязни. Тем не менее герои-террористы канонизировались обществом вне зависимости от ранга и репутации убитого ими государственного деятеля. Здесь явно работал литературно-мифологический канон:

В России теперь всюду ходят по рукам портреты Балмашева. Увидев этот портрет, всякий чувствующий человек должен воскликнуть: да будут прокляты условия жизни, заставившие этого чудесного юношу, с его славным открытым лицом, на котором написано какое-то девичье, мягкое и в то же время целомудренно-строгое, выражение, пренебречь отращиванием к насилию...¹⁵⁹

Журнал «Русское богатство» за 1907 год перепечатал сообщение из «Биржевых ведомостей» о том, что в какой-то воронежской избе при обыске «обнаружен (на месте, где полагается быть иконам) портрет Марии Спиридоновой, висевший в киоте с горевшей перед ним лампадкой; портрет конфискован»¹⁶⁰. Тамбовские му-

¹⁵⁹ Материалы и сведения по делу об убийстве Сяпягина // Освобождение — 1902 — № 1 — С. 14

¹⁶⁰ Петрищев А. Успокоение // Русское богатство — 1907 — № 12. — С. 85

жики служили молебны о здравии рабы божьей Марии Спиридоновой, о чем сообщала в свое время эсеровская печать¹⁶¹. Шестнадцатилетний киевлянин заочно влюбился в мученицу Марию Спиридонову и повесился из-за невозможности быть рядом с ней. В предсмертном письме товарищу он признавался, что молился на портрет Спиридоновой и надеялся упасть к ее ногам. Юноша не верил в то, что его «дорогая Мария» перенесет тюремное заключение и решил умереть вместе с ней¹⁶². Летом 1905 года московская курсистка писала в дневнике: «Каляев отдал себя за других. Таня волновалась за него, за величие его жертвы... Жданов (адвокат Каляева. — М. М.) передавал и его любовь к матери, и к людям партии...»¹⁶³ И конечно, о террористах слагались рассказы и повести, стихотворения и песни. Романтизация насилия, террора и радикализма в целом становилась литературным штампом, через который осмысливала себя большая часть общества. Герой литературы Подпольной России был одновременно и идеалом, и оправданием российского радикализма. Его действительным порождением и его мифом. Но, как известно, время мифа исторически ограничено. Распад мифа начался тогда, когда революция потребовала его реализации.

¹⁶¹ Мещеряков В. Партия социалистов революционеров («П.С.Р.», партия эсеров). — М.: Изд-во МСНХ «Мосполиграф», 1922 — Ч. II. — С. 60.

¹⁶² Этот случай описан. Алла Geifman, *Thou Shalt Kill*, p. 174—175.

¹⁶³ Дневник Сахаровой-Вавиловой — № 1 ГАРФ. Ф. 328. Оп. 1. Д. 8. Л. 78.

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Русская литература — не зеркало русской революции; скорее наоборот, революции воплощаются и совершаются в текстах, а потом брезгливо смотрят на свое историческое отражение — тусклое, грязное и всегда неверное.

Александр Эткинд, «Содом и Психея»¹⁶⁴

Революция 1905—1907 годов взорвала границы семиосферы Подпольной России. Радикальные идеи объединяли интеллигенцию, да и общество в целом ненадолго ощутило себя единым в порыве восстания. Подпольная Россия перестала быть «подпольной» в прежнем смысле этого слова, она активно открывала себя России Легальной. «Какой новый мир, богатый впечатлениями и дорогами именами, открывается перед русским народом! — записала 29 июня 1905 года москвичка в дневнике. — Они увидят каждую страницу своей истории, писанную кровью»¹⁶⁵. А начинающие поэты в упоении вели разговоры с людьми из ранее недоступного им мира: «Борцы! Вы жизни не жалели / И крепко бились вы за свет, / И пробудившиеся люди / От всей души вам шлют привет...»¹⁶⁶.

Литературный рынок оказался просто завален революционными изданиями. Бесконечный книжный поток выносил «на поверхность *подпольную Россию*»¹⁶⁷. За право издания самой «Подпольной России» и других произведений великого мифотворца радикализма Степняка-Кравчинского велась настоящая война, вынудившая жену писателя заявить:

В газетах появились объявления от некоторых журналов, обещающих своим подписчикам различные сочинения Степняка-Кравчинского. Ввиду этого прошу дать место следующему моему заявлению: При содействии кн. П. А. Кропоткина и С. А. Венгерова я приступила к дополненному по рукописям изданию полного собрания сочинений покойного мужа моего. Исключительное право на издание этих сочинений предоставлено книгоиздательству «Светоч». Ф. Степняк¹⁶⁸.

¹⁶⁴ Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. — М.: Изд-во «ИЦ-Гарант», 1996 — С 8

¹⁶⁵ Дневник Е. Н. Сахаровой-Вавиловой № 1. — ГАРФ Ф 328. Оп 1 Д 8 Л. 67

¹⁶⁶ Николай К-ий Сраженным // Стихотворения — Вятка Изд автора, 1906. — С 13

¹⁶⁷ Современное движение книжного рынка // Книжный вестник — 1906 — № 47/49 — С 115.

¹⁶⁸ Письма в редакцию // Книжный вестник — 1906 — № 42 — С '052.

Бывшие нелегальные издания пользовались спросом, распространять их было коммерчески выгодно, недаром в 1912 году В. И. Ленин вспоминал о времени революции, когда «демократическая книжка стала базарным продуктом»¹⁶⁹. В университетах создавались новые литературные кружки: изучать современный литературный поток казалось столь же важно, как и насущные политические вопросы. Скажем, в начале 1906 года в Петербургском университете к уже существовавшим студенческим кружкам прибавились следующие: кружок по аграрному вопросу; еврейский научно-литературный кружок; литературно-научный кружок;¹⁷⁰ кружок для изучения идеологии и истории народничества и кружок для изучения «анархистических течений» в науке и литературе¹⁷¹.

Так период нарастания революции стал периодом экспансии Подпольной России, раздвигания ее границ. Даже далекий от политики обыватель попадал в ее поле притяжения. Скажем, бега — совершенно невинная с точки зрения политической благонадежности забава, популярное развлечение, с революционной идеологией ничего общего не имеющее, к 1906—1907 годам оказались насквозь пропитаны политикой. Публика на ипподромах делала ставки на лошадей с именами «Бомба» и «Террор».

Таблица 1

Извлечения из «Списка Лошадей, Бежавших и Выигравших на всех Ипподромах России с 1-го Января 1901 г. по 1-е Апреля 1909 г.»¹⁷²

| Имя лошади | Год присвоения имени | Местонахождение ипподрома |
|-------------|----------------------|---------------------------|
| Баррикада | 1905 | Москва |
| Бомба | 1900 | Тула |
| Бомба | 1905 | Москва |
| Бомба | 1905 | Москва |
| Жертва | 1905 | Томск |
| Забастовщик | 1905 | Москва |
| Заговорщик | 1905 | Москва |
| Идея | 1905 | СПб |
| Партия | 1906 | Москва |
| Провокатор | 1906 | Москва |
| Радикал | 1905 | Троицк |
| Террор | 1907 | Москва |

¹⁶⁹ Цит. по: *Даниленко В. Д.* Вопросы литературы в большевистской критике 1905—1907 годов // Труды Ленинградского библиотечного института им. Н. К. Крупской, 1957. — Т. II. — С. 103. Например, серия книг лишь одного издательства «О судах, тюрьме, каторге и смертной казни» в 1906 году насчитывала более 22 различных наименований. Средняя цена этих книжек — не более 3—5 копеек — обеспечивала им широкую циркуляцию. См. Издания книгоиздательства «Посредник» о судах, тюрьме, каторге и смертной казни // Тимковский Н. Перед судом. — М.: Посредник, 1906 — С. 15 (обложка).

¹⁷⁰ Студенчество. — 1906. — № 1. — С. 12.

¹⁷¹ Там же. — № 4. — С. 18

¹⁷² Список Лошадей, Бежавших и Выигравших на Всех Ипподромах России с 1-го Января 1901 г. по 1-е Апреля 1909 г. — СПб.: Изд-во Императорского СПб. Общества поощрения рысистого коннозаводства, 1910.

Появление Бомб и Баррикад на ипподроме свидетельствовало о проникновении Подпольной России даже в те сферы жизни общества, где она ранее никак представлена не была. Что же говорить об уже давно освоенных ею территориях: «Самою характерною особенностью только что пережитых дней явилось, естественно, проникновение в свет огромного интереса произведений, до сих пор бывших подспудным сокровищем [...] Бок о бок с выходящими из темниц деятелями освобождения получают литературную амнистию “отреченные” книги. Раскрываются страшные тайны, какие до сих пор безмолвно таили молчаливые стены Шлиссельбургских и Петропавловских могил»¹⁷³. Героев Подпольной России «в качестве модных персонажей приглашали хоть молча посидеть, хоть продефилировать перед читателями даже те авторы, которым о революционерах было сказать совершенно нечего»¹⁷⁴.

Неожиданно заговорили новые для литературы Подпольной России персонажи — матери революционеров-террористов. Оказалось, у Героя есть мать — не отец, не жена, не дети, только мать. Матери героев благословляли их выбор и призывали общество к тому же. Голоса матерей звучали в унисон с литературными головами героических сыновей и дочерей, их взаимоотношения мифологизировались. У этих взаимоотношений не было истории, матери возникали в последней, экзистенциальной точке жизни детей-героев, — перед казнью или другим, менее суровым судебным приговором. Появление Матери — образа, воплощавшего преемственность, способность давать жизнь, — было попыткой интеграции в общество через традицию. Мать революционера, подобно Богоматери, благословляла жертву (смерть) своего ребенка: «То был суд — страшный суд. В местах для публики, среди пустого зала сидела одна мать». Когда вынесли смертный приговор сыну, она улыбнулась и бодро ему закивала (1905 г.)¹⁷⁵.

Другая беллетристическая мать двоих детей — дочери—прожигательницы жизни и сына-героя («Он был лишь на год старше сестры, но уже носил на челе мученический венец...») — произносит над его посмертным письмом следующую тираду:

Но был ли он в самом деле несчастным? Нет. Он во сто крат счастливее сестры, которая с беззаботным смехом на устах летит в пропасть (1907)¹⁷⁶.

¹⁷³ Измайлов А. Литературная хрестоматия // Хрестоматия. Приложение к журналу «Пробуждение» — 1906. — № 2. — Вып. 1 — С 1.

¹⁷⁴ Чернов В. Литературные впечатления // Современник — 1911 — Кн. V. — С 304.

¹⁷⁵ Беренштам В. Мать. Посвящается незабвенному И. П. К-еву // Образование — 1905. — № 10 — С. 305 Рассказ, посвященный И. Каляеву, снабжен примечанием автора: «В более подробном виде триада «Мать» вошла во 2-е изд моего сборника «За право!», задержанного цензурой. Здесь печатаются только отрывки» (С 301)

¹⁷⁶ Оржешко Э. Чья вина? / Перевод с польск. З Прибора // Современный мир. — 1907. — № 6 — С 228—242.



Критики могли называть произведения писателей «шаблонными», но при этом обязательно отмечали «трогающую» публику тему матери героя (например, «свидание с заключенным сыном»), если таковая присутствовала (1907 г.)¹⁷⁷.

[...]Мать, ты со мной?! И ты со мной —
 На смерть, на баррикады?!
 И ночь прошла... Раздался гром
 Последней канонады.
 И положили их вдвоем, —
 Вдвоем у баррикады...

(1905)¹⁷⁸

¹⁷⁷ П-ов Н. Рецензия: Екатерина Эк «На досуге» Т 1 М, 1907. Цена 1 р. // Перевал журнал свободной мысли. — 1907. — № 12. — С. 66.

¹⁷⁸ Галина Г. Мать и сын // 1905 год: Литературно-исторический сборник / Сост. П. Арский. — Л.: Гос изд-во, 1925. — С. 181

Неожиданная популярность материнской темы могла быть спровоцирована «Обращением к русским матерям» (21 марта 1906 года, «Молва») А. Я. Спиридоновой, матери Марии Спиридоновой¹⁷⁹. Собственно же литературно-мифологический образ матери героя-революционера предложила беллетристка с громким именем — С. А. Савинкова¹⁸⁰. Это ее сын, Борис Савинков, вместе с Евно Азефом (о провокаторстве которого в годы первой русской революции, конечно, ничего не знали) руководил БО партии социалистов-революционеров. «Сын мой! Любимый сын! Благословляю и век буду благословлять имя твое!..» — говорит мать перед казнью своему сыну в рассказе С. Савинковой¹⁸¹. Из этой фразы выросла вся последующая литература о матери героя. Материнская тема поистине была литературной специализацией Софьи Александровны: она не просто тиражировала миф, она писала изнутри мифа, за ней стоял авторитет сына. «Выдающимся человеческим документом» называли ее произведения¹⁸², а «читатели» из Петербургского охранного отделения, они же — филеры, присвоили Савинковой кличку, которая вполне могла стать ее литературным псевдонимом: «Траурная»¹⁸³. Беллетризованные воспоминания матери знаменитого террориста, «Годы скорби», появившиеся в 1906 году, тут же перевели на немецкий, французский и английский языки¹⁸⁴. Тогда же С. А. Савинкова обратилась к начальнику тюремного управления А. М. Максимовскому с просьбой разрешить ей, в память о ее погибшем в ссылке сыне (о другом сыне — террористе — речь не шла), помогать узникам Шлиссельбургской тюрьмы. Вначале просительницу даже не приняли для разговора, но она вновь направила письмо Максимовскому, на сей раз приложив к нему «Годы скорби». Воздействие мемуаров матери Героя на начальника тюремного управления было поразительным: он не только принял Савинкову, но и удовлетворил ее просьбу¹⁸⁵. Чуть позже непримиримый враг режима, которому служил Максимовский, коллега Бориса Савинкова по эсеровской БО, Егор Сазонов,

¹⁷⁹ Полный текст и комментарии к нему см.: А. Я. Спиридонова. Обращение к русским матерям // Лавров В. М. Мария Спиридонова: террористка и жертва террора. Повествование в документах. — М.: Изд-во «Археографический центр», 1996. — С. 18.

¹⁸⁰ Савинкова С. А. Годы скорби (Воспоминания матери). — СПб.: Изд-во ред. журн. «Русское богатство», 1906. (Воспоминания вышли десятиязычным тиражом); Савинкова С. А. Последнее свидание // Русское богатство. — 1907. — № 2. — С. 1—9; Савинкова С. А. На волос от казни (воспоминания матери) // Былое. — 1907. — № 1 (13). — С. 247—271; Савинкова С. А. Очередь: этюд // Вестник Европы. — 1910. — Кн. 1. — С. 59—69.

¹⁸¹ Савинкова С. А. Последнее свидание. С. 5

¹⁸² Сватиков С. Рецензия. С. А. Савинкова. На волос от казни (Воспоминания матери) // Книга. — 1907. — № 22. — С. 6.

¹⁸³ ГАРФ. Ф. 111. Оп. 1. Д. 3084. Л. 1—28.

¹⁸⁴ Книжная хроника // Книжный вестник. — 1906. — № 42. — С. 1003.

¹⁸⁵ Савинкова С. А. Старое // Голос минувшего — 1915. — № 11. — С. 112—143

в письме с каторги просил свою родственницу прочесть матери «очерки Савинковой». «Годы скорби» и «На волосок от казни». Наряду с «Матерью» М. Горького, «Матерью» В. Беренштама (о матери И. Каляева) и другими произведениями на ту же тему, они должны были продемонстрировать матери осужденного Сазонова, что она — не одна в своем горе, что существует образец поведения, достойный матери революционера¹⁸⁶.

Появление и столь быстрое распространение этого нового персонажа мифологии Подпольной России — Матери Героя — несколько не нарушило гармонию мифа. Еще более усложнились связанные с мифом коннотации, что свидетельствовало о высокой степени зрелости, достигнутой мифологической Подпольной Россией. Она выходила в общество, пускала корни, искала оправдания в традиции — спрашивала «материнского благословения». И, как и раньше, все это происходило в пределах литературы/жизни.

Таким образом, литература Подпольной России, выйдя из подполья и максимально расширив читательскую аудиторию, продолжала выполнять свою миссию по созданию и поддержанию радикальной мифологии. Авторы из всех сил старались угнаться за стремительными событиями революции, без конца напоминая себе и читателям, что «русская литература, всегда чутко откликавшаяся на современные события, является в настоящий момент яркой выразительницей того, как усиленно бьется пульс общественной жизни. Уже накопившийся литературный материал может быть систематизирован, и мы создали себе новый план выполнения нашей задачи...»¹⁸⁷ Однако уже к концу 1906 года стало ясно, что «план» осуществить не удастся: выйдя из подполья, мир радикалов больше не мог прятаться за литературным мифом.

По удачному выражению Джеффри Брукса, революция изменила формат политической активности¹⁸⁸. Герои вышли на улицу, и их увидели в лицо. Более того, массовое движение поглотило героев-одиночек. Литературные герои, воплощенные в плоть и кровь, оказались далеки от идеала, а захлестнувший общество террор явно не соответствовал мифологии высокой жертвы. Анна Гейфман отметила, что в 1905 году в прессе перестали печатать подробные отчеты о террористических актах. Вместо этого в газетах учредили постоянные разделы, специально посвященные учету актов революционного и правительственного насилия. Речь

¹⁸⁶ Жене брата. 27 ноября 1909 г. Егор Сазонов. Воспоминания, письма, материалы для биографии // Голос минувшего. — 1908. — № 10/12. — С. 86—87.

¹⁸⁷ От составителя // В борьбе. — 1906. — Вып. 1 — С. 1

¹⁸⁸ Jeffrey Brooks, «*Vekhi* and the *Vekhi* Dispute» in *Survey. A Journal of East & West studies*, 1973, v 19, # 1 (86), p 36

уже шла не об отдельных эксцессах, а о настоящей «эпидемии боевой активности»¹⁸⁹.

Термины «красный» и «белый» террор соседствовали в газетах, что, безусловно, разрушало мифологию подполья: «Нас глубоко возмущает убийство полицейских и жандармских чинов, неизвестно кем и за что приговариваемых к смерти; но мы не можем примириться и с казнями, совершаемыми без следствия и суда, по распоряжению того или другого военного или гражданского начальства»¹⁹⁰. Так писали корреспонденты журнальных разделов хроники, а в литературе в это же время продолжал господствовать герой Подпольной России, как и ранее, претендующий на роль общественного идеала. Однако теперь многочисленные поклонники мифологического Героя, и прежде всего из числа интеллигенции, увидели реальное лицо *его* мира. Если «раньше общество только украдкой, сквозь отдушины “запрещенных” изданий и книжек могло знакомиться со многими, волнующими ум и сердце вопросами»¹⁹¹, то теперь сама действительность заняла место литературы. Сфера политики расширилась невероятно, втягивая в свою орбиту не только взрослых, но и детей. В письме к товарищу (1905 г.) некий «Вас. Тр.» сообщал: гимназисты, реалисты и гимназистки города Тулы устроили две организации: социал-демократическую и социал-революционную. При обысках у этих гимназистов и реалистов полиция находила «брошюры антиправительственного характера», среди которых выделялись беллетристические и поэтические сборники¹⁹².

«Не забастовавшая еще девочка отвечает стихи, выученные дома...» — эта вступительная фраза к небольшому рассказу 1906 года (который, кстати, заканчивается не менее остроумной репликой учителя: «Вы все поняли прекрасно и можете забастовать, когда найдете удобным»)¹⁹³ или сюжет замечательной юморески Тэффи «Переоценка ценностей»¹⁹⁴ рисуют политизацию школы красочнее, чем любые другие документы эпохи. Но «другие» документы позволяют нам увидеть характер политизации: школу затронула не просто массовая политическая мобилизация, что было бы есте-

¹⁸⁹ Geifman A. — P. 22.

¹⁹⁰ Хроника: внутреннее обозрение // Вестник Европы. — 1906. — Т. 1. — Кн. 2. — С. 776. См. также: Т. 3. — Кн. 6. — С. 782; *Клейнборг А.* Белый террор и партизанские выступления // Образование. — 1907. — № 1. — С. 161—184; *Мякотин В.* Наброски современности // Русское богатство. — 1907. — № 12. — С. 91—98 и проч.

¹⁹¹ *Жданов Л.* От редакции // Былое—Грядущее. — 1907. — Кн. 1. — С. 1.

¹⁹² ГАРФ. Ф. 102. Оп. 233. Д. 3 ч. 16. Л. 38.

¹⁹³ *Вель.* Урок // В борьбе. — 1906. — Вып. 1. — С. 20.

¹⁹⁴ *Тэффи.* Переоценка ценностей // Тэффи. Ностальгия. Рассказы, воспоминания. — Л.: Худож. лит., 1989 — С. 24—27.

ственно. Важно, что в ситуации массовой мобилизации гимназисты и студенты воспроизводили образцы поведения и героики, известные по литературной мифологии Подпольной России.

После письменных испытаний 1905 года директор Екатеринославской гимназии получил анонимное письмо следующего содержания:

Милостивый Государь.

Окончились письменные испытания. Многие потеряли надежду получить медаль, многие аттестаты. Виновниками этого являетесь вы, педагоги, а потому и получите должное возмездие. Вы будете убиты, а Войцеховскому будет побита физиономия¹⁹⁵.

Перепуганный педсовет допустил к устным экзаменам всех гимназистов, включая неудовлетворительно написавших письменные работы. После получения аттестатов выпускники не стали убивать директора, удовлетворившись битьем стекол на его квартире и в канцелярии гимназии¹⁹⁶.

Известны примеры, когда юные «террористы» действительно стреляли в директоров гимназий, как в случае с неким гимназистом Танасовым, два раза выстрелившим в директора Святского, а потом пытавшимся застрелиться. Оба остались живы, а в кармане у мальчика нашли записку: «покушался с целью избавить товарищей от такого директора»¹⁹⁷. Убивая вредного, с его точки зрения, чиновника, гимназист действовал в интересах товарищей, принося при этом в жертву собственную жизнь. Урок Подпольной России он выучил на отлично¹⁹⁸.

Одна из эсеровских боевых групп Белостока состояла целиком из подростков школьного возраста. Похожая группа — боевая организация классической гимназии — сформировалась и в Туле¹⁹⁹. Посвоему они тоже пытались воспроизводить образцы героического поведения. Не менее «грамотно» действовали в 1906 году петербургские студенты-технологи, то ли в шутку, то ли всерьез вывесившие в институте такое объявление:

Ввиду предстоящих крупных экспроприаций боевая дружина студентов-технологов предлагает принять участие в этих экспроприа-

¹⁹⁵ НА РГ. Ф. 977. Совет. Д. 11153. Л. 74.

¹⁹⁶ Там же.

¹⁹⁷ На помощь молодежи / Сост. Т. Л. Кривоносов. — Киев: Изд-во «О-ва взаимопомощи студентов Киевского политехнического института Императора Александра», 1910. — С. 263.

¹⁹⁸ В этом контексте стоит привести случай из практики П. С. Ванновского, с 28 марта 1901 г. по 11 апреля 1902 г. занимавшего должность министра народного просвещения. Как-то на прием к нему явилась девушка, добивавшаяся зачисления в женский медицинский институт. Ванновский отказал, поскольку просительница не сдала один экзамен. Взволнованная отказом, девушка воскликнула: «После этого неудивительно, что министра Боголепова убили...» (*Мещанинов И. В.* Из воспоминаний о П. С. Ванновском // Исторический вестник — 1911. — № 5. — С. 496).

¹⁹⁹ Geifman A., p. 173, 177.

циях на следующих условиях: 5 % в пользу исполнивших поручение, 50 % на революционные цели. Письма с предложениями просьба оставлять у швейцара на имя И. Л. Б. Просят обращаться только сознательных студентов²⁰⁰.

Интересно, что студенческий журнал перепечатал это объявление в разделе хроники без комментариев: вроде бы понятно, что студенты пошутили, но в то же время предложение технологов в контексте времени выглядело довольно правдоподобно.

Неверно было бы утверждать, что только Подпольная Россия формировала нормативные представления гимназистов о добре и зле, о методах политической борьбы и критериях «сознательного» социального поведения. Гимназия, как и все общество, отражала существование раскола между двумя Россиями, давая примеры следования крайностям как радикализма революционного, так и правительственного. В частности, Охранные отделения имели в гимназиях своих информаторов, которых потом внедряли в студенческие и революционные организации. Только в 1913 году товарищ министра внутренних дел В. Ф. Джунковский специальным циркуляром запретил использовать гимназистов в целях политического сыска, так как они не в состоянии «отнестись сознательно и серьезно к обязанностям секретного агента»²⁰¹. Но даже эти информаторы обнаруживали отличное знание Подпольной России — иначе как бы они внушали доверие товарищам? Гимназист 1-го класса 5-й московской гимназии как-то, придя в гимназию, рассказал, что его родители арестованы по политическому обвинению. «Мальчик вообще проявлял громадное знание нелегальной литературы...» Начитанный гимназист оказался агентом охранки. «По требованию студентов, сообщивших обо всем этом директору, способный мальчик исключен, но кто знает, не возобновит ли он своей деятельности в другой гимназии?» — беспокоились журналисты нелегального «Освобождения», статьи из которого мальчик «цитировал наизусть» одноклассникам²⁰². Подобное воспроизведение общественного раскола в средних учебных заведениях из единичных примеров в годы первой русской революции превратилось в массовое явление. Школьное движение, вылившееся в акции протеста, забастовки, сочинение листовок и писем начальству, выглядело вполне убедительно — вариант «маленькой» Подпольной Рос-

²⁰⁰ Хроника // Студенчество. — 1906 — № 2. — С. 17.

²⁰¹ Агафонов В. К. Заграничная охранка. С приложением очерка «Евно Азеф» и списка секретных сотрудников заграничной агентуры. — Пг.: Изд-во «Книга», 1918 — С. 211. В своем исследовании Агафонов приводит данные о гимназистах-агентах охранных отделений, называет имена, ссылаясь на документы архива заграничной охранки в Париже.

²⁰² Шпионство в гимназии // Освобождение. — 1904. — № 50. — С. 16.

сии²⁰³. Тем не менее уже современниками событий было отмечено, что это движение «носило, несомненно, по крайней мере на три четверти, резко подражательный характер [...] тирады эти, доносясь из детских уст, на всякого свежего человека не могут не производить болезненного впечатления. Ясно, что о таких вещах дети могут говорить лишь с чужого голоса»²⁰⁴.

Вот такое невероятное снижение претерпела Подпольная Россия и ее герой после краткого звездного часа в 1905 году. Выйдя за пределы литературно-мифологического пространства, распространившись во все сферы жизни, левый радикализм проявлял себя на улице, в студенческой аудитории, в школе. Ребенок, стреляющий в директора гимназии, выглядел пародией на Героя Подпольной России. Этот Герой потерял монополию на террор, и, став общим достоянием, террор окрасился настоящей кровью, превратился в «красный» и «белый», лишился безусловной моральной санкции общества. Гармония бесконфликтного литературного подполья уступала место хаосу. Ощущение разлитого в воздухе насилия, господства анархии, в которую выродилась Подпольная Россия, получило выражение в текстах периода заката революции. «Собственно путь насилий, репрессий пройден почти до конца, осталось сделать несколько роковых шагов, дальше уже бездна, всеобщая анархия, разрушение всего, что создано предыдущей историей» (апрель 1907 г.)²⁰⁵.

На излете резолюции в печати появилась утопия «Анархисты будущего», события которой происходят в Москве 1927 года — в Москве эпохи «анархической революции»²⁰⁶. Анархисты, проповедующие массовый террор, сменяют демократов и социалистов всех мастей. Они — их порождение, они утопили Москву в крови, развязали гражданскую войну с деревней и в итоге проиграли по причине раскола в собственных рядах²⁰⁷. Утопия открывается сценой

²⁰³ Это движение вскоре после революции было описано серьезными исследователями без скидок на возраст: *Знаменский С.* Средняя школа за последние годы. Ученические волнения 1905—1906 г. и их значение. Общий очерк и материалы. — СПб.: Изд-во Б. М. Вульфа, 1909; *Пиленко А.* Забастовки в средних учебных заведениях С.-Петербурга. — СПб.: Изд-во клуба общественных деятелей, 1906.

²⁰⁴ *Сперанский Н. В.* Современная общественная жизнь // Критическое обозрение. — 1909. — Вып. 1. — С. 83.

²⁰⁵ Литературно-художественный кружок имени Я. П. Полонского за 1905—1906 и 1906—1907 гг. Отчет совета. — СПб.: Изд-во П. П. Сойкина, 1908. — С. 206.

²⁰⁶ *Морской И.* Анархисты будущего (Москва через 20 лет). — М.: Изд-во Вл. Чичерина, 1907.

²⁰⁷ Утопическая Москва 1927 года, по замыслу автора, должна была прояснить ситуацию в Москве 1907 года, и потому «анархисты» будущего трактовались не только как новая политическая сила, пришедшая на смену прежним массовым социалистическим партиям, но и как террористы времен первой революции. В печати тех лет террористы, в том числе и эсеровские, часто проходили под общей маркой анархистов. Даже сообщение об аресте членов БО партии социалистов-революционеров освещалось как арест «группы боевой организации партии революционеров-анархистов» (*Богучарский В.* Хроника русской жизни // Образование. — 1905. — № 4. — С. 44).

в театре, где идет премьера новой пьесы Леонида Андреева «Конец Мира» — предвестницы конца России демократического периода, да и конца России как таковой (она захлебнется в крови). Так в годы первой русской революции воспринимали новую пьесу Леонида Андреева «Жизнь Человека»: пьеса, безусловно, имела общественное значение. Успех, который она встретила в широкой публике, по мнению Д. В. Философова, доказывал, «что коренной пессимизм, овладевший душой Андреева, уже проник и в массы». Пьеса уничтожала веру в социализм, лишала борьбу, революцию смысла: «Стоит ли бороться, стоит ли жертвовать своей жизнью, идти на каторгу, на виселицу — когда жизнь человека — сплошное издевательство *Серого некто*, когда здесь, на земле, — все обман и суета?»²⁰⁸

В утопии «Анархисты будущего» Леонид Андреев прямо назван предвозвестником эпохи анархии, хаоса, гибели идеалов и надежд. Характерна и последовательность событий: сначала вся Москва, от депутатов Думы до анархистов, собирается в театре на премьере «Конец Мира», а потом трагедия разыгрывается в реальности. Литература больше не предлагала радикальной интеллигенции позитивный идеал Героя — она предсказывала конец героического периода.

²⁰⁸ Философов Д. В. Разложение материализма // Слова и жизнь: литературные споры новейшего времени (1901—1908 гг.). — СПб.: Изд-во Акционерного общества типографского дела, 1909. — С. 93. Цитируемая статья написана в 1907 году.

НИЗВЕРЖЕНИЕ В ХАОС

Общие последствия метаморфоз безусловны и хорошо известны: дезориентация и недоумение, ощущение хаоса и противоречия, и попытка восстановить некое подобие порядка и осмысленной перспективы. ...При благоприятных обстоятельствах эта ситуация может привести к попытке установить систематические критерии того, что следует и что не следует принимать в восстанавливаемый порядок, в обновленный образ самого себя.

*Ernest Gellner, The Concept of Transition*²⁰⁹

С точки зрения утраченной гармонии уклада «старого режима», а также с позиции грядущей стабилизации переходное послереволюционное общество было больным обществом. «Мы переживаем в известном смысле психическую эпидемию», — писал в 1906 году доктор медицины С. Ярошевский²¹⁰. Даже эмпирически кажется очевидным, что в переходные периоды в любом обществе возрастает процент душевнобольных или считающихся таковыми людей. Во всяком случае, фигура ненормального оказывается семиотически отмеченной, притягивает к себе повышенное внимание, становится навязчиво заметной.

«Большая и разрушающаяся человеческая личность служит любимой темой современного литературного творчества. Это мы видим не только в грозном шествии сексуализма, но и в том стихийном тяготении к изображению душевно-больных героев, которыми обильно усеяно поле творчества современных писателей», — раздраженно писал психиатр, приват-доцент Московского университета в 1908 году²¹¹. Четырьмя годами позднее известный российский психиатр академик В. Бехтерев жаловался, что психиатричес-

²⁰⁹ Ernest Gellner, *Thought and Change* (Chicago: The University of Chicago Press, 1965), p. 50.

²¹⁰ Ярошевский С. Материалы к вопросу о массовых нервно-психиатрических заболеваниях // Обзорение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. — 1906. — № 1. — С. 1. Послереволюционные неврозы в последнее время привлекают внимание историков: Julie V. Brown, «Revolution and Psychosis: The Mixing of Science and Politics in Russian Psychiatric Medicine, 1905—1913» in *Russian Review*, 1987, v. 46, # 3, pp. 283—303; Laura Engelstein, *The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia* (Ithaca and London, Cornell University Press, 1994), Part II, p. 215—420.

²¹¹ Рыбаков Ф. Е. Современные писатели и больные нервы. Психиатрический этюд. — М.: Изд-во В. Рихтер, 1908. — С. 24.

кие клиники в стране переполнены как никогда ранее. Корни этого патологического явления Бехтерев искал в русской революции 1905—1907 годов и в переживании обществом ее последствий²¹². В том же 1912 году Московская городская управа специально рассмотрела вопрос о расширении психиатрической помощи населению. Предполагалось открытие третьей психиатрической больницы и развертывание временных больничных отделений²¹³. Но это был, так сказать, медицинский аспект проблемы, в рамках которого с трудом удерживались даже врачи-профессионалы. Разбирая причины «современной нервозности», они нередко оперировали такими далекими от медицины понятиями, как «подполье», «конспиративные формы», «забастовки, вооруженные экспроприации, террористические акты» и т.д.²¹⁴. Для комментаторов из немедицинской среды проблема «революционной» психической патологии вписывалась в еще более широкий общественный контекст: «Едва ли когда-нибудь русское общество и, в особенности, та часть его, которая именуется интеллигенцией, — переживали такой смутный и такой тягостный для них исторический момент, как в настоящее время. Наше общественное настроение проникнуто теперь таким глубоким упадком духа... каких тщетно было бы искать во всем нашем «идейном» прошлом. Это настроение граничит прямо с отчаянием...»²¹⁵

В среде радикальной интеллигенции царил хаос, связанный с разрушением по-своему комфортного мира Подпольной России — семиосферы, в границах которой ответы на все вопросы были заранее известны. Такая гармония обеспечивалась ядерными структурами, вырабатывавшими и воплощавшими собой норму семиосферы. Нормативное послание находило наиболее адекватное выражение в радикальной мифологии, на уровне которой не существовало идеологических разногласий — своеобразный «ДНК-код» сложной системы.

Подобно любой мифологии, мифология Подпольной России не была способна к частичной модификации и саморазвитию. Она представляла собой законченную модель мироздания, где каждый элемент поддерживал следующий и зависел от предыдущего. Парадоксы и сомнения не допускались в этом мире, ибо они угрожали его тотальности. Революция 1905—1907 годов, уничтожив заслонки между двумя Россиями, предопределила конец монологизма подпо-

²¹² Бехтерева В. М. О причинах самоубийства и возможной борьбе с ними // Вестник знания. — 1912. — № 3. — С. 258.

²¹³ Хроника // Русские ведомости. — 1912 — № 62. — С. 5.

²¹⁴ Д-ий М. Причины современной нервозности и самоубийств (доклад профессора П. Я. Розенбаха) // Речь. — 1909. — № 112. — С. 6.

²¹⁵ Гредескул Н. Общество. Реакция. Народ // Зарницы. — 1909. — № 1 — С. 1—35.



ля. Ядро семиосферы продолжало генерировать все то же нормативное послание через литературу и другие тексты, но на периферии оно больше не находило адекватного отклика. Назывался прежний «пароль», а в ответ — неузнавание, замешательство, молчание. Система работала со сбоями, а ведь это было очень опасным симптомом — симптомом распада былого единства семиосферы.

Прежде чем обратиться к анализу этого процесса, необходимо пояснить, что мы не изучаем медицинский аспект революционных неврозов и психозов, сами по себе они нам не интересны. В контексте исследования мифологии Подпольной России первостепенное значение имеют «поэтика» самого заболевания (содержание бреда, лексика больных и т. д.) и интерпретация фигуры душевнобольного сторонними наблюдателями, заполнение ее символическим значением. В этой связи невозможно обойти упоминанием М. Фуко, первым поставившего проблему душевных заболеваний именно в дискурсивном разрезе²¹⁶. Однако, кроме общего подхода к проблеме, методология Фуко вряд ли способна помочь прояснить связь между кризисом революционной мифологии и стремительным появлением на ее обломках душевно больного персонажа. Фуко исследовал дисциплинарные практики государства и обще-

²¹⁶ Michel Foucault, *Madness and Civilisation: A History of Insanity in the Age of Reason* (London. Routledge, 1993 <1961>).

ства по вытеснению и контролю маргинальных явлений и лк в то время как нас интересуют процессы, протекавшие в сфере культуры: литературе, идеологии, массовых представлениях. Кроме того, в нашем случае мы сталкиваемся не с вытеснением маргинального, но со стремительным «втягиванием» фигуры ненормального в сферу культуры. Безусловно, этот символический акт имел огромное значение, но не с точки зрения дисциплинарных практик государства, а в контексте разрушения мифологического противостояния двух миров, двух норм, двух России.

Итак, революция 1905—1907 годов явилась моментом столкновения двух миров — легальной России и ее подпольного зазеркалья. Они встретились как «плюс» и «минус» с закономерным результатом — взаимная аннигиляция, исчезновение самого феномена *нормы* как такового. Свидетельства об этой катастрофе можно обнаружить в частных письмах и дневниковых записях эпохи, но наиболее полное отражение она получила в массовой беллетристике. Может показаться парадоксальным, что беллетристика этого времени является столь же ценным свидетельством исчезновения нормы, как и отчеты психиатров. Но для современников описываемых событий никакого парадокса тут не было. Интеллигентская традиция требовала от литературы «правдивого отражения» реальности. И что поделать, если реальность потеряла признаки нормальности?

Читатели 1906 года понимали, почему, скажем, Л. Зиновьева-Аннибал в рассказе «Помогите Вы» (1906) в качестве главного героя избрала психически больного человека, а в качестве единственной «реальности» описала содержание его бреда²¹⁷. Вначале ему кажется, что он террорист, бросающий бомбу. Потом оказывается, что от взрыва погибли не только «враги», но и невинные люди. Затем он подавляет народный бунт, теперь уже на стороне правительства. Обе роли воспринимаются как равнозначные, и в воспаленном мозгу героя они не дифференцированы в соответствии с нормативным каноном на «хорошую» и «плохую».

Совершенно тот же прием использовал Иван Вольнов в рассказе «Как это было» (рассказ написан приблизительно в 1909 году)²¹⁸. Его герой — молодой социал-демократ — перенес в тюрьме глубокий психологический шок и теперь периодически теряет рассудок. В нем живут два человека: «нормальный» все еще принадлежит миру Подпольной России, в то время как «ненормальный» больше не верит в старые идеалы и бредит прямо-таки языком авторов сборника «Вехи».

²¹⁷ Зиновьева-Аннибал Л. Помогите Вы // Факелы: Литературный альманах. — СПб., 1906. — № 1. — С. 187—194.

²¹⁸ Вольнов И. Как это было // Современник. — 1912. — № 7. — С. 136—161.

Поэты тоже писали от лица амбивалентных лирических героев:

Порою я душа народа,
 Борец за счастье, идеал;
 Девиз мой — «братство и свобода»,
 Мой лозунг — «пан или пропал».
 Порой как заяц я трусливый,
 Как крот слепой, брожу впотьмах
 И счастья с тщетностью тоскливой
 Ищу в житейских суетах...²¹⁹

Подобные герои являлись не только альтернативой прежнему нормативному цельному Герою и не только удачным художественным осмыслением послереволюционной ситуации с ее идейным разбродом и шатаниями. Людей с шизофренически раздвоенным сознанием, потерявших ориентиры в жизни, становилось все больше. К сожалению, происходило это не только в мире художественного вымысла, но и в реальности. В интервью журналу «Мир» Леонид Андреев рассказал историю одного своего посетителя. В пересказе корреспондента журнала это выглядело так: «...молодой интеллигент, мозг его не выдержал жестокостей безвременья, и ему все кажется, что они его преследуют, внушают разные идеи, то крайне революционные, то, наоборот, крайне реакционные, что вот-вот они его арестуют, и он приехал за советом и помощью к Андрееву»²²⁰.

Чем могли писатели помочь в этой ситуации, кроме медицински точного описания заболевания (Леонида Андреева, например, так и называли: «чуткий и тонкий психиатр русского общества». — Выделено мною. — М. М.)²²¹ и еще определения диагноза: разочарование в прежних идеалах; дезориентация в пространстве, ранее четко ограниченном двумя полюсами — Россией Легальной и Россией Подпольной; потерянности во времени («Будущее перестало стоять на своем месте», как выразился один из пяти молодых самоубийц в рассказе А. Грина «Рай», 1909)²²².

Со временем вообще стали происходить странные вещи: прошлое хотелось переделать, перенести его в настоящее и подвергнуть суду с новых позиций. В литературе это породило сюжеты, связанные с «оживлением» погибших представителей подполья и легальной России и с перенесением их в послереволюционную сре-

²¹⁹ *Абрамов С.* Контрасты // Студенческий сборник. — Вышний Волочек: Изд-во Н. Г. Цыварева, 1909. — С. 75.

²²⁰ У Л. Н. Андреева // Мир. — 1909. — № 11/12. — С. 2—5.

²²¹ *Герасимов Л.* Литературные отклики: «Савва и Саввы» // У горна. Сборник № 1 Издание группы студентов. — СПб.: Изд-во «Энергия», б. г. По некоторым косвенным данным можно предположить, что год издания — 1908—1909.

²²² *Грин А.* Рай // Новый журнал для всех. — 1909. — № 3. — С. 28.

ду²²³. Скажем, Леонид Семенов описал свидание юной террористки, повешенной за свое преступление, и старого генерала, убитого ею. Они впервые смотрят друг на друга без ненависти: она видит благообразного старика, а он девочку, годящуюся ему во внучки. Они разочарованы в своих «прошлых» жизнях и остро ощущают бесполезность содеянного²²⁴. Вся эта история с оживлениями разворачивается на фоне странного нарратива, создающего ощущение бессмысленного потока времени, бессмысленного существования, где нет начала и конца, нет ничего стабильного, ничего святого:

Люди бежали, метались, кричали, обгоняли друг друга, топтали. Все накидывались на игру. Игра была огромная. Игра называлась общественной жизнью. Ставились на ставку жизни, целые состояния, люди. Одни, проигравшие, шли на виселицу, под расстрел, под бомбы, другие стрелялись, топились, третьи величаво сидели, собирая огромные куши и посылая играть за себя других. Самые новые и самые старые, самые последние и самые высокие лозунги были их картами. И все самое молодое, самое дорогое и самое свежее, что только рождалось на земле, сейчас же превращалось здесь в козыри и шло в игру. Тут вместо бубновых и червонных королей я слышал слова о родине, о любви, о государстве, о благе всего народа, о всем человечестве, о Христе и о Боге. Никто уже не знал, откуда эти слова, что они значат, зачем они? Но все знали, что это козыри, что ими можно бить карты и брать взятки. И главное, не в выигрыше вовсе было дело, а всем была нужна сама игра, сам азарт, как и во всякой игре²²⁵.

²²³ «Оживляли» революционеров и ранее: в традиции литературы Подпольной России они как бы не умирали, оставались среди живых бойцов за революцию, обеспечивая непрерывную преемственность поколений. Носители радикального сознания даже после революции 1905—1907 годов продолжали воспроизводить этот комплекс отношения к ушедшим товарищам: «Нас не так легко искоренить... На наших глазах мертвые вышли из гроба и стали живыми в Откровении Грозы» (Общественные науки и современность. — 1994. — № 6. — С. 56—66).

²²⁴ Семенов Л. У порога неизбежности // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». — 1909. — Кн. 8. — С. 9—35. Жизненная история этого писателя может стать темой отдельного исследования. Леонид Семенов начинал вместе с А. Блоком и А. Белым в журнале «Новый путь». В 1905 году он выпустил сборник стихов (СПб: Изд-во «Содружество», 1905), тепло встреченный критикой. От творчества Л. Семенова ждали многого. Но с началом революции он ушел из литературы. Порой в газетах появлялись о нем краткие заметки: «В такой-то тюрьме сидит студент Леонид Семенов. Здоровье его плохо». (Философов Д. Литературная летопись // Московский еженедельник. — 1909. — № 10. — С. 41). Но в целом, до 1908 года, когда в одном из летних номеров «Вестника Европы» Л. Семенов поместил рассказ «Смертная казнь», о нем слышно не было. В *безвременье* о Семенове опять заговорили: он действительно сидел в тюрьме за революционную деятельность, болел, работал где-то в каменноугольных коях, а потом «отправился куда-то на Волгу и ходит там теперь по деревням, в армяке с Александром Добролюбовым». (Философов Д. Литературная летопись, С. 42.) Упоминание Александра Добролюбова и хождение в армяке относилось к сектантскому периоду жизни Семенова.

«У порога неизбежности» критики восприняли как не-искусство, как что-то, не соответствующее ни одному канону. «Искусство [...] он презирает», — сказал один критик («Гофман В. Критика и библиография // Современный мир. — 1909. — № 6. — С. 153»). «Подвиг убил искусство», — заявил другой (Философов Д. Литературная летопись, С. 43). Подробнее о Л. Семенове см.: Эткинд А. Хлыст. — С. 282—287.

²²⁵ Там же. — С. 17—18. Нужно сказать, что этот «странный» рассказ вызывал такие же «странные» отклики у читателей. «...недоставало нам только, чтобы шут гороховый уселся верхом

Прошлое было лишь бессмысленной и даже беспринципной игрой. Будущее перестало стоять на своем месте, и стало непонятно, зачем жить. Все жертвы оказались напрасны, воскресшие террористы наверняка бы осудили свое прошлое. Да, собственно говоря, и оживлять их уже не было необходимости, многое стало и так понятно. В рассказе В. Козлова «Лицо Смерти» (1910) никто не оживает, хотя трупов и крови в этом двадцатисемистраничном рассказе столько, что хватило бы на роман. Вначале экспроприаторы бросают бомбу и убивают пять человек (а генерал, на которого покушались, остается жив). Убегая, экспроприаторы убивают и ранят еще несколько человек, бросившихся за ними. В ответ толпа жестоко расправляется с одним из террористов. Подоспевшие полицейские избивают, а затем убивают второго экспроприатора. Террористы-подпольщики без суда вешают подозреваемого в предательстве товарища. В конце концов все трупы привозят в анатомический театр: убийцы и их жертвы лежат рядом, смерть уравнила всех. Нет правых, и нет виноватых, нет «идейных» и жертвенных²²⁶.

Вскоре после революционных потрясений стало очевидно, что Подпольная Россия теряет хронотоп — характеристику места и времени. Мифологическое время сжалось в точку, оставшуюся где-то позади. Мифологическое пространство съезжилось вокруг этой точки. Миф потерял возможность актуализироваться, циклическое время развернулось в линейное, четко обозначив пределы прошлого. Миф сакрализовался, мертвел, становился историей. В первом номере «Речи» за 1909 год К. Чуковский подводил невеселые литературные итоги прошедшего 1908 года: «Будущее словно вдруг провалилось сквозь землю; настоящее тоже, и литература в этом году жила исключительно прошедшим»²²⁷. Через три года первый январский номер другой популярной газеты, «Русских ведомостей», предоставил свои страницы писателю и публицисту Тану для разговора о «бывших людях». Герои рассказа Тана очень молоды, но их жизнь осталась в прошлом: «бывший гимназист, бывший экспроприатор, бывший арестант». Это все сказано о двадцатилетнем юноше. Другой герой рассказа — не просто «бывший», а «воскресший из мертвых». Тан повествовал о «сословии» бывших людей, чье историческое время кончилось. Он использовал хорошо знакомую по мифологии Подпольной России метафору «порога»:

на виселицу и, болтая ногами, запел под балалайку: Трень-брень, как мне грустно!» Образ чертика, болтающего ногами, навеял автору рецензии именно пассаж Л. Семенова об Игре (В. Ш. Библиография: Ненужный сборник // Бодрое слово. — 1909. — № 3—4. — С. 151).

²²⁶ Козлов В. Лицо Смерти // Альманах Смерть. — СПб.: Изд-во Нового журнала для всех, 1910. — С. 99—126.

²²⁷ Чуковский К. Русская литература // Речь. — 1909. — № 1. — С. 6.

«Дверь открывается тихо, они выходят один за другим и уходят в толпу». Только теперь дверь открывалась из подполья наружу, за дверью оставалась жизнь десятков «бывших людей», их время, их история. Герои вливались в толпу²²⁸.

В 1908 году «бывший человек» — социал-демократка из Казани рассказала в письме к знакомому, как, ожидая обыска, сожгла старые письма. Особенно тяжело переживалась потеря писем от 1905 года, пропитанных былой «силой, энергией, энтузиазмом». Вместе с письмами стореда и ее жизнь, остался «кошмар какой-то позади и полная неизвестность впереди»²²⁹. Много нужно было пережить, чтобы назвать свой мир миром «бывших людей». Очевидно, что и чтение литературы о «бывших людях» требовало от интеллигентного российского читателя огромной затраты душевных сил. Этот читатель, находясь в пределах семиосферы Подпольной России, всегда мог отождествить себя с положительным, нормативным идеалом. В свою очередь прототипы литературных идеальных героев сами заботились о том, чтобы писателям не приходилось кривить душой, создавая свои произведения. Когда товарищи террориста Ивана Каляева узнали о его увлечении декадентской поэзией, они усомнились в его нормальности — в буквальном смысле этого слова. Каляев тогда добровольно отправился к психиатру для проверки своего психического и умственного здоровья. Он — герой Подпольной России — не мог позволить себе быть странным, «ненормальным»²³⁰. Ориентируясь на такого героя, читатель не мучился проблемой выбора: даже формально будучи вне Подпольной России, вращаясь где-то на ее периферии, он морально принадлежал ей.

Остро проблему выбора именно для этой категории российских граждан поставила Революция 1905—1907 годов, когда каждый должен был решать: принять ли участие в забастовке, в вооруженном восстании, вступить ли в партию и т. п. В перлюстрированных полицией письмах революционной поры сохранились свидетельства этой коллизии:

²²⁸ Тан. Вольноотпущенные // Русские ведомости. — 1912. — № 1. — С. 6.

²²⁹ Выписка из полученного агентурным путем письма А. Афанасьевой, Казань, от 2 июня 1908 г., к Вячеславу Михайловичу Боголюбову в Цюрих. — НАРТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 571. Л. 89.

²³⁰ Сазонов Е. И. П. Каляев: из воспоминаний // Памяти Каляева. — М.: Революционный социализм, 1918. — С. 12. Первая публикация этого очерка: Знамя труда. — 1906. — № 2 — С. 11—16. В нормальности И. Каляева усомнился Е. Сазонов и поделился этими соображениями с Б. Савинковым. Последний и сообщил обо всем Каляеву, который при встрече с Егором Сазоновым доложил результаты своего похода к психиатру, а потом добавил: «Жертва должна быть чистой, а не даром, который самому обладателю опостылел и не нужен. Поэтому, прежде чем стучаться в дверь Б. О., пусть каждый из нас строго испытывает себя: достоин ли он, здоров ли, чист ли... В святилище надо входить разутыми ногами» (Знамя труда, С. 12—13). Этот случай подтверждается мемуарами Б. Савинкова: *Савинков Б.* Воспоминания террориста. — Ереван: Изд-во «НВ-пресс» совместно с «Арвик», 1990 — С. 37



Иванъ Платоновичъ
КАЛЯЕВЪ.

(Съ карточки, снятой сейчас же послѣ взрыва).

Теперь все мое желание направлено к тому, чтобы вступить в члены партии. Сидеть сложа руки в такое время, когда тысячами гибнут борцы за свободу, по моему мнению, безбожно...

(4 января 1906 г.)

Думаю, что если у нас будут баррикады и проч., я не окажусь подлецом и исполню честно свой долг перед народом. Не думайте, что это только фразы...

(5 января 1906 г.)

К определенным доводам я еще не пришла, сколько ни разбиралась в этих вопросах, но при теперешнем положении вещей нельзя было сидеть сложа руки и разбираться, потому я и бросила свой ярлык (понятно сознательно) в с. д. партию...

(14 марта 1906 г.)²³¹

²³¹ Выписки из агентурных писем, препровожденные департаментом полиции за 1905 г., 1906. — Н.Л.РТ Ф 199. Оп 1 Д. 294. Л. 20, 16, 4

Необходимость выбора заставила задуматься над тем, что раньше воспринималось автоматически, без сомнений и рефлексии. Проблема выбора для многих людей оказалась столь тяжелой и непривычной, что провоцировала психические заболевания. Врачи-психиатры отмечали, что чаще заболевали пассивные участники движения — те, кто ограничивался сочувствием и формальной поддержкой революционной борьбы. Именно для них необходимость превращения в Героя таила наибольшую опасность²³².

В. И. Ш., 15-летнего рабочего, медицинский отряд подобрал около одной из московских баррикад 13 декабря 1905 года и доставил в центральный полицейский приемный покой для душевнобольных. Он с воодушевлением поддержал забастовку, но дальше не мог определить своего отношения к вооруженному восстанию. В больнице он страдал от галлюцинаций, пел «Боже, Царя храни...». Часто кричал: «Воевать в Маньчжурии вас нет, а терзать людей вы здесь...»²³³

Аналогичная история приключилась с драпировщиком 43 лет. В ноябре 1905 года его отношение к происходящему стало особенно эмоциональным. Он возмущался тем, как много льется крови. В дальнейшем это становится главной темой его бреда: «...что это несправедливо, что сам он всегда стоял за справедливость и что потому теперь его будут судить... Уверял, что забастовщики, чтобы отомстить ему за его несогласные с ними убеждения, убили его жену... Уверял, что за ним следят его товарищи, которые мстят ему за то, что он высказывался против забастовок...»²³⁴

19-летняя швея из Самары посещала митинги, была «сильно увлечена революционным движением». После митингов с ней происходили припадки, во время которых она выкрикивала: «бомбы... кинжалы... пушки... мы возьмем силой... террор... пусть льется кровь... если корона пристала к голове, мы и голову сорвем». Моментами она начинала говорить рифмами, цитировала революционные песни²³⁵.

28-летнего столяра из Казани, Петра Яковлева, в Казанскую окружную лечебницу Во Имя Божией Матери Всех Скорбящих доставили 27 мая 1905 года. Он все время бормотал, что на улице стреляют, что убили его мать и братьев. Сам Петр не принял активного участия в событиях и теперь мучился вопросом: как быть дальше?

²³² Рыбаков Ф. Е. Психозы в связи с последними политическими событиями в России. Сообщение на X Пироговском съезде // Русский врач. — 1907. — № 20. — С. 677—680.

²³³ Скляр Н. И. О влиянии текущих политических событий на душевные заболевания // Русский врач. — 1906. — № 8. — С. 223.

²³⁴ Рыбаков Ф. Е. Душевные расстройства в связи с современными политическими событиями // Русский врач. — 1906. — № 3. — С. 65.

²³⁵ Ярошевский С. Материалы к вопросу о массовых нервно-психиатрических заболеваниях // Обзорение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. — 1906. — № 1. — С. 2—3.

19 июня он был выписан «по миновании признаков душевного расстройства», чтобы опять встать перед проблемой выбора²³⁶.

38-летний рабочий Леон Ш-ов из Орла заболел в 1905 году. В ходе забастовки на заводе он не примкнул к товарищам, за что они ему якобы угрожали. В итоге Леон Ш-ов заболел: находился в постоянном страхе, ждал расправы то со стороны товарищей-рабочих, то от рук казаков²³⁷. Анна Гейфман приводит примеры давления как членов левых политических партий, так и самих рабочих на своих пассивных коллег: их подвергали избиению и просто физическому уничтожению²³⁸.

Все случаи так называемых «рабочих» заболеваний периода революции достаточно однотипны. Рабочие в силу разных причин отказываются следовать нормативному сценарию, который принимает большинство их товарищей. Сама возможность независимых действий вызывает у них страх (страх мести, расправы), а отсутствие альтернативных позитивных сценариев (ведь даже нейтральная позиция реакционна с точки зрения Подпольной России) провоцирует фрустрацию, растерянность, в конечном итоге — психические расстройства.

Документальные свидетельства позволяют говорить еще об одной специфической категории неврозов и психозов — студенческих психических заболеваниях времен революции. Для студентов — образованных и интеллигентных людей — тоже существовал достаточно четкий нормативный сценарий, которому полагалось следовать в «час X». Они — идеологи движения, пропагандисты. Их место — на революционном митинге, в рабочем кружке.

Вот типичный случай: студент 22 лет возвращается в родной город. Из-за студенческих беспорядков занятия отменены, и он проводит все время на митингах. До определенного момента успешно пропагандировал, но однажды «был остановлен товарищем, который заметил, что больной ведет себя странно и говорит не то, что следует... На другой день был крайне возбужден... себя же всячески старался унижить, говоря, что он даже в сыщики не годен...»²³⁹.

²³⁶ Архив Республиканской психиатрической больницы (РПБ, Казань). В прошлом — Архив Казанской окружной лечебницы Во Имя Божией Матери Всех Скорбящих. Поскольку современная система архивного учета (по типу: фонд, опись, номер документа) в архиве отсутствует, эту и последующие сноски оформлены в соответствии со стандартом, принятым в окружной лечебнице в 1905—1912 годах. «Дело о Казанском цеховом Петре Яковлеве», РПБ. Архив № 1198. Вязка № 24. По описи № 419.

²³⁷ Герман И. С. О психическом расстройстве депрессивного характера, развившемся у больных на почве переживаемых политических событий // Журнал невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. — 1906. — Кн. 3. — С. 319. Автор описывает и другие аналогичные случаи.

²³⁸ Geifman A., p. 94—95.

²³⁹ Рыбаков Ф. Е. Душевные расстройства в связи с современными политическими событиями // Русский врач. — 1906. — № 3. — С. 65.



Следующая история отчасти напоминает первую, хотя подробности происшедшего даже колоритнее. Студент «обнаруживал особо сильное стремление выступать на митингах», пользовался успехом. Утверждал, что за ним следят, носил темные очки, так как иначе «по выражению его лица могут угадать его революционные мысли». «Следили» за ним не обычные шпионы, а лично гр. С. Ю. Витте и министр внутренних дел П. Н. Дурново. При этом то, что он говорил, звучало абсолютно нормально для окружающих: «Если я погибну в борьбе, то дело мое не погибнет и будет жить после меня». Психиатр, описавший этот случай, отмечал, что в разговоре больного то и дело упоминаются «пулеметы, министры, социал-демократы, Наполеон, революция, марксисты и женщины»²⁴⁰.

²⁴⁰ Рыбаков Ф. Е. Душевные расстройства в связи с современными политическими событиями // Русский врач — 1906. — № 3. — С. 65—66

Характерен и случай 25-летней курсистки, в 1905 году активно включившейся в общественную деятельность, выступавшей на митингах. Во время лечения в психиатрической лечебнице доктора Бари (СПб) она пыталась продолжать прежний образ жизни, хотя сознавала, что у нее бывают припадки. Бред этой курсистки можно назвать краткой энциклопедией литературы Подпольной России. В нем встречаются все мифологические герои и темы, вплоть до жертвы собственной жизнью. Наверное, курсистка была неплохим пропагандистом:

За мною, товарищи, не сдадимся, мы борцы за свободу, победим; но что я вижу там, Вася, он один окружен врагами, но борется; брось, милый, смелей спеши к нам на помощь, братцы товарищи, мы не одни; но скорее — скачут казаки, а впереди их, о ужас, мой брат, ну, что же, убей меня, не смеешь, отводишь глаза; но что это, он убил товарища, другого, я не могу, я должна стрелять в него, в брата, мама, прости меня, ах... Он упал, нет он жив, он только ранен; но что я вижу, идет там Маня, милая девочка, сюда к нам, я здесь, здесь твой папа; но что это, ее бьют, бьют ребенка; когда мне говорили, что в Москве били детей, я не верила, а теперь вижу сама, о, ужас. Нас мало, мы окружены трупами, но я не отдам им наше знамя, но надо похоронить товарищей, бедные борцы за свободу, вы пали (поет революционные песни, затем вечную память). Теперь вперед, но что это, меня бьют по голове, больно, я падаю, я умираю за свободу²⁴¹.

Очевидно, что студенты пытались следовать одному и тому же нормативному сценарию: они не должны стоять в стороне, более того — роль рядового участника революции им не подходит. Они — идеологи, агитаторы. Понятно, что не все способны соответствовать нормативному идеалу. Это даже очень естественно. Характерно другое: неспособность соответствовать общепринятой в рамках данной семиосферы норме оказывалась тяжелейшим потрясением, способным нарушить душевное равновесие человека.

Само сумасшествие порой принимало форму обмена нормативных сценариев. Скажем, 30-летняя дворянка из Казани Вера Александровна Жебровская оказалась в психиатрической лечебнице после того, как объявила друзьям и близким о своей революционной деятельности (медицинское дело открыто 12 декабря 1905 г., больная выписана без серьезных улучшений 12 сентября 1906 г.). Никакого, даже косвенного, участия в революционной деятельности она никогда не принимала, но главное не это. Вера Жебровская

²⁴¹ Павловская Л. С. Два случая душевного заболевания под влиянием общественных событий // *Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии*. — 1906 — № 6. — С. 420.

буквально превратилась в человека из Подпольной России: отказалась от семьи и прежних знакомств, утверждала, что распространяла прокламации и теперь ее могут арестовать, избрала себе новое «еврейское» имя — Вера Бендавид²⁴². Большая считала себя еврейкой, «потому что евреи умные и добрые люди»²⁴³. Среди героинь Подпольной России еврейские женщины занимали особое место, они же были популярной мишенью антиреволюционной и антисемитской пропаганды. Представление о революционерке-еврейке могло сформироваться у Веры Жебровской на основе обоих противоречивых «мифов», но в своем сумасшествии она точно следовала нормативному сценарию, созданному в рамках Подпольной России²⁴⁴. Эту роль она играла почти без ошибок: подобно Каляеву, обратившемуся к психиатру для подтверждения своего психического здоровья, а значит, и революционной «профпригодности», Вера Жебровская-Бендавид придумала историю с прокурором, который собирался оправдать ее как психически больную. В истории болезни записано, что Вера Жебровская отказалась прикрываться душевной болезнью ради того, чтобы избежать ответственности (вся история с прокурором, обвинением и экспертизой — бред Жебровской)²⁴⁵.

Не менее характерно, что в описанных выше случаях больные студенты-агитаторы успешно пропагандировали на митингах, не сбиваясь с роли. Ненормальность их поведения проявлялась в болезненной шпиономании, в неадекватности реакций на обыденные ситуации. Но на митингах, т. е. именно там, где по нормативному сценарию они должны были находиться в революционные дни, они вели себя совершенно адекватно, «нормально». Пропагандировали такие пациенты и в психиатрических клиниках. 22 февраля 1907 года врач Казанской лечебницы записал по поводу очередного пациен-

²⁴² В очередной раз мы сталкиваемся с переплетением сферы художественной литературы и «реального» мира: очевидно, что «еврейская» фамилия Бендавид была заимствована Жебровской из повести В. В. Крестовского «Тамара Бендавид» — истории еврейки, принявшей христианство.

²⁴³ «Дело о дочери врача Вере Александровне Жебровской» РПБ. — Архив № 337. Вязка № 8. По описи № 1141.

²⁴⁴ Нормативный образ революционерки-еврейки создавался в нелегальной мемуаристике и в беллетристике конца XIX — начала XX в. В него входили такие элементы, как жертвенность (часто — религиозность), боль за свой народ и, между прочим, яркая внешность, красота. Вот типичное беллетристическое описание: «Вот она... Мы товарищи любили ее, как любят цветы, как любят все красивое в мире. Молодая, умная, красивая дочь еврейского народа, угнетаемого испокон веков, она омыла свое сердце его слезами и кровью и отдала себя и свою мысль резвую, смелую угнетенному человечеству. Она ушла к пролетариату... Еврейка умерла и спит в гробу на берегу моря широкого, могучего и безбрежного, как пролетариат, связать с которым так жаждала она свою судьбу» (А. Д. «Вы жертвою пали», рукопись ГАРФ. Ф. 1167. Оп. № 1 Д 4706 Л 7).

²⁴⁵ «Дело о дочери врача Вере Александровне Жебровской» РПБ. — Архив № 337. Вязка № 8. По описи № 1141.

та: «ораторствует на почве социальных вопросов»²⁴⁶. Дело, конечно, не сводится к снижающему уподоблению политического митинга манифестации в психиатрической лечебнице. Важно другое: большие следовали нормативному сценарию при любых обстоятельствах, и всегда находилась аудитория, готовая их слушать, воспринимавшая их поведение как адекватное. Некоторые пациенты Казанской окружной лечебницы продолжали следить за политическими событиями, читали газеты и, как им казалось, оставались социально активными. «В такое время здесь сидеть грех, — говорил один из них (1905 г.). — Нужно принять участие в общем движении»²⁴⁷.

В данном случае мы имеем дело с явным снижением высоко-го идеализма Подпольной России. Революционные события заставили представителей периферии семиосферы подполья примерить одежды нормативного героя. Обычные люди должны были вести себя героически, в соответствии с нормативной моделью. Безусловно, такое массовое «воспроизводство» героического поведения привело к инфляции самого понятия «революционный героизм». В конце концов, не каждый рождается Спиридоновой или Каляевым...

Такого снижения прежние представления о норме вынести не могли. Именно поэтому главной темой послереволюционных дискуссий становится поиск нового героя, нового нормативного идеала. Для людей, привыкших мыслить в категориях оппозиции Россия Легальная — Россия Подпольная, эта задача оказалась чрезвычайно сложной. Понадобились годы коллективных усилий, чтобы принять довольно простую мысль о возможности одновременного сосуществования разных нормативных сценариев, вместо тотального монополизма одного всеобъемлющего. Наиболее чуткие пытались осуществить этот прорыв сразу и в одиночку, напрочь порвать с радикальной мифологией и выстроить свой образ заново. Такой подвиг требовал невероятных душевных усилий, и люди срывались...

Валериан Шавгулидзе, 23-летний студент-юрист, осенью 1905 года понял, что жить и думать как раньше он больше не может, а по-другому не умеет. Он порвал все старые контакты, перестал посещать митинги и студенческие сходки. По 20 часов в сутки он занимался философией — формировал новое мировоззрение, вместо Гегеля читал Канта, «пересоздавал» себя как индивидуали-

²⁴⁶ «Дело о почтово-телеграфном чиновнике IV разряда Омской телеграфной конторы Федоре Гаврилове Григорьеве» РГБ. — Архив № 31. Вязка № 5. По описи № 722.

²⁴⁷ «Дело о Почетном Потомственном гражданине г. Казани Иване Дмитриевиче Чудовском» РГБ. — Архив № 1144. Вязка № 23. По описи № 759.



ста. Параллельно изучил три иностранных языка — видимо, считал, что «новому» человеку это необходимо. В истории болезни Валериана Шавгулидзе записано: «Последнее время по направлению был индивидуалистом-идеалистом, усиленно изучал неокантианство, Канта читал в подлиннике; будучи уже больным, не выносил разговоров о социалистах и вообще о политических партиях»²⁴⁸. Врач, сделавший эту запись, придавал принципиальное значение философским поискам своего пациента, а внимание к таким нюансам, как «индивидуалист-идеалист», позволяет предположить, что психиатр вполне мог поддержать философскую беседу, если бы только пациент откликнулся. Но Валериан Шавгулидзе заболел столь серьезно, что совсем потерял связь с этим миром. Очень опасным оказался эксперимент: сразу отказаться от традиции и остаться наедине с самим собой — опустошенным, торопящимся превратиться в независимую от тотального мира Подпольной России личность, в индивидуалиста.

Для многих современников Валериана эта задача также оказалась серьезным жизненным испытанием. Его ровесникам предстояло пройти длительный курс лечения, чтобы снова обрести душевное равновесие и найти опору не во внешней тотальной норме, а в самих себе. С жизнью именно этого поколения связано широкое распространение психоанализа в России и особая восприимчивость к идеям Фрейда. Представители как Подпольной, так и Легальной России жаждали заглянуть в себя, распознать свои подсознательные страхи и преодолеть внутренний разлом. Как показал

²⁴⁸ «Дело о Студенте Московского Университета Валериане Николаевиче Шавгулидзе» РГБ. — Архив № 1372 Вязка № 22. По описи № 170

Александр Эткинд, в России «сексуальность в теории и перенос в технике анализа были последовательно замещены проблемами власти, с одной стороны, и сознания — с другой»²⁴⁹. Видимо, иначе и быть не могло: освобождая свое сознание от господства радикальной мифологии, поколение, пережившее 1905—1907 годы, должно было прежде всего переосмыслить свое отношение к власти и к самому себе. Переосмысление это вылилось в бесконечные разговоры о прежних и новых героях, о старых мифах радикализма и об их соответствии реальности. За революцией последовала эпоха разброда и шатаний, которую сами современники назвали *безвременьем*. Одной из первых жертв *безвременья* стал мифологический Герой, и именно художественная реальность, в которой он существовал, явилась сценой, где разворачивалось действие. Анализируя огромный поток беллетристики за 1907—1912 годы, Александр Ожигов заметил, что «в литературе производится коренной пересмотр русской жизни по всем направлениям и именно под знаком пережитых катастроф...»²⁵⁰

²⁴⁹ Эткинд А. Эрос Невозможного: История психоанализа в России. — СПб.: Медуза, 1993. — С. 421.

²⁵⁰ Ожигов А. Из новогодних литературных итогов // Бюллетени литературы и жизни. — 1913. — № 11 — С. 503

Часть II

КОНЕЦ ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

О чем писать??? Кого теперь можно выставлять в качестве героя? Все герои, как интендантские чиновники, разъяснены... Был у нас святой герой, которого признавала даже и реакция... Я говорю о революционере. Но и этого героя... постарались запакостить.. Именно запакостить. Другого слова и не подыщешь.

Из интервью с Леонидом Андреевым¹.

Итак, в 1905 году герои Подпольной России вышли на улицы, миф столкнулся с реальностью и столкновение это оказалось для него роковым. Со страниц беллетристических и поэтических сборников герои перешли в газетно-журнальную хронику, оставив литературе обломки своего мифологического реквизита. Критики отмечали, что политика, доселе нераздельно царившая на литературном престоле, постепенно «входит в тесные русла своих обычных отделов»². Писатели — представители мира радикальной интеллигенции — пытались приспособить старый реквизит к новым сюжетам. Но, лишенный контекста, он стал восприниматься как ветошь, экспонат «из архивов литературной бутафории» для хранения «баррикад и браунингов, ружей и красных флагов, синьки и фуксина для самых натуральных синяков и кровоподтеков, [...] демократов-товарищей и городских, тюремщиков и жандармов, арестантских халатов и оловянных кружек»³.

Позднее, с высоты 1912 года, стала очевидной изначальная бесплодность интеллигентских усилий по собиранию обветшавшего героического антуража. Жизнь «расползлась по швам», старые интеллигентские типажи ей не соответствовали: «Какие могут быть типы на фоне этого общего брожения...?»⁴ Радикальная субкультура лишилась стержня, идеала, оправдания. Об этом еще молчали партийные идеологи и публицисты, но уже распадалась на глазах художественная реальность Подпольной России.

¹ У Леонида Андреева // Биржевые ведомости. — 1912. — 16 сентября. — № 218.

² Войтоловский Л. Текущий момент и текущая литература: к психологии современных общественных настроений. — СПб.: Изд-во «Зерно», 1908. — С. 11.

³ Измайлов А. Сумерки божков и новые кумиры // Мир. — 1909. — № 15/16. — С. 31.

⁴ Колтоновская Е. Пути и настроения молодой литературы // Колтоновская Е. А. Критические этюды. — СПб.: Просвещение, 1912. — С. 27.

Важным симптомом кризиса мифологического Героя стало разрушение стереотипа, с ним связанного. Возникал зазор между ожидаемым (читатель был готов увидеть в тексте весь набор полагавшихся герою характеристик) и новым содержанием, которое автор вкладывал в героя. Типичные, на первый взгляд, новеллы А. К. Вернера из прошлого народничества, появившиеся во втором номере «Русского богатства» за 1907 год, для читателей журнала типичными вовсе не являлись. Описывая атмосферу подпольного кружка с его суровой дисциплиной, идейностью его членов, их самоотречение и революционный фанатизм, Вернер допускает проговорки, разрушающие стереотипы читательского восприятия. Прежде всего его герой — не защитник идеалов подполья, а отщепенец, выпавший из кружка. Теперь он — человек в поиске — становится центром сюжета. И хотя действие по-прежнему разворачивается на традиционном фоне (политический подпольный кружок), но фон этот уже чужд герою. Противопоставляя своему новому, нервному и непонятному персонажу стойких и цельных революционных фанатиков, Вернер задает невозможный ранее вопрос о природе их фанатизма. Ответ, предложенный в новелле, снижает надчеловечность, которая была присуща мифологическому Герою: «...нельзя у людей, которые должны идти на верную смерть... в лучшем случае на вечную каторгу... нельзя отнимать у них веру... в самих себя и близкое торжество их идеалов... Они возненавидели тебя, потому что ты отнимал у них главное, чем они жили...»⁵

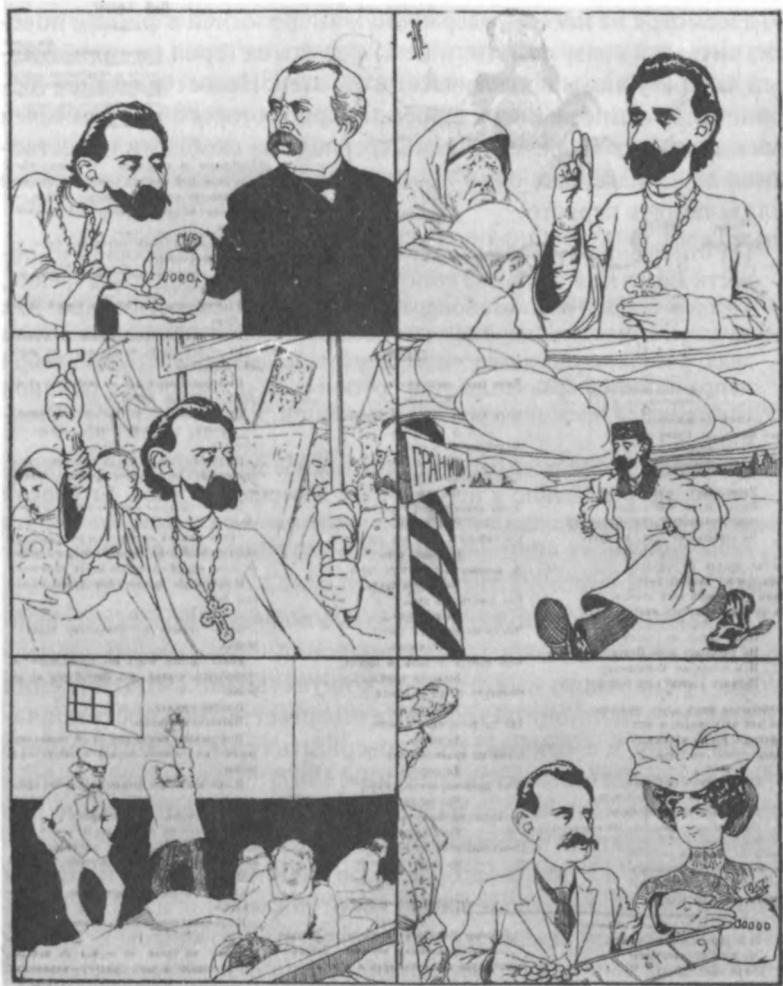
Знакомая обстановка встречает читателя и в повести А. Деренталя «В темную ночь» (1907): на конспиративной даче живут террористы, а рядом, в гостинице, — руководитель Боевой Организации⁶. Террористы, как и полагается, молоды и чисты, они лишь ждут своего часа. Но перерождение героя в середине повествования нарушает гармонию мифа: во-первых, герой вдруг вспоминает, что кроме жертвы собственной жизнью теракт предполагает убийство. «Классическая» литература Подпольной России просто не знала этой дилеммы — только так удавалось навязывать интеллигенции радикальный идеал. Теперь из уст прежнего героя звучали невозможные ранее слова: «Ведь пойми: я же не в березу буду стрелять, а в человека, который ест, пьет, ходит, разговаривает, думает о чем-нибудь!»⁷

Герой Подпольной России просто не мог так мыслить, и вполне логично, что писатель лишает его героического статуса. Перед

⁵ Вернер А. К. Старые счеты // Русское богатство. — 1907. — № 2. — С. 60—71.

⁶ Деренталь А. В темную ночь // Русское богатство. — 1907. — № 9. — С. 1—56; № 10. — С. 1—42; № 11. — С. 1—36.

⁷ Там же. — 1907. — № 10 — С. 31.



самым покушением террорист решает идти к руководителю организации, чтобы отказаться от теракта. Правда, оставался вопрос, что делать дальше с «падшим ангелом» революции: мифология подполья не знала прецедентов. И герой опаздывает: за ним уже приехал товарищ, чтобы вести его на место убийства. В соответствии с поэтикой мифа террорист покоряется судьбе, «от которой все равно уйти ему было невозможно»⁸.

⁸ Русское богатство. — 1907. — № 11. — С. 29. Некоторые детали повествования позволяют предположить, что автор довольно хорошо знал условия существования БО партии социалистов-революционеров. А.Дернталь — литературный псевдоним Александра Аркадьевича

Несмотря на победу, одержанную мифологией в финале повести, читатели сразу отметили непохожесть ее героя на нормативный литературно-мифологический образец. Несостоявшийся террорист был единственным героем, вокруг которого выстраивался рассказ, но для современников Деренталю за скобками повествования действовал еще один центральный персонаж, без которого нельзя понять первого:

По отношению к революционному делу Варыгин (террорист из повести Деренталю. — *М. М.*) стоит на совершенно новой точке зрения, которая старым революционерам должна казаться еретической. Как во всем, ему и здесь дороже всего «собственное сознание». Не полза дела, а личное удовлетворение стоит на первом плане. Само собой напрашивается сравнение этой еретической психологии с обычной психологией прежних деятелей революции, например, героев Степняка [...]

Андрей Кожухов тоже берет на себя важное террористическое поручение, но отношение у него к этому совершенно иное. Его яркой цельной личности чужды всякие колебания. Сразу чувствуется, что субъективно ему ничто не мешает выполнить его решение и испить до дна принятую чашу⁹.

Неожиданное продолжение эта тема получила в рассказах бывшего эсера и несостоявшегося террориста А. Гриневского — Александра Грина. Один из его героев кощунственно с точки зрения прежней революционной традиции отвергает возможность причаститься мифу, т. е. отказывается совершить теракт, к которому его готовила партия (рассказ «Карантин», 1907)¹⁰ Приняв такое решение, герой Грина начинает видеть красоту и ценность жизни, что заставляет читателя оценить его прежнее существование как нежизнь. Так же и в другом его рассказе член партийного комитета отговаривает 18-летнюю террористку от покушения на «фон Бухеля» (намек на фон Плеве) на том основании, что «человек, бросающий себя под ноги смерти ради фон Бухеля, не имеет настояще-

ча Дикгофа, который в конце 1905 года вступил в петербургскую боевую дружину ПСР. Участвовал в убийстве Гапона, после чего эмигрировал и начал литературную деятельность. В 1917 году вернулся в Россию, а с мая 1918-го стал одним из ближайших помощников Б. Савинкова. Известно, что зимой 1917—1918 годов, когда Савинков вел работу по созданию «Союза защиты родины и свободы», он некоторое время жил в Гагаринском переулке на квартире у литератора Александра Деренталю. Подробнее см.: *Будницкий О.* Убийство Гапона (новые материалы) // *История терроризма в России в документах, биографиях и исследованиях* / Сост. О. В. Будницкий. — Ростов-на-Дону, 1996. — С. 430—456.

⁹ *Колтоновская Е.* Самоценность жизни: эволюция в интеллигентской психологии // *Образование*. — 1909. — № 5. — С. 103—104.

¹⁰ *Грин А. С.* Карантин // *Грин А. С.* Собр. соч. В 6 т. — М.: Изд-во «Правда», 1965. Т. 1. — С. 121—153. В рассказе А. Грин описывает собственный опыт биографами Грина установлен, что эсеры «его хотели использовать для террористического акта, но Грин отказался выполнить задание» (*Сандлер В.* Вокруг Александра Грина. Жизнь Грина в письмах и документах // *Воспоминания об Александре Грине* / Сост. В. Сандлер. — Л.: Лениздат, 1972. — С. 431).

го представления о... жизни»¹¹. Подпольная Россия и раньше воспринималась как другая жизнь, иной, параллельный мир — но скорее со знаком плюс. Несостоявшийся террорист Грина явно оценивал ее со знаком минус. Критики отмечали, что не цельный человек и не кровь — «герой произведений Грина». Поиск новой жизни — вот стержень этой литературы, становящейся все более и более популярной¹².

Еще один литературный герой, напоминающий героев Грина, студент-марксист по имени Афоня, собирается жениться. Но тут появляется член ЦК, требующий, чтобы Афоня перешел на подпольное положение и пожертвовал личным счастьем. Между ними происходит характерный обмен репликами:

— Жажда личного счастья, голубчик, — это яд. Вы им отравлены... Куда уж тут идеи!..

— Да, я хочу личного счастья, потому что я не бревно, а живой человек!¹³

Афоня так и не смог сделать выбор, отдав предпочтение самоубийству. По существу, он не смог преодолеть миф, остался в нем, но уже не как Герой. Столь нехарактерный с точки зрения нормативного героического поведения поступок не был нейтральным уже потому только, что потенциально содержал в себе возможность выпадения из революционной мифологии.

Похожая история произошла с террористом — героем рассказа А. Будищева «Тата» (1908), — скрывающимся в усадьбе своих дальних родственников, где его застает жестокий приступ лихорадки. В качестве сиделки к нему приставлена молоденькая дочь хозяина усадьбы Тата. Между ними и происходит типичный для конца «эпохи героев» диалог: Тата озвучивает роль идеальной девушки, потенциальной революционерки, а опытный подпольщик воплощает собой надломленного «Героя».

— И вас зовут не Алексеем Петровичем?

— Нет. У меня нет имени, я уже сказал вам. Я называюсь так, как мне прикажут. Я — вещь. Я — неодушевленный предмет в руках идеи [...]

Иметь свое личное имя, свою семью, свои собственные желания — разве это не самое настоящее счастье? Зачем только люди создали над собой этот проклятый мир идей...¹⁴

Именно этому больному — физически и нравственно — человеку писатель доверяет совершенно кошунственные с точки зрения

¹¹ Грин А. С. История одного заговора // Новый журнал для всех. — 1909. — № 4. — С. 33—68.

¹² Горнфельд А. Г. А. С. Грин. Рассказы. — СПб.: Изд-во «Земля», 1910. — Т. 1. — С. 147.

¹³ Ленский Вл. Дело // Мир. — 1909. — № 21/24. — С. 11.

¹⁴ Будищев Ал. Тата // Образование. — 1908. — № 2 — С. 97—98.

мифологии Подпольной России слова. Если кто и имел моральное право их произнести, то это был не сам автор, не человек со стороны, не даже боготворившая Подпольную Россию Тата, но только тот, кто сам был Героем:

— Жертва — подлость! — почти вскрикнул он, задыхаясь. — Подлость! Как я могу бросить самого себя в печь? За что? Почему? Кто может требовать у меня этого?¹⁵

Несмотря на наличие острых пассажей, рассказ «Тата» все же не был откровенно еретическим, поскольку идея жертвы в нем в конечном итоге реабилитировалась. Тата бросила своего жениха ради умирающего террориста, принесла себя ему в жертву. Воистину, «она его за муки полюбила». Но для читателей знакомая тема жертвы как положительной ценности меркла перед лицом разрушительной самокритики героя:

... г. Будищев создает довольно живой тип затравленного борца за идею, в котором проснулось личное «я», как только он попал в соответствующую семейную обстановку. «Зачем только люди создали над собой этот проклятый мир идей, когда окружающая их жизнь так заманчива?» — вот вопрос, остро поставленный сознанием больного революционера и мучающий его¹⁶.

Вопрос, мучивший террориста из рассказа Будищева, мог бы стать эпиграфом к особому направлению в беллетристике, сложившемуся к 1909—1910 годам. Записка приговоренного к смертной казни — уникальный документ подполья, существовавший как особый жанр на пересечении реальности и литературы, мифа и действительности, — стала объектом литературной рефлексии. Психологически это был рискованный шаг: записка приговоренного представляла собой не просто часть революционного ритуала, канонизированный элемент мифологии Подпольной России, но сама была эффективным механизмом актуализации мифа. Еще А. И. Герцен писал об особом воздействии на интеллигенцию слов, раздающихся «из дали ссылки, изгнания, из мрака заточения; приговор, писанный рукой, на которой виден след цепи, отзывается глубоко в сердцах...»¹⁷. Классическая беллетристика и поэзия Подпольной России не только выработали литературный канон Записки, но и описали механизм ее действия в системе мифологизированных отношений между героями. Например, революционер бесславно умирает в одиночной камере, мечтая о красивой смерти на эшафоте:

¹⁵ Будищев А. Тата // Образование. — 1908. — № 2. — С. 106.

¹⁶ Вук. Т. Среди журналов // Познание России. — 1909. — Кн. 1. — С. 213.

¹⁷ Герцен А. И. Письма из Франции и Италии. Письмо тринадцатое // Герцен А. И. Собр. соч.: В 8 т. — М.: Правда, 1975. — Т. 3. — С. 197.

В минуту отчаяния он вспомнил чудное, трогательное письмо Виттенберга, написанное накануне казни, где он просил оставить всякую мысль о личной мести, вспомнил, какое глубокое впечатление произвело это письмо, когда оно появилось на страницах «Народной Воли»; вспомнил и другие подобные заявления людей, стоявших на краю могилы, каждое слово которых выходило из глубины сердца. И злоба сменилась в его измученной душе чувством умиления перед страдающими за святое, правое дело, в конечной победе которого сомневаться невозможно. Он почувствовал глубокую веру в то, что его страдания, его смерть не бесплодны, что только путем жертв можно завоевать лучшее будущее¹⁸.

Эта цитата из повести 1903 года на первый взгляд функционально аналогична цитате из рассказа 1909 года, где девушка читает записку приговоренного к смерти революционера:

— Есть же такие сильные, смелые!.. — твердила она днем и ночью. — И такие умирают! Такие гибнут! [...] Нет! Она не могла так жить!.. Хотелось смерти сильной, красивой, страшной, сгореть, а не тлеть!¹⁹

Однако в последнем случае в красивый миф вторгается горький финал: «Ее тоже казнили. Начиналась новая цепь страданий и ужаса!»²⁰. Да и весь рассказ 1909 года не воспроизводит, а разоблачает миф. Ситуация классическая: действие происходит в камере смертников. Герой должен составить письмо товарищам, у него даже заготовлен (!) образец («Какое сияние в моей душе, какая вера, если бы вы знали, товарищи, какое счастье умирать за правое дело!»)²¹, но в последние моменты своей жизни он мучительно желает написать личное письмо — о своей любви к матери, о всепрощении. Рассказ — история борьбы Героя и человека, в которой побеждает Герой («История требует жертв. Я умираю, как жил»)²². Но для автора уже не вполне однозначна цена такой победы — победы ритуала над жизнью, символа над человеком.

Характерно, что в рассказе более молодого беллетриста, начавшего свою литературную карьеру в эпоху «конца Героев», в той же ситуации побеждает человек. Террорист, не назвавший в ходе следствия даже своего имени, решает последнее в своей жизни письмо написать не товарищам по партии, а матери:

Ходил по камере из угла в угол и все думал — что делать?.. Выдать товарищей страшно. Еще страшнее умереть и не написать матери...²³

¹⁸ *Поливанов П.* Кончился. — Б. м.: Типография Партии Социалистов-Революционеров, 1903. — С. 23–24.

¹⁹ *Семенов Л.* У порога неизбежности // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». — 1909. — Кн. 8. — С. 32.

²⁰ Там же.

²¹ Там же. — С. 25.

²² Там же. — С. 31.

²³ *Бруснин В.* Письмо к матери // Студенческая жизнь. — 1910. — № 1. — 17 января. — С. 10.

Послереволюционные писатели, не всегда осознанно, начинают разводить идеальный образ мифологического Героя и его реальный прототип, которые раньше накладывались друг на друга без каких-либо зазоров и несовпадений. Эффект, возникавший при чтении подобной беллетристики, был подобен открытию. Скажем, в рассказе И. Сургучева «Соседка» («Вестник Европы», 1909, январь) героиня откровенно списана с Марии Спиридоновой. Внешность, возраст, имя, род занятий — все должно было вызвать в сознании читателя образ реальной террористки. Особая нежность, с которой Сургучев описывает свою Марусю, тоже была вполне характерна для описания женского воплощения мифологического Героя. Но Сургучев нарушает каноны жанра: он рассказывает о том, как Маруся пьет чай, как она одевается, как живет день за днем. Сургучев делает именно то, против чего предостерегала писателей Подпольной России Вера Засулич. Он вводит героев в сферу обыденной жизни, где нормативная героиня просто неуместна. Более того, его Маруся влюбляется в человека, далекого от террора. У нее появляется желание создать семью, она начинает сомневаться в праведности дела, которому себя посвятила. Однако логика предыдущей жизни требует выбора между партией и собственным счастьем, и героиня рассказа выбирает партию. Но этот выбор не воспринимался как рок, определяющий судьбу Героя²⁴ — Маруся уже не была однозначным персонажем-функцией, столь типичным для литературы Подпольной России. Возникает напряжение между мифологическим Героем и персонажем, к которому читатель испытывал личное чувство симпатии и сострадания. В результате Герой, который всегда оставался для писателя и его аудитории символом, превращался в литературный персонаж, за которым угадывался живой человек. Как правило, человек растерянный, разочарованный и ищущий. Видимо, эта внутренняя напряженность обычного по форме и языку литературного произведения способствовала тому, что Сургучева заметили. Для читателей он так и остался «автором *Соседки*»²⁵.

Одним из факторов эволюции центрального героя было окончательное «выпрямление» хронотопа Подпольной России. Традиционно кульминацией мифологического времени оказывалась жертва Героя — воспроизведение первичного сакрального события участниками мифологического пространства, каждый раз возвращавшая их к истокам мифа. Теперь появилось время «до» и «после» жертвы. У Вернера история бунта революционера рассказыва-

²⁴ Сургучев И. Соседка // Вестник Европы. — 1909. — Кн. 1 — № 1. — С. 108—145.

²⁵ М—М. В. Рассказы Сургучева // Русские ведомости. — 1910. — № 252. — С. 5

ется постфактум, после того как кружок распался, а его лидер изменил и эмигрировал. У Грина, Деренталя и Будищева история героя делится на «до» и «после» внутреннего перелома, связанного с изменением отношения к террору. Безусловно, новый хроно-топ отражал наличие кризиса, начало какого-то нового этапа в истории субкультуры радикализма.

До 1909 года — года выхода в свет повести В. Ропшина *«Конь Бледный»* и сборника *«Вехи»* — этих общепризнанных символов распада радикальной интеллигентской традиции — знаком начавшегося кризиса считалась *«Тьма»* Леонида Андреева, задававшая вектор восприятия той популярной беллетристики, о которой мы говорили. Если от молодого студента-беллетриста можно было отмахнуться, то с маститым Андреевым приходилось считаться, ведь *«Леонид Андреев не просто Леонид Андреев, а выразитель настроений оскудевающей интеллигенции...»*²⁶. Его и других беллетристов от имени Подпольной России обвиняли в «срывании с павших революционеров их святыни» и даже в «моральном труположестве»²⁷, но по сути это было обвинение в адрес всей литературы, изменившей идеалам радикализма, предавшей своего Героя, лишившей Подпольную Россию мифа, а значит, и возможности контролировать широкие слои интеллигенции, да и общества в целом²⁸. «Глубоко пессимистическая нотка относительно русского общества и его судеб звучит у большинства русских писателей [...] Это пессимизм русского общества [...]; писатели — его ум, плоть от плоти его, кровь от крови его...» — таково было мнение многих интеллигентов²⁹.

Наступающий 1909 год пресса ознаменовала описаниями общественной апатии и упадка (*«Речь идет уже не столько о том, что делать, сколько о том, быть или не быть»*)³⁰, даже журнал *«Бодрое слово»* не знал, как подбодрить общество, напоминающее «отработанный, мятый пар»³¹. А ведь само существование этого журнала должно было символизировать удачное освобождение из плена радикальной идеологии и мифологии некоторой части общества. Его редактора-учредители С. Аникин и И. Бикерман до 1908 года входили в редакцию народнического журнала *«Русское богатство»* — одного из столпов интеллигентского «направленства».

²⁶ Орловский П. В ночь после битвы // О веяниях времени. — СПб.: Изд-во «Творчество», 1908. — С. 11.

²⁷ Там же. — С. 12.

²⁸ Стеклов Ю. Современный литературный распад, его характер и причины. — СПб.: Изд-во «Зерно», 1908.

²⁹ Автор не указан. Основные направления в современном русском обществе. — ГАРФ. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 4723. Л. 6.

³⁰ Маловер Ф. Быть или не быть? // Весна. — 1909. — № 12. — С. 91.

³¹ Бикерман И. Очерки русской жизни // Бодрое слово — 1909. — № 1. — С. 98.

Публикация первого же объявления о новом журнале встретила резкий отклик со стороны А. В. Пешехонова — публициста «Русского богатства», обвинившего своих бывших коллег в измене «направлению». В ответ Бикерман заявил, что он принадлежит к той группе интеллигенции, которую «революция вынесла из мира воображения, столь простого и удобного, в мир реальный, столь сложный и неподатливый»³².

Видимо, сложность «мира реального» превзошла ожидания бывших сотрудников народнического журнала. Только самые чуткие представители интеллигенции были способны оптимистично оценивать перспективы *безвременья*:

Коллизии, наблюдаемые в революционной среде, интересны не только сами по себе. Они — знаменательный симптом большой общей перемены, происходящей в психологии нашей интеллигенции и в ее отношении к жизни. Не об упадке и разложении говорят они, а о начинающемся обновлении жизни, о возрождении и утверждении личности — без чего невозможно и здоровое общественное строительство»³³.

Характерно, что, печатая статью автора процитированных строк, редакция журнала «Образование» оговорила свое принципиальное несогласие с ее идеями³⁴.

Так начиналась эпоха «разочарования относительно идеала»³⁵. Ощущение растерянности перед лицом расползающегося идеала буквально пронизывало новую беллетристику. Интереснейший образец такого рода литературы под названием «Идеал: трагикомедия современного человека. Драматическая картина» создал некий В. Евтихеев³⁶. На «берегу бессильных исканий» люди ждут корабль *Идеал*, но он тонет на глазах у всех. Стоящие на берегу интеллигенты с разных позиций критикуют утонувший *Идеал*. «Юноша» — тип прежнего Героя — остается совершенно один в своей тоске по *Идеалу*. Он упрекает усомнившихся: «Как воры, завладели вы в омуте торжествующей тьмы ослабевшими умами усталых людей и увлекли их в грязную яму разврата и самодовольной тупости»³⁷. Но мифологический Герой уже никому не интересен, публика на берегу с тревогой и надеждой ожидает чего-то нового.

³² Цит. по: *Изгоев А. С.* Бунт против направленства // Русская мысль. — 1909. — Кн. 1. — С. 161.

³³ *Колтоновская Е.* Самоценность жизни: эволюция в интеллигентской психологии // Образование. — 1909. — № 5. — С. 110.

³⁴ Примечание редакции // Образование. — 1909. — № 5. — С. 91.

³⁵ *Ландау Г.* Мнимое мышление // Бодрое слово. — 1909. — № 3/4. — С. 98.

³⁶ *Евтихеев В.* Идеал: трагикомедия современного человека. Драматическая картина // Леда. — 1909. — Кн. 1. — С. 7—49.

³⁷ Там же — С. 14.

Само символическое потопление корабля *Идеал* не было случайным. На ум сразу приходит сравнение революционного корабля с сектантскими «кораблями», как называли себя русские сектантские общины. «Очевиден изоляционистский характер такого представления о собственной жизни: корабль чужероден своей среде и для своих обитателей является единственным средством спасения от нее» — так прокомментировал сектантскую символику А. Эткинд³⁸. Видимо, образ корабля в мифологии Подпольной России нес сходную смысловую нагрузку. В революционной беллетристике и поэзии корабль являлся одним из наиболее популярных образов (например, «Корабль тот зовется «Свобода», / Во многих странах он бывал, / Но русского только народа / В глаза никогда не видал»)³⁹. В утопии 1907 года фигурировал даже воздушный корабль «Анархия»⁴⁰. В своем роде шедевр революционного «кораблестроения» создал Тан. Один из его литературных героев — сознательный рабочий Миша — на обложке своего дневника изобразил слепого монстра:

На заглавном листе было написано крупным почерком МОИ НАДЕЖДЫ, и нарисован корабль, вроде греческой триремы. На триреме было три ряда весел, на каждом весле было написано: ТРУД, и в середине мачта с широким четырехугольным парусом и надписью: СВОБОДА. На верху мачты был флаг с девизом: ИДЕАЛ. На корме было выведено имя триремы: ЖИЗНЬ, и две широкие доски, вделанные в бока корабля, назывались НАУКА и БОРЬБА. Руль корабля назывался: СИЛА ВОЛИ⁴¹.

И вот теперь этот корабль медленно, но верно шел ко дну, завершая мифологическую «одиссею» революционных героев. Беллетристика, подобная рассказам Вернера и Грина, Сургучева и Евтихеева и многих-многих других, несмотря на ее стилистическую, структурную и даже содержательную близость традиционной литературе Подпольной России, больше не была частью одного великого мифа. Эпоха Героев подходила к концу.

³⁸ Эткинд А. Хлыст. — С. 41.

³⁹ *Неизвестный автор*. Корабль-Чародей // Избранные произведения русской поэзии / Сост. В. Бонч-Бруевич. — СПб.: Изд-во М. М. Стасюлевича, 1909. — С. 314.

⁴⁰ *Морской И.* Анархисты будущего (Москва через 20 лет). — М.: Изд-во Вл. Чичерина, 1907.

⁴¹ *Тан*. На тракту. Повесть из жизни петербургских рабочих // Красное и черное. Очерки. — М.: Изд-во В. М. Саблина, 1907. — С. 49.

«КОНЬ БЛЕДНЫЙ»

По унылому полю русской жизни, усеянному мертвыми костями павших борцов, медленно едет всадник на «Бледном Коне»...

В. Львов-Рогачевский, «Поворотное время»⁴²

Если бы спросили меня сейчас в Европе, какая книга самая русская, и по какой можно судить о будущем России, после великих произведений Л. Толстого и Достоевского, я указал бы «Коня Бледного».

Д. Мережковский, «Большая Россия»⁴³

Повести под названием «Конь Бледный» («Русская мысль», 1909) суждено было сыграть решающую роль в развенчании героики Подпольной России⁴⁴. Ее сравнивали со знаменитым сборником «Вехи» (1909), призывавшим интеллигенцию к покаянию. Но если проповедь «Вех» интеллигенция в целом отвергла, «Коня Бледного» она приняла и поняла. Почему? Безусловно, сказалось тут и традиционное доверие к литературе, и сам характер повести, где нет прямой проповеди, есть только монологи героев, и авторская позиция В. Ропшина, не дававшего ответов, но ставившего важные вопросы⁴⁵. И тем не менее читательское восприятие определил еще один принципиально важный в системе субкультуры русского радикализма фактор: читатели интуитивно почувствовали, а потом окончательно убедились, что перед ними — автор с внелитературной биографией, причастный Подпольной России. Такого человека полагалось, по крайней мере, выслушать. С точки зрения радикальной интеллигенции он принадлежал к особой группе критиков подполья, чья позиция коренным образом отличалась от названных авторов «Вех»:

⁴² *Львов-Рогачевский В.* Поворотное время // Современный мир. — 1911. — № 4. — С. 245.

⁴³ *Мережковский Д.* Конь Бледный // Мережковский Д. Большая Россия. — СПб.: Изд-во «Общественная польза», 1910. — С. 19.

⁴⁴ *Ропшин В.* Конь Бледный // Русская мысль. — 1909. — Кн. 1. — С. 1—77.

⁴⁵ Д. Философов предложил эпиграф к «Коню Бледному», заимствованный из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова: «Не думайте, что автор книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества... Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уже Бог знает» (*Философов Д.* Не убий // Московский еженедельник. — 1909. — № 6. — С. 47).

Адресъ редакціи:
С.-П.-В. Итальянская улица,
№ 27.



С одной стороны, обвинители — П. Б. Струве, Булгаков, Изгоев [...], с другой стороны — Ропшин, О. Миртов, Винниченко, Р. Шенталь — свидетели и сами прошедшие через тюрьму, ссылку и эмиграцию⁴⁶.

Вполне логично, что к произведениям последних относились как к документам, всплывшим из недр Подпольной России. Документ — не художественный вымысел и не миф, а реальное свидетельство «о мученичестве, о душевном кризисе, переживаемом современной молодежью, о жертвах, сознательных и невинных, политического террора, белого и красного»⁴⁷.

А. Изгоев приравнял литературный документ (повесть Ропшина) к реальному «делу Азефа», заявив, что лидеры партии эсеров еще идейно не отчитались перед обществом в таких явлениях, как азефовщина или ропшинский *Конь Бледный*⁴⁸. Подобно Изгоеву,

⁴⁶ Львов-Рогачевский В. Поворотное время // Современный мир. — 1911. — № 4. — С. 241.

⁴⁷ Е. С. Документы // Мир. — 1909. — № 8. — С. 56.

⁴⁸ Цит. по: Ропшин В. Письмо в редакцию // Заветы. — 1912. — № 1. — С. 222.

читатели воспринимали повесть Ропшина, весьма неординарную с художественной точки зрения, прежде всего как «документ огромной важности»⁴⁹. Анализируя мнение аудитории «Московского еженедельника», критик журнала В. Поливанов отмечал, что художественная сторона рассказа мало обращала на себя внимание. Публика говорила о другом: повесть написана очевидцем, если не самым главным участником описываемых событий⁵⁰. Еще откровеннее выступил Дмитрий Мережковский на страницах «Речи»: он прямо заявил, что в данном случае интересна не столько сама книга, сколько то, «что за нею»⁵¹. «Биржевые ведомости» в лице А. Измайлова обратили внимание на чуткость российского читателя, выделившего «Коня Бледного» из «серых и тусклых сотен беллетристического хлама»⁵².

Название повести было у всех на устах, и даже дешевый юмористический журнал обыгрывал его, ничуть не сомневаясь, что намек будет понят. Герой юморески, писатель, кричит своей жене:

... у тебя не было бы манто, если бы не мой «Конь павший». Пони-маешь ли ты, о женщина, что твое дикое зеленое манто сшито из благородной шкуры моего павшего коня!⁵³

«Конь Бледный» — апокалиптический образ смерти — точно выражал глубинную суть того, о чем говорил В. Ропшин: конец Героя, конец террора, конец мифического подполья. Интересно, что сам автор намеревался назвать повесть как-то иначе, скорее всего — «Труды и дни». Именно под таким заглавием поступила она в редакцию «Русской мысли». Но к началу публикации повести З. Гиппиус, доверенное лицо и покровительница В. Ропшина, са-мовольно меняет заглавие:

[...] так как вышла какая-то скучная книжка «Труды и дни», то требовалось изменить заглавие. Я остановилась на одном очень одобренном друзьями: «Конь Бледный». Ругайте, как хотите, изменить уже нельзя, поздно⁵⁴.

Ропшинский текст говорил больше, чем намеревался сказать его создатель: апокалиптический Конь Бледный, помимо всего прочего, ассоциировался с окостенением мифологического времени и началом чрезвычайно интенсивной пульсации времени рели-

⁴⁹ Колтоновская Е. Самоценность жизни: Эволюция в интеллигентской психологии // Об-разование. — 1909. — № 5. — С. 107.

⁵⁰ Поливанов В. Больная Россия // Московский еженедельник. — 1910. — № 3. — С. 54.

⁵¹ Мережковский Д. Конь Бледный // Речь. — 1909. — № 265. — С. 2.

⁵² Измайлов А. То, чего не было (Новый роман В. Ропшина) // Биржевые ведомости. — 1912. — № 127. — 1 июня.

⁵³ Счеты (Дачная история) // Белый слон. — 1911. — № 5. — С. 55—60.

⁵⁴ ГАР.: Ф. 5831. Оп. 1. Д. 126. Л. 38.

гиозно-исторического. Самовольно переименовав повесть «Труды и дни» в «Коня Бледного», З. Гиппиус сделала удивительно верный шаг. «Труды и дни» отсылали читателей к одноименному трактату Гесиода, придавая хронотопу повести коннотации безвозвратно прошедшего «золотого века», а также рационализированного и упорядоченного мифологического пространства. «Коня Бледный» разрушал гармонический космос мифа, обещая неотвратимость пришествия неизвестного будущего, столкновение с неведомой реальностью.

Лишь немногие тогда, в 1909 году, точно знали, что В. Ропшин — псевдоним второго человека в Боевой Организации партии эсеров, заместителя Е. Азефа, Бориса Викторовича Савинкова⁵⁵. Ропшин воспринимался как один из тех, кто нес на себе отпечаток моральной чистоты Героя⁵⁶. Искушенные критики высказывали разные догадки по поводу того, кто скрывается под псевдонимом Ропшин⁵⁷ (называли и З. Гиппиус), но в конечном итоге важным оказалось иное: «автор — надо думать, новичок в литературе — случайно схватился за чужую форму, но содержание вложил свое, слишком далекое от обычной литературной выдумки»⁵⁸.

Герой, выносящий приговор Подпольной России, — такого еще не было. При этом Ропшин — «свидетель» кризиса Подпольной России в год публикации «Коня Бледного» продолжал выступать в эсеровской газете «Знамя труда» с защитой террора — здесь уже под своим собственным «героическим» именем. То, что впи-

⁵⁵ Например, адвокат издательства «Шиповник», где в 1909 году велись переговоры об издании «Коня Бледного» отдельной книжкой, объяснил отказ тем, что известно имя автора повести, находящегося вне закона (ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 126. Л. 46). Если верить мемуарам А. И. Гучкова, в год выхода повести он докладывал об этом П. А. Столыпину, называя фамилию автора — Савинков и комментируя в том духе, что повесть отражала «разочарование в своих методах борьбы» левых партий. «По-моему, в этих кругах шло благоверное перерождение, какой-то надлом там шел, разочарование в методах» (Александр Иванович Гучков рассказывает. Воспоминания председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства. — М.: Изд-во журн. «Вопросы истории», 1993. — С. 114).

⁵⁶ Книжные новости // Книжный мир. — 1909. — № 49. — С. 3.

⁵⁷ Так же современные исследователи, осведомленные, что Ропшин — литературный псевдоним Б. Савинкова, гадают об источнике этого псевдонима. Высказываются даже такие предположения: «псевдоним не случаен, с намеками на потенциальное царевубийство: Ропша — так называлась усадьба, в которой был убит Петр III в результате заговора, организованного его женой, будущей императрицей Екатериной II. Царевубийство Савинкову не удалось, зато имя Ропшин стало известным» (Шенталинский В. Свой среди своих. Савинков на Лубянке // Новый мир. — 1996. — № 7. — С. 173). На самом деле псевдоним был предложен Савинкову Зинаидой Гиппиус, принимавшей самое непосредственное участие в публикации повести. Савинков хотел выступить под одним из своих партийных имен — Вениамин. Гиппиус это имя не устроило, и она предложила на выбор два псевдонима: В. Кушелев и Н. Ропшин — «имя, под кот. я один раз, в полной тайне, написала что-то о смерти в Полярной Звезде». (Письма Мережковской Зинаиды Николаевны Савинкову Б. В. — ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 126. Л. 37). В декабре 1908 года Гиппиус меняет инициал Н на В (В Ропшин) — «во избежание всякой возможности даже невероятных соединений» (Там же — Л. 38).

⁵⁸ Кранихфельд В. Литературные отклики: ставка на сильных // Современный мир. — 1909. — № 5 — С. 78.

сывалось в мифологию Героя, оставалось Б. Савинкову, то, что ее разрушало, выразилось в книге В. Ропшина⁵⁹. Писатель Ропшин состоялся только благодаря тому, что за его литературными разоблачениями радикализма стоял авторитет Героя.

Как Савинков-террорист в эпоху *безвременья* был одновременно Героем и Антигероем, так и Савинков-писатель имел двойственную природу. Если В. Ропшин выпадал из сферы влияния Подпольной России, то Б. Савинков — автор художественных мемуаров о БО партии социалистов-революционеров оставался типичным писателем подполья. Сотрудник журнала «Былое» М. Горбунов вспоминал: «В тот самый момент, когда мне приходилось знакомиться с мемуарами Савинкова, а уносить их из собственной квартиры он тогда не разрешал, — на том же столе в его кабинете, за которым я занимался, лежала недавно полученная книжка «Русской Мысли» за 1909 год» — именно та книжка, где печаталась скандальная повесть⁶⁰. А мемуарные очерки, вышедшие в свет параллельно с «Конем Бледным» в партийных изданиях (заграничный сборник «Социалист-революционер», журнал «Былое»), реанимировали мифологию радикализма. Такая раздвоенность Савинкова-писателя в значительной степени объяснялась строгой партийной цензурой, которой полвергались его мемуары. Сотрудник русского политического сыска за границей в своем донесении сообщал, что первые варианты очерков были близки по характеру к «Коню Бледному»:

Появление воспоминаний Савинкова в подобном виде совершенно развенчало бы многих бывших «героев», что, конечно, было не в интересах партии, почему Савинкову был поставлен ультиматум: переделать свои воспоминания по данным указаниям, под угрозой исключения в противном случае из партии. Переделкой этой Савинков занимается по настоящее время (1912 год, когда составлялся рапорт. — М. М.), обрабатывая свои воспоминания, насколько известно, чуть не в двенадцатый или тринадцатый раз⁶¹.

⁵⁹ Раздвоенность Савинкова-Ропшина, казалось, не слишком удивляла современников. Да и не нова она была для России. Вспомним известную притчу о Глебе Успенском (тесте Савинкова): во время предсмертной душевной болезни ему казалось, что он состоит из двух личностей — Глеба — ангела Господня, и Иванныча, представлявшего больному в образе Свиньи. Эту бредовую идею в период *безвременья* использовал Д. Мережковский, превратив ее в универсальную метафору российской интеллигентности. Ужас трагедии, переживаемой российской интеллигенцией, Мережковский видел «не в языческом героизме или простом «сумасшествии» Глеба, а в их слиянии, сращении, в том, что с одинаковой возможностью свинья превращается в ангела и ангел — в свинью» (Мережковский Д. Иванныч и Глеб // Мережковский Д. Больная Россия. — СПб.: Изд-во «Общественная польза», 1910. — С. 43).

⁶⁰ Горбунов М. Савинков как мемуарист // Каторга и ссылка. — 1928. — Кн. 40. — С. 175.

⁶¹ Полный текст доклада полковника Еремина «О террористических планах и вообще об отношении к террору различных заграничных групп и отдельных представителей партии с.-р.» от 22 марта 1912 года опубликован В. К. Агафоновым — эсером, эмигрантом, после февраля 1917 года входившим в состав комиссии по разбору архивов бывшей заграничной агентуры в Париже. См. Агафонов В. К. Заграничная охранка. С приложением очерка «Евно Азеф» и списка секретных сотрудников заграничной агентуры — Пг.: Изд-во «Книга», 1918. — С. 140—141.

«Конь Бледный» такой предварительной цензуры не знал, и благодаря этому мы можем представить масштабы партийного контроля и самоцензуры радикала — вот что они подавляли, вот какую «бомбу» замедленного действия контролировали⁶².

«Конь Бледный» с самого момента своего появления потеснил «Тьму» Л. Андреева, являвшуюся некоторое время символом литературного процесса *безвременья*. Неизвестный рецензент «Нашей газеты» отметил, что с точки зрения жизненности повесть Ропшина куда интереснее и конкретнее «Тьмы». «В ней нет алгебры человеческой жизни, выкладками которой так любит заниматься Андреев»⁶³. Таким же естественным казалось В. Брюсову сравнение начинающего писателя В. Ропшина с опытным мастером Л. Андреевым: «Очень хорош *Конь Бледный*, — писал он Зинаиде Гиппиус 6 февраля 1909 года. — Прочитал его с настоящим наслаждением. Немного *à la* Пшибышевский. Но его недостатки смягчены. По крайней мере в двести раз талантливее любой вещи Леонидаса I»⁶⁴. В студенческом литературном кружке при историко-филологическом факультете Императорского Казанского университета одновременно обсуждали рефераты о творчестве Л. Андреева и «проблемах общественной этики» в произведениях В. Ропшина⁶⁵. Даже партийные публицисты навязчиво увязывали имя Ропшина с именем Андреева:

Если в «Рассказе о семи повешенных» жизнь террористов перед казнью изображена психологически, то в «Коне Бледном» она изображена логически. Андреев рассказывает о том, как переживают террористы то, что они оправдали или оправдывают. Ропшин — о том, как оправдывают террористы то, что они переживают или пережили⁶⁶.

Характерно уже то, что представители партии, официально признавшей террор в своей программе, на страницах партийной газеты рассуждают о проблемах реального террора исключительно на беллетристическом материале⁶⁷. Но еще более важно, что в своем выборе литературного материала они нашли общий язык как

⁶² «Самоцензура — продукт нравственного этоса русского популизма XIX века, требовавшего от радикального авангарда, как носителя новой социальной этики, воплощения ее в личном поведении и служения народным массам в качестве образца» (Келли А. Самоцензура и русская интеллигенция: 1905—1914 // Вопросы философии. — 1991. — № 10. — С. 53).

⁶³ Цит. по: Жуков Д. Б. Савинков и В. Ропшин: террорист и писатель // Наш современник. — 1990. — № 9. — С. 159.

⁶⁴ ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 126. Л. 43.

⁶⁵ Сборник студенческого литературного кружка при Императорском Казанском университете. — Казань: Изд-во Я. Н. Подземского, 1915

⁶⁶ Поморцев. Оправдание террора // Знамя труда. — 1909. — № 18. — 16 мая. — С. 2. См.: Андреев Л. Рассказ о семи повешенных. — СПб.: Изд-во т-ва «Екатеринографское печатное дело», 1909.

⁶⁷ Партия, пришедшая к власти в октябре 1917 года и превратившая террор в государственную политику, так же серьезно относилась к террору беллетристическому. В частности, осе-

с представителями периферии Подпольной России, так и с Россией Легальной. Савинков-Ропшин стал той фигурой, вокруг которой началась перегруппировка сил, проведение новых границ между сжившимся миром Подпольной России и периферией семиосферы России Легальной. Герои его повести-документа — бывшие идеальные герои радикальной интеллигенции — были погружены в саморефлексию, интересную не только радикальной интеллигенции, но и всему обществу. «Да, человек все понявший, но только понявший — это и есть истый «герой нашего времени», герой романа...» — так сформулировала Гиппиус основное качество героев Ропшина, ставших героями *безвременья*⁶⁸. По словам Мережковского, в повести Ропшина отлился национальный литературный стиль начала XX века: «запах динамита, смешанный с апокалипсическим ладаном»⁶⁹.

* * *

Уже на первых страницах повести читатели «Коня Бледного» могли настроиться на встречу с очередным образцом литературы подполья: герои повествования — террористы; один из них, Ваня, довольно типичен, и за ним нетрудно представить Ивана Каляева (что и сделал руководитель партии социалистов-революционеров Виктор Чернов)⁷⁰. Кроме схожести биографий Ваня озвучивал реплики Ивана Каляева и других реальных террористов. Он же произносил ключевую для всей поэтики жертвенного терроризма фразу: «Убить — тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою»⁷¹. В воспоминаниях Савинкова эту же фразу практически дословно повторяют реальные члены БО («Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради, спасет ю», — произносит Мария Беневская)⁷², в рассказах рядовых беллетристов та же фраза присутствует как пароль («Говорят еще: душу свою положи, защищая других...»)⁷³, поэты Подпольной России превратили ее в поэтический штамп:

нию 1918 года из корректурных листов популярного журнала Центросоюза «Объединение» был выброшен набранный отрывок из «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева. Комментируя этот факт в 1922 году, корреспондент «Воли России» очень к месту процитировал старую пословицу: «В доме повешенного не говорят о веревке» (*Постников С. История одного преступления. Советские аутодафе // Воля России. — 1922. — № 1. — 9 января. — С. 12*).

⁶⁸ ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 126. Л. 14.

⁶⁹ *Мережковский Д.* Конь Бледный. С. 2.

⁷⁰ *Чернов В.* Перед Бурей. Воспоминания. — М.: Международные отношения. 1993. — С. 287.

⁷¹ *Ропшин В.* Конь Бледный. С. 5.

⁷² *Савинков Б.* Воспоминания террориста. — Ереван: Изд-во «NB-пресс» совместно с «Аревик», 1990. — С. 201.

⁷³ *Новиков И.* Небо молчало. // Новиков И. Небо молчало. К возрождению. — М.: Изд-во «Творчество», 1918. — С. 5. Рассказ написан в 1906 г.

[...] Мы день и ночь вели в бою, [...] Мы жаждем всю силу, всю душу свою
 Когда не только жизнь свою, — На тот же алтарь положить!⁷⁵
 Мы душу в жертву приносили⁷⁴.

Но первое впечатление проходит, и становится очевидным, что Ваня — не классический герой, вылепленный из штампов, а его товарищ-антипод террорист Жорж, убийца-профессионал, и вовсе необычен.

Только Вани — *террористы религиозно-жертвенного типа*⁷⁶ — воспринимались и отождествлялись с мифологическим Героем. О существовании Жоржей — *мастеров красного цеха* — невозможно было даже помыслить, не разрушив поэтику мифа. Но и сам Ваня у Ропшина не равен Герою. Не говоря уже о том, что он глубоко религиозен и задается вопросами, далекими от революционных программ, Ваня просто не умеет жить⁷⁷. Жертвенность Вани, который «не может жить во имя любви», а может во имя любви только умереть, дискредитировала представление о полноценности жертвы, приносимой Героем. Было очевидно, что жертва Вани с трудом соотносилась с идеальной жертвой, входившей в комплекс радикальной мифологии. Для человека, просто не способного жить, жертва оказывалась самым простым и естественным выходом.

Эта мысль циркулировала в обществе еще до В. Ропшина. В частности, подводило к ней появившееся в печати письмо Н. Климовой, осужденной на смертную казнь за участие во взрыве на Аптекарском острове (осень 1906 г.). Прочитав его, А. С. Изгоев пришел к следующему выводу:

...в действительности лозунг «все или ничего» звучит в искренних душах, как погребальный звон: так как я не могу достигнуть всего, то я должен уйти из этой жизни. И Ницше глубоко понял этот девиз,

⁷⁴ *Геймат Б. Н. Мите // Избранные произведения русской поэзии. / Сост. В. Бонч-Бруевич. — СПб.: Изд-во М. М. Стасюлевича, 1909. — Изд. 5-е. — С. 116.*

⁷⁵ *Тан. Без названия // Там же. — С. 157.*

⁷⁶ К такому типу относились не только предшественники эсеровского террора, не только действительно оригинальный человек Иван Каляев, но, скажем, и вполне «нормативный» герой Егор Сазонов. В 1906 году он писал матери из Бутырской тюрьмы: «Пойми, ради Бога, ведь мы мученики нашей веры, нашей религии: как те отдавали свои жизни за Христа, так мы готовы отдать свою за нашу правду, которая, по-моему, идет от Христа» (Егор Сазонов: материалы для биографии. Письма. Документы. Портреты. — М.: Изд-во журн. «Голос минувшего», 1919. — С. 34).

⁷⁷ Подобному неумению жить В. В. Розанов дал замечательное название — *неполноприродность*. Значение этого точного слова Розанов объяснил на примере В. Г. Белинского: «Белинский был несколько туп... И притом не умественно, а всюю натурою своею. Отсюда и произошло главное в Белинском, главная историческая в нем черта — скитальчество, неудачничество, неумение устроиться вообще жить; увы, — неумение и что-нибудь около себя строить, из себя строить... Отсюда глубокое непонимание Белинским — *быта*, бытовой жизни, объективной жизни, простой жизни, «нашей жизни»» (*Розанов В. В. Белинский и Достоевский // Розанов В. В. О писательстве и писателях. Собр. соч. / Под ред. А. Н. Николюкина. — М.: Республика, 1995. — С. 594*).

когда перевел его словами: погнубнуть в великом и невозможном. Для Климовой убийство других было только средством убить себя⁷⁸.

О слиянии желанья уйти из жизни «вследствие неприспособленности к ней» с героическим самоотречением писал и С. Н. Булгаков в «Вехах»⁷⁹. Героиня «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева, террористка по имени Муся, подобно Климовой, ждала смерти как избавления от жизни, где ей не было места. Но одно дело, когда эти слова и эти образы исходят от публицистов и художников, далеких от подполья, — «обвинителей», и совсем другое, когда о том же свидетельствует один из Героев Подпольной России. Ваня, вызывающий в сознании читателя уже пошатнувшийся образ Героя, как бы демонстрирует огромность дистанции между идеалом и реальным революционером, каким показывает его Ропшин, создавая Ваню именно таким — одновременно Героем и Негероем.

После Ропшина писать и говорить о «неполноприродности» русской радикальной интеллигенции, о двойственном смысле ее жертвы стало легче. Продолжением этой темы стал литературный герой, который с детства жаждал смерти. Политическая борьба была для него лишь «наиболее верным средством отделаться от этой мысли», а теракт — мотивированным самоубийством⁸⁰. Такой герой доводил до логического конца размышления, лишавшие мифологию Подпольной России ее главного мифа — мифа о великой, чистой жертве.

Но и этого мало: Ваня не только покушался на святыню радикальной мифологии. Рядом с ним действовал Жорж — убийца-профессионал. Теоретически жертвенный Ваня мог превратиться в Жоржа. Если он не погибнет во время теракта и совершит еще один, он тоже станет профессионалом. Идеология профессионала проста: «...почему для идеи убить — хорошо... для себя — невозможно?» Такое снижение революционного принципа было особенно наглядно, а потому задевало за живое. На девятом десятке лет старая эсерка Б. А. Бабина, пережившая две революции, две мировые войны и сталинский террор, помнила страшный вопрос Жоржа:

⁷⁸ *Изгоев А. С.* Замаскированное самоубийство // *Русская мысль*. — 1908. — Кн. 10. — С. 164.

⁷⁹ *Булгаков С.* Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // *Вехи*. Сборник статей о русской интеллигенции. (Репринтное воспроизведение издания 1909 года). — М.: Изд-во «Новое время» и журн. «Горизонт», 1990. — С. 42.

⁸⁰ *Миртов О.* Яблони цветут // *Русская мысль*. — 1911. — Кн. 10. — С. 138—193; Кн. 11. — С. 129—179; Кн. 12. — С. 156—216. Нужно сказать, что навязчивая идея смерти сопровождала героя лишь в той части его жизни, когда он собственно и был внешне типичным героем подполья. Перелом наступает в сам момент теракта, когда герой отдает свое оружие подошедшему жандарму. Стебельком, привязавшим его к жизни, оказалась старушка мать. После тюрьмы герой возвращается к ней, потом женится, поступает в университет — одним словом, живет полной жизнью, не вспоминая о терроре

Помните, он проповедовал: «Почему нельзя убить мужа своей любовницы, но можно убить министра? Если вообще можно убить человека, то безразлично, кого и по каким мотивам». Это он нам преподнес в 1909 году. Вся наша эсеровская молодежь была глубоко возмущена⁸¹.

Революционный лозунг «цель оправдывает средства», переформулированный как «идея оправдывает убийство (террор)», долгое время воспринимался без видимого протеста не только в рамках семиосферы Подпольной России, но и за ее пределами. Особенно явно это отношение к террору проявилось в начальный период революции 1905—1907 годов. В 1906 году в Петербургском студенческом литературном обществе обсуждался рассказ Леонида Андреева «Губернатор». Герой рассказа распорядился стрелять в толпу восставших рабочих. Докладчик, студент Т. Прядкин, сравнивает действия Губернатора с поступком Раскольникова. И тот и другой действовали «из теории» (Губернатору Прядкин приписывает теорию «государственной необходимости»). Прядкин поставил перед товарищами вопрос о «теории» как оправдании насилия. Он же предложил ответ: «Человеческая жизнь приносится в жертву, но не огромной и вечной идее, как у Раскольникова, а всего только в жертву государственному порядку»⁸².

События 1905—1907 годов спровоцировали взрыв популярности «Преступления и наказания». В центре внимания публики оказалась основная тема романа — «убийство из идеи». Но «идея» понималась расширительно, вбирая в себя все аспекты радикальной мифологии, оправдывавшие революционное насилие. Комментируя такое, максимально приближенное к насущным проблемам дня, прочтение романа Достоевского, князь Е. Н. Трубецкой связывал его с максимализмом переживаемой эпохи, когда человек осознал себя «обладателем той единой спасающей формулы, которая должна облагодетельствовать человечество...»⁸³. Но даже Трубецкой — либерал в российском воплощении этого понятия — взвешивал, чья «формула» лучше. Индивидуалист Раскольников верит самому себе, своему личному гению, знанию, умению, а террористы верят в непогрешимость партийной идеи⁸⁴. Для читателя

⁸¹ Беседа с Б. А. Бабиной. Записал Н. Бармин // Минувшее: исторический альманах. — М.: Изд-во «Прогресс» и «Феникс», 1990. — Вып. 2. — С. 388.

⁸² Преступление и наказание («Губернатор» Л. Андреева: доклад в студенческом литературном обществе) // Убийство во имя общего блага и смертная казнь. — СПб.: Изд-во «Свобода и Христианство», 1906. — Кн. 12. — С. 8. См. также обсуждение «Преступления и наказания» членами литературного кружка имени Я. П. Полонского 8 декабря 1906 года (Литературно-художественный кружок имени Я. П. Полонского за 1905—6 и 1906—7 гг. Отчет Совета. — СПб.: Изд-во П. П. Сойкина, 1908. — С. 173—199).

⁸³ Трубецкой В. А. Максимализм // Московский еженедельник. — 1907. — № 32. — С. 8.

⁸⁴ Там же. — С. 8—9.

1909 года вопрос ропшинского Жоржа вписывался именно в этот контекст, вызывал ассоциации с Раскольниковым, предлагал новую формулировку проблемы «идейного убийства».

Дискуссии вокруг «мастера красного цеха» вышли на новый уровень, когда интеллигентская аудитория Ропшина осознала значение «идеи» (в расширительном толковании, близком к понятию «революционная мифология») как морального оправдания террора:

«Идея», оправдывающая убийства, нужна была Жоржу не для самооправдания. Нужно было, чтобы «идею» приняли, в той или иной степени признали и Елена, и даже те «купцы, чиновники и попы», у которых друзья Жоржа устраивали ему ночевки и на лицах которых он с злорадным смехом читал «страх и робкое уважение» к себе [...] Этими знаками признания исчерпывалась естественная связь его с миром, и — оборвись она, — жизнь теряет не только оправдание, но и смысл⁸⁵.

Так мысль об ответственности общества за предоставление Подпольной России морального карт-бланша постепенно входила в сознание интеллигенции помимо «Вех». Профессионал от террора Жорж — alter ego жертвенно-религиозного Вани — помогал разобраться в том, что произошло при столкновении «идеи» и революции, мифа и реальности:

Мы знаем, что люди от убийства для идеи переходили к краже денег для облегчения идейного убийства, что сама кража денег тоже сопровождалась убийствами почтальонов, кондукторов, артельщиков, кассиров и т.п. Мы знаем, что постепенно кражи и убийства при них и ради них из «эксов» для идеи превратились в «эксы» для себя. Во всем этом процессе падения со ступеньки на ступеньку разум не мог поставить никакой задерживающей силы. Он отвечал всегда именно так, как Жорж у Ропшина⁸⁶.

Показав, что Жорж потенциально присутствует в каждом террористе, Ропшин убил героя окончательно. Выяснилось, что Ваня и Жорж — не антиподы, а две стороны одного и того же типа революционера-радикала, «два воплощения одного духа, две стороны одного лица»⁸⁷. Принимая Ваню, интеллигенция должна была признать и его alter ego.

В этой ситуации интересен становится персонаж, выпадающий за рамки подполья или пребывающий на нейтральной полосе между подпольем и «верхом». Именно там поместил героя своего романа «Петербург» Андрей Белый. В определенном смысле именно

⁸⁵ Кранихфельд В. Литературные отклики: ставка на сильных // Современный мир. — 1909. — № 5. — С. 82.

⁸⁶ Изгоев А. С. На перевале. Преодоление террора // Русская мысль. — 1913. — Кн. 1. — С. 112—113.

⁸⁷ Мережковский Д. Конь Бледный // Речь. — 1909. — № 266. — С. 2.

Б. Савинков вдохновил его на создание этого романа. От жены Ремизова, Серафимы Павловны, Белый узнал, что «Савинков, глава боевых эсеров, руководил бомбой Каляева; голова его оценена, а он живет в Питере, тайно посещая Ремизовых и жалуясь им на галлюцинацию: тень Каляева-де являлась к нему; его мучает скепсис, и он не верит в свой путь, увлекаясь творениями Мережковского; он ищет религии, могущей ему оправдать терроризм; из слов Ремизовой Савинков конца 1905 года рисуется так, как мною изображен террорист»⁸⁸.

Так бывший всегда однозначным и понятным Герой Подпольной России в момент своей предсмертной агонии трансформируется в полного скепсиса и противоречий героя литературы модерна, вызывает интерес таких ее представителей, как А. Белый, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Волошин. Он становится характерным персонажем культуры «серебряного века», перенося в нее определенные элементы субкультуры радикализма и обнаруживая глубинное родство между этими культурными парадигмами. В результате проблемы, перед которыми оказалась радикальная интеллигенция, предстали в новой перспективе.

В апреле 1911 года журнал «Русская мысль» закончил публикацию романа З. Гиппиус «Чертова кукла». Роман повествовал о «бывших людях», по-разному переживающих кризис и ищущих выход из психологического и идейного тупика в философии, религии и любви⁸⁹.

«*Чертова кукла* З. Гиппиус — это *Конь Бледный* Ропшина, но конь объезженный и приученный ходить под седлом»⁹⁰. В этом комментарии критика подмечены два принципиальных момента: влияние Ропшина на свою литературную наставницу и определенная формализация, остранение, которые претерпели мучительные «ропшинские» темы, переместившись из литературы подполья в область чистой литературы («конь объезженный»).

Влияние В. Ропшина действительно ощущалось в творческой переработке коллизии Ваней-Жоржей. Гиппиус открыто признавала безусловный авторитет Савинкова в делах, касающихся Подпольной России, претендуя лишь на интерпретацию:

Не сердитесь за «плагиат» в Русской Мысли [...] Он был написан еще осенью, конечно не без вас, но тогда, когда я думала, что ни Каляев, ни идеальный террорист, ни ваша манера писать была еще не выработана. Теперь мне за вами не угнаться...⁹¹

⁸⁸ *Белый А.* Между двух революций. Воспоминания. — М.: Худож. лит., 1990. — Кн. 3. — С. 65.

⁸⁹ *Гиппиус З. Н.* Чертова кукла // *Русская мысль*. — 1911. — № 1. — С. 47—102; № 2. — С. 44—96; № 3. — С. 49—103.

⁹⁰ *Львов-Рогачевский В.* Поворотное время // *Современный мир* — 1911. — № 4. — С. 246.

⁹¹ ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 126. Л. 9.

Сам Борис Викторович разделял эту точку зрения, критикуя «Чертову куклу» именно с позиции осведомленного в делах революционного подполья человека:

Юрулю (имя главного героя романа. — М. М.) я дочитал и остаюсь при прежнем мнении: почти единственный, но зато и громадный недостаток романа в том, что Вы взялись за описание среды Вам незнакомой и, быть может, психически слишком чуждой, отчего и не совсем Вам понятной...⁹²

Подобно Савинкову, читатели «Русской мысли» увидели в «Чертовой кукле» дань времени и моде, которая для «общественников», т. е. для людей осведомленных, должна была казаться смешной⁹³. А сами «общественники» на Гиппиус обиделись.

Она ведь говорит о нашей революции, о наших революционерах: их призывает к ответу, их отвергает. Ну, как же не отвергнуть? Посмотрите, в самом деле, в каком свете они представлены, в каком печальном положении пребывают,—

упрекала ее эсеровская газета «Знамя труда»⁹⁴. Партийного критика поразило, что у Гиппиус не было надрыва («...кому драма, а кому смешки — этикие легкие, грациозные улыбочки»)⁹⁵, что она, в отличие от классических писателей Подпольной России, да и ренегата Ропшина, бесстрастно вводила бывших Героев в философско-религиозный контекст, актуальный для людей ее круга. В результате подобных экспериментов Подпольная Россия теряла даже монополию на интерпретацию собственной истории — она осмысливалась в контексте более широких духовных исканий.

В 1870—1880-х годах искусство, и прежде всего литература, помогло выделиться домену Подпольной России, перекодируя целые пласты социального активизма и общественных отношений в образах радикалистского зазеркалья. Российский «серебряный век» сыграл очень важную роль в «расколдовывании» мира Подпольной России, в возвращении его в пределы мира «большого». Экстремизм и фанатизм Подпольной России были осмыслены как частные случаи экзистенциального опыта, личная жертва приобретала вселенское значение прикосновения к точке акме, по сравнению с которым любая непосредственная политическая мотивировка казалась незначительной и нелепой. Подпольная Россия, таким

⁹² ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.

⁹³ Закржевский А. Религия. Психологические параллели. — Киев: Изд-во журн. «Искусство», 1913. — С. 90; Игнатъев И. Литературные отголоски // Русские ведомости. — 1912. — № 224. — С. 2.

⁹⁴ Дикий. На злобу дня. О чертовых куклах и троєбратцах, о мыслях, отдающих запахом «холодных кошек», и прочее // Знамя труда. — 1911. — № 36. — С. 7.

⁹⁵ Там же. — С. 4.

образом, не сдавалась на милость полицейским и обывателям России Легальной, но растворялась в Мироздании, в космосе человеческого опыта и исканий. Это был достойный выход, по сути, единственно возможный для тех, кто ощущал дистанцию между заветами русского революционаризма и практикой партийной борьбы. Не случайно, что именно Б. Савинков, который так остро ощутил и передал этот разлад в своей прозе, символизировал переход наследия Подпольной России в лоно большой русской культуры, нащупывающей новые пути в жизни, искусстве, политике.

М. Волошин, Облики. 1. Ропшин

Холодный рот. Щеки бесстрастной складки,
И взгляд из-под усталых век...
Таким сковал тебя железный век
В страстных огнях и бреде лихорадки.

В прихожих Лувра, в западнях Блуа,
Карандашом, без тени и без краски
Клуэ чертил такие ж точно маски
Времен последних Валуа.

Но сквозь лица пергамент сыроватый
Я вижу дали северных снегов,
И в звездной мгле стоит большой, сохатый
Унылый лось с крестом между рогов.

Таким он был. Бесстрастный и мятежный —
В руке кинжал, а в сердце крест;
Судья и меч... с душою снежно-нежной —
На всех путях хранимый волей звезд!⁹⁶

Новый облик Савинкова-Ропшина импонировал интеллектуалам «серебряного века» гораздо больше, чем образ Героя Подпольной России. Этапы этого удивительного превращения радикального персонажа в персонаж модерна Волошин и зашифровал в «Обликах». В первой строфе Савинков еще ничем не отличается от своих боевых товарищей: его тоже «сковал железный век», его жизнь — развертывание исходно заданного мифологического сюжета. Но поразительный прорыв происходит в третьей строфе: человек — орудие рока — из сферы обыденного бытия попадает в почти трансцендентную сферу. Его фигура проецируется на Космос. Более того, он — не «один из», но уникальный реликтовый зверь, отмеченный особым знаком. В четвертой строфе происходит полное преображение: рок — это отныне он сам («судья и меч»), его судьба связана с высшими силами, но и максимально автономна («хра-

⁹⁶ Волошин М. Облики. 1. Ропшин // Русская мысль. — 1917. — Кн. 11/12. — С. 135.

нимый волей звезд»). Основной нерв модерна — баланс между жизнью и смертью, их эстетизация и взаимопроникновение — все это воплощено для Волошина в Савинкове. «Крест между рогов» — знак избранности, крест в сердце — символ живой веры. Между этими полюсами и возникает накал трагедийности существования Савинкова-Ропшина, характернейшего персонажа культуры модерна, в котором уже почти невозможно узнать черты Героя Подпольной России.

* * *

Такое превращение героя, пусть уже потрепанного революцией и постреволюционной критикой, но все же оставшегося краеугольным камнем мифологии радикализма, поразило Подпольную Россию в самое сердце. Не она теперь задавала правила игры — напротив, представителей подполья вызвали «на ковер», требовали отчитаться за обман, за то, что скрывали правду о Герое. Самое ужасное, что именно человек из Подпольной России передал его в «чужие» руки:

Чужая рука учитывала героический период «коня бледного». Чужая же рука учитывает и его крушение. Умеренно-либеральная «Русская Мысль» открывает свои страницы трагической повести, а г. Философов в «Московском Еженедельнике» торопится сгладить ее трагические углы [...] Так еще раз вскрывается внутреннее сходство сверхиндивидуализма рыцарей «коня бледного» со всеми другими формами современного русского индивидуализма...⁹⁷

Автор этой рецензии, Федор Дан, хорошо понял, какую услугу оказал Ропшин представителям чуждого ему лагеря. Читая его длинную, серьезную статью, посвященную «Коню Бледному», трудно избавиться от мысли, что Дан обращается не к партийной аудитории меньшевистского журнала «Возрождение», а к интеллектуалам «серебряного века»:

Но «граница жизни и смерти» сама по себе еще ничего не объясняет. [...] «Граница жизни и смерти», несомненно, обостряет никогда не исчезающее противоречие между личностью и коллективностью. Но это неумиряющее противоречие, непрерывно возрождаясь, непрерывно же стремится к разрешению, поскольку человек чувствует себя частицей социальной коллективности. И тогда — не «все позволено», ибо коллективность диктует личности свой «закон»⁹⁸.

Разрешение кризиса героя Дан видит в отказе от индивидуального героизма, выросшего из народнической традиции. Новый

⁹⁷ Дан Ф. Закон «беззакония» («Конь Бледный», повесть Ропшина) // Возрождение. — 1909. — № 7/8. — С. 20.

⁹⁸ Там же. — С. 18.

идеал радикального героизма должен выражать социальное движение масс. Прежнего героя уже не вернуть, моральной высоты, на которой он парил, — не достичь. Приходит новая эпоха — эпоха героизма масс. Социал-демократ Дан относительно легко распрощался с бывшим героем, так же как и с делом его жизни — политическим терроризмом.

Социалисты-революционеры — партия, взлелеявшая Героя, но и выдвинувшая из своей среды В. Ропшина, — не могли воспользоваться рецептом Дана. Общий кризис подполья накладывался для эсеров на глубокий внутривнутрипартийный кризис. Его крайне усугубило разоблачение главы БО и члена ЦК партии Е. Ф. Азефа — выдающегося соратника охраны.

Кризис, охвативший партию, является чрезвычайно глубоким. С известной основательностью можно думать, что этот кризис ставит перед партией даже вопрос о самом существовании [...] Моральная связь внутри партии опиралась, главным образом, кроме единства мировоззрения, на созданную совместной борьбой и риском товарищескую близость, традиции пережитого, с одной стороны, и с другой — на непререкаемый моральный авторитет центра партии⁹⁹.

В 1909 году, когда писались эти слова, авторитет ЦК был подорван Азефом, а традиция борьбы, воплощавшаяся в образе героя, больше не существовала. Член БО партии периода ее расцвета, террорист Егор Сазонов — идеальный герой, соответствовавший литературному канону и потому чрезвычайно популярный среди радикальной интеллигенции, в это время отбывал каторгу. От участия в горячих дискуссиях по поводу «Коня Бледного» его удерживало личное знакомство с автором повести, скрывавшимся под псевдонимом. Но в конце концов Сазонов решился и написал реферат, в котором раскрыл псевдоним Савинкова и солидаризировался с его пониманием революционной героики. Шокированные товарищи обратились к Сазонову с двумя вопросами: что же представляют собой те, кого они до сих пор воображали «героями», и к какой группе «воинов» принадлежит он сам?

В результате получилось следующее: я неожиданно приобрел много сторонников (мои письма читались широко). Правда, многие из товарищей продолжают говорить: мы не Вани и не Жоржи, но теперь они уже говорят об этом без презрения и ненависти к В. и Ж. Они поняли того и другого...¹⁰⁰

⁹⁹ Поволжский. Некоторые внутренние причины кризиса // Известия Областного Заграничного Комитета (заграничная организация с.-р.) — 1909. — № 9. — февраль. — С. 4.

¹⁰⁰ Сестре. Письмо от 15 августа 1909 г. // Егор Сазонов: материалы для биографии. Письма. Документы. Портреты — М.: Изд-во журн. «Голос минувшего», 1919 — С. 79—80.

Официальная партия ничего не могла противопоставить Ропшину, да и необходимого морального авторитета у нее больше не было. На V Совете партии в мае 1909 года специально обсуждался вопрос о терроре. Довод о том, что интеллигенция и широкие общественные слои отвернулись от Героя, лишили его своей моральной поддержки и, соответственно, сделали продолжение террора невозможным, вызвал истерическую реакцию защитников террора: пусть с нас сняты «последние лоскутки одежды», пусть нас «теперь все знают без вуали» — «мы скомпрометированы, но террор не скомпрометирован...»¹⁰¹.

Тогда, в 1909 году, центральная партийная газета опубликовала лишь один отзыв на «Коня Бледного», в котором говорилось, что герои Ропшина — неправильные герои, а их мотивация террора — пример того, какой она «не должна быть». Настоящие герои знают, что их оправдание — в любви к людям, к жертве, к новому миру, который они «предварительно обрели в наших мыслях» — напомнил автор статьи азы мифологии Подпольной России¹⁰².

И Каляев, и Климова, и «Бердягин», и Рагозникова, и Фрумкина, и Сазонов и многие, многие им подобные дают право сказать Ване, Генриху, Федору, Эрне, Жоржу (герои повести Ропшина. — М. М.): их дело — не ваше!¹⁰³

Но для радикальной интеллигенции, воспринимавшей литературных героев как совершенных людей, такое противопоставление звучало малоубедительно. Оказалось, что на момент публикации «Коня Бледного» в партии социалистов-революционеров не нашлось ни одного авторитета, способного противопоставить свое понимание кризиса радикализма трактовке Ропшина. Не только повесть сама по себе, но и сложившаяся вокруг нее странная атмосфера недоговоренности порождала смятение в умах и душах партийцев.

М. Чернавский именно в 1909 году собрался вступить в новую боевую группу, которую набирал Б. Савинков уже после разоблачения Азефа. Параллельно он узнал, что автором повести, показавшейся ему «пасквилом на террористов», является тот же Савинков.

¹⁰¹ Материалы V Совета партии по вопросу о терроре см.: Социалист-Революционер. Трехмесячное литературно-политическое обозрение (Париж). — 1910. — № 2 — С. 1—52. Цитировано выступление Гарденина (С. 11).

¹⁰² *Поморцев*. Оправдание террора // Знамя труда. — 1909. — № 18. — 16 мая. — С. 6.

¹⁰³ Там же. — С. 8. В советской историографии повесть Б. Савинкова оценивалась в духе этой первой официальной эсеровской рецензии. К. В. Гусев обвинял Савинкова-Ропшина разом и в «богоискательстве», и в «богостроительстве». По его мнению, в «Коне Бледном» «оплевывалась революция, изображались в самом неприглядном свете террористы, а автор занимался самолюбованием и саморекламой, в то же время отрекаясь от таких истинных героев террора, как Каляев» (*Гусев К. В.* Партия эсеров от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции. — М., 1975. — С. 75—76).

Чернавский решил, что он просто плохо прочитал «Коня Бледного». Но большинство товарищей относилось к повести так же, как и он, — отрицательно. Говорили, что даже «кой-кто из членов ЦК ею возмущены». Растерянный Чернавский обратился за разъяснениями к старому и авторитетному члену партии социалистов-революционеров Л. Э. Шишко. Шишко не только не осудил писателя Ропшина, но и предложил отнестись к «Коню Бледному» как к вполне допустимой форме обсуждения моральных аспектов терроризма. «Меня все-таки смущало почти общее отрицательное отношение к повести», — заканчивает Чернавский свой рассказ¹⁰⁴. Похоже, тогда, в 1909 году, сложный вопрос об отношении к Ропшину, да и к партийным авторитетам, для него так и остался неразрешенным.

На фоне отсутствия внятной реакции партии, к которой принадлежал Ропшин и его литературные герои, расцвела детективная «охота» за реальными прототипами Вани и Жоржа с целью устроить «очную ставку» литературным персонажам с действительными террористами. А так как кружок известных террористов был достаточно узок, то эта задача представлялась вполне разрешимой¹⁰⁵. Даже Ф. Дан начал свою серьезную рецензию с туманного замечания, что, мол, рисуемые в повести факты и имена действующих лиц «неволью вызывают в памяти то, что действительно было», превращая повесть в «правдивые автобиографические мемуары»¹⁰⁶. А партия по-прежнему молчала.

Только в 1912 году, когда партия социалистов-революционеров отчасти оправилась от ударов *безвременья*, сам Виктор Чернов выступил с разъяснением по поводу «Коня Бледного». Он развил старый аргумент о нетипичности героев повести, но центральную для них проблему — на чем основано право одного человека (или организации) убивать другого — признал действительно важной для понимания радикального мировоззрения. Идею безусловной ценности человеческой жизни Чернов квалифицирует как моральный максимализм, время которого еще не настало. Живя в «полузоологическом мире», можно лишь бороться за достижение «морального максимума» в будущем. В настоящем революционер вынужден руководствоваться «моральным минимумом», что само по себе дозволительно только как жертва, только как высшее нравственное усилие: «готовность отдать ради ближних больше, чем жизнь — самую душу, ее чистоту (знакомый мотив из мифологии

¹⁰⁴ Чернавский М. В Боевой Организации (Воспоминания) // Каторга и ссылка. — 1930. — Кн. 8/9 (69/70). — С. 26—27.

¹⁰⁵ Изгоев А. С. На перевале. Преодоление террора // Русская мысль. — 1913. — Кн. 1. — С. 109.

¹⁰⁶ Дан Ф. Закон «беззакония» («Конь Бледный», повесть Ропшина) // Возрождение. — 1909 — № 5/6 — С. 20.

подполья — «душу в жертву». — *М. М.*)...»¹⁰⁷ Даже наиболее близкий к мифологическому образу террорист из «Коня Бледного», Ваня, этого не понимает: он не умеет жить в полузоологическом мире, чем обесценивает свою жертву. Ропшин вульгаризировал Героя, считал Чернов, потому что сам не понимал разницы между моральным максимумом и минимумом. Что касается Жоржа — то он вообще ничего общего с Героем не имеет. Он — не продукт террора, он пришел в него готовым моральным уродом. Трагедия Жоржа есть трагедия частная, он просто перешел свой личный «рубикон совести»:

Перешел, убив на этот раз для себя, личного врага, не имеющего ничего общего с тем, против кого вооружал повелительный голос любви к людям¹⁰⁸.

Чернов пытался защитить Героя посмертно — по крайней мере, хотел реабилитировать память о нем, а заодно — и прошлое своей партии, и радикальной интеллигенции в целом. Но запоздалые и малоубедительные разъяснения ведущего эсеровского идеолога вызвали раздражение как у представителей крайних левых партий, так и у либеральной интеллигенции. «Ренегатством запутанным, трусливым, увертливым и тем не менее систематическим» назвал выступление Чернова В. И. Ленин¹⁰⁹. Как «бухгалтерию человеческой жизни» оценил теорию минимума-максимума А. С. Изгоев, призвав современников м о р а л ь н о рассчитаться с террором¹¹⁰. И никто уже не верил, что Герой по-прежнему жив. На место мифологического Героя пришел «всадник на Бледном Коне», знаменующий наступление «последних времен».

¹⁰⁷ Чернов В. Две бездны // Заветы. — 1912. — № 8. — С. 125.

¹⁰⁸ Там же. — С. 131.

¹⁰⁹ Цит. по: Келли А. Самоцензура и русская интеллигенция: 1905—1914 гг. // Вопросы философии. — 1991. — № 10. — С. 59.

¹¹⁰ Изгоев А. С. На перевале. Преодоление террора // Русская мысль. — 1913. — Кн. 1. — С. 113; 108.

ИСКУШЕНИЕ СВЕРХЧЕЛОВЕКОМ

Если я иду к нечеловеческому миру, к сверхчеловеку, то только по ходу моего движения и будет складываться действительный облик и существо человека, которого самого по себе, без этого движения, не существует.

*Мераб Мамардашвили*¹¹¹

Больше индивидуализма!

*Владимир Кранихфельд*¹¹²

Санин — такой же герой своего времени, каким был Печорин, Базаров [...] В нем свет и тени нового направления.

*Елена Колтоновская*¹¹³

Пьедестал, занимаемый ранее Героем радикальной мифологии, зиял пустотой. Нужно было научиться жить без нормативного Героя, но людям, сформировавшимся под влиянием мифологии Подпольной России, это давалось непросто. Принятие Героя равнялось акту самоопределения интеллигента-радикала как члена передовой социально-культурной общности, и хотя прежний Герой больше не существовал, связанный с ним ментальный стереотип оставался. Он актуализировался, как только на горизонте возник новый персонаж, достойный занять покинутый пьедестал. Вполне в духе радикального сознания на смену Герою пришел Антигерой, или, точнее, — «герой наоборот», сверхчеловек, крайний индивидуалист и эгоист, проповедующий свободную любовь, живущий для себя и презирающий политику. Автором этой инкарнации интеллигентского героя — Владимира Санина — волею случая стал писатель Михаил Арцыбашев, не подозревавший, что ему суждено написать роман, который «сделал эпоху»¹¹⁴. Отдельные

¹¹¹ *Мамардашвили М.* Лекции о Прусте (психологическая топология пути). — М.: Изд-во «Ad Marginem», 1995. — С. 91.

¹¹² *Кранихфельд Вл.* Литературные отклики: Ставка на сильных // Современный мир. — 1909. — № 5. — С. 76.

¹¹³ *Колтоновская Е.* Проблема пола в молодой литературе (Ведекинд и Арцыбашев) // Колтоновская Е. А. Новая жизнь: критические статьи. — СПб.: Изд-во «Самообразование», 1911. — С. 105.

¹¹⁴ *Кранихфельд Вл.* Литературные отклики: Ставка на сильных // Современный мир. — 1909. — № 5. — С. 75.

современники Арцыбашева, сохранявшие способность со стороны оценивать идейные и эстетические зигзаги интеллигенции *безвременья*, совершенно ясно сознавали, что никаких претензий на абсолютное значение своего героя у Арцыбашева не было: «толпа же сама возвела Санина в звание сверхчеловека»¹¹⁵.

В этом смысле роман имел совершенно исключительную судьбу. Сам Арцыбашев утверждал, что роман «Санин» был написан в 1903 году¹¹⁶, но литературная критика, как дореволюционная, так и советская, настаивает на более ранней дате — 1902 год¹¹⁷. Известно, что в 1903 году роман отвергла редакция журнала «Мир Божий» и что вообще в то время роман отказывались печатать, как не соответствующий требованиям момента. До 1907 года «роман приводил в священный ужас редакторов журналов»¹¹⁸, но времена изменились, и в 1907 году «Санина» принял к публикации журнал «Современный мир» (№ 1—5, 9). Через год роман появился отдельным изданием¹¹⁹ и тут же был переведен на французский, немецкий, итальянский, датский, болгарский, венгерский и даже японский языки¹²⁰.

Российские читатели вначале встретили журнальную версию романа с некоторой подозрительностью¹²¹, но уже к концу 1907 года, когда «Современный мир» на время прервал печатание романа, редакцию завалили письмами-требованиями продолжить публикацию «ввиду того что он (роман. — М. М.) дает ответы на важные вопросы жизни»¹²². К 1908—1909 годам Санин сделался кумиром молодой интеллигенции — «героем нашего времени», спасательной палочкой, за которую хватались утопающие¹²³.

¹¹⁵ *Закржевский А.* Карамазовщина. Психологические параллели. — Киев: Изд-во журн. «Искусство», 1912. — С. 119.

¹¹⁶ Michael Artzybasheff, *The Millionaire*, tr. By Percy Pinkerton (London: Martin Secker, 1915), p. 9.

¹¹⁷ *Львов-Рогачевский В.* М. Арцыбашев // Львов-Рогачевский В. Снова накануне: сборник критических статей и заметок. — М.: Книгоиздательство писателей, 1912. — С. 29—66.; *Русская литература и журналистика начала XX века: 1905—1917.* — М.: Наука, 1984. — С. 122. и др.

¹¹⁸ *Кадмин Н.* Наши писатели. М. П. Арцыбашев // Новая Россия. — 1911. — № 4. — С. 23.

¹¹⁹ *Арцыбашев М.* Санин // Арцыбашев М. Сочинения. — СПб., 1908. — Т. 3; *Арцыбашев М.* Санин. — СПб.: Изд-во «Жизнь», 1908.

¹²⁰ Nicholas Luker, *In Defense of a Reputation: Essays on the Early Prose of Mikhail Artsybashev* (Nottingham, England: ASTRA Press, 1990), p. 2.

¹²¹ «Раньше только г. Арцыбашев рискнул однажды (в своем «Санине») поставить вопрос на эту почву (имеется в виду попытка предложить героя-индивидуалиста, отрицающего политическую ангажированность как таковую. — М. М.) да и то дело окончилось скандалом, — хотя все это происходило не так давно — в начале 1907 г. К концу года настроение «улучшилось», и «Санин» мог свободно появиться отдельным изданием» (*Орловский П.* В ночь после битвы // О веяниях времени. — СПб.: Изд-во «Творчество», 1908. — С. 12).

¹²² Записки Д. А. Хилкова о романе Арцыбашева «Санин». — ГАРФ. Ф. 6753. Оп. 1. Д. 177. Л. 1.

¹²³ Современные литературоведы считают, что Арцыбашев стал жертвой социально-политических обстоятельств, так как в момент публикации романа в 1907 году его автоматически

«Я живу и хочу, чтобы жизнь для меня не была мучением [...] Для этого надо прежде всего удовлетворять свои естественные желания» — в этих словах Санина содержалась формула спасения¹²⁴. Вместо жертвы новый герой предлагал наслаждение, вместо самоотречения призывал к «современному эпикурейству»¹²⁵. Жизненная философия Санина не воспринималась интеллигенцией как нечто автономное, каждая мысль нового героя вставала в оппозицию к ценностям героя старого.

Можно с положительностью утверждать, что если бы Арцыбашев не сделал Санина бывшим революционером, окружив его соответствующей бутафорией, то к его детищу не было бы того интереса, какой возбуждает теперь роман среди демократической интеллигентной молодежи (1908 г.)¹²⁶.

Действительно, санинское желание наслаждаться жизнью прочитывалось как прямая оппозиция высокой жертвенности, которая, в соответствии с мифологией Подпольной России, должна присутствовать в «настоящем человеке»¹²⁷. В критических статьях генеалогия Санина затейливо выводилась из Лаврова, Маркса и героев подполья¹²⁸. Найти материал для подобных сопоставлений непосредственно в арцыбашевском тексте было сложно, но роман вписывался в грандиозный метатекст Подпольной России, из которого к тому моменту ушел главный герой. Создатели и читатели этого метатекста стремились заполучить Санина на роль героя, провозглашая, что он «вышел из рядов интеллигенции, да еще самой радикальной». Санин вполне мог стать стержнем нового универсального сюжета: «борьба с радикальной мифологией»¹²⁹. В терминах Подпольной России эта сюжетная эволюция осмысливалась как переход из «политического подполья» в «подполье собствен-

восприняли как выражение переживаемого момента, к чему автор в действительности вовсе не стремился. См.: Nicholas Luker, «Artsybashev's *Sanin*: A Reappraisal» in *Renaissance and Modern Studies*, 1980, v. XXIV, p. 60. Дело не только в том, что Арцыбашев перед публикацией внес в роман поправки с учетом опыта первой русской революции. Для нас принципиально важным является социальное функционирование романа — то, как его прочитали. Поэтому, если с точки зрения литературоведения М. Арцыбашев — жертва обстоятельств, то для нас он — фигура, помогающая разобраться в этих «обстоятельствах».

¹²⁴ Арцыбашев М. Санин // Арцыбашев М. Санин. Кровавое пятно. Рабочий Шевырев. Деревянный чурбан. — Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1990. — С. 78.

¹²⁵ Измайлов А. Банкротство идеалов: Литературный портрет М. П. Арцыбашева // Измайлов А. Пестрые знамена. Литературные портреты безвременья. — М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1913. — С. 6.

¹²⁶ Омельченко А. П. Герой нездорового творчества («Санин» роман Арцыбашева). Реферат. — СПб.: Изд-во «Посев», 1908. — С. 47.

¹²⁷ ГАРФ. Ф. 6753. Оп. 1. Д. 177. Л. 3.

¹²⁸ Рысс П. В пасти дьявола // Русская мысль. — 1913. — Кн. 2. — С. 133.

¹²⁹ Колтоновская Е. Пути и настроения молодой литературы // Колтоновская Е. А. Критические этюды. — СПб.: Изд-во «Просвещение», 1912. — С. 27

ного духа»¹³⁰. От Санина требовали отчета перед товарищами, оставленными в подполье политическом:

Прекрасно, разрушайте. Это полезная работа. Но скажите нам, господин Санин, во имя чего вы ведете эту работу разрушения? Нам это необходимо знать¹³¹.

Эротизм Санина также воспринимался как прямой вызов пуританизму и даже некоей внетелесности прежнего Героя¹³². Рефрен старой песни каторжан «Сбейте оковы, дайте мне волю, / Я научу вас свободу любить» остряки переделали в лозунг санинцев: «Сбейте оковы, дайте мне волю, / Я научу вас *свободно любить*»¹³³. В целом «вопросы пола», поставленные Саниным, рассматривались как психологический зигзаг отчаявшейся интеллигенции эпохи «крушения революционных надежд»¹³⁴. К. Чуковский по этому поводу остроумно заметил, что «русская порнография не просто порнография, как французская или немецкая, а порнография с идеей»¹³⁵.

Интеллигенция обвинялась в утрате коллективной эмоциональной чуткости, некоей соборной отзывчивости, гарантировавших ее от эстетизации низменных половых влечений, столь характерных для нового сверхчеловека¹³⁶. О свободной любви говорили еще герои Чернышевского («Что делать?»), но они «не опускались до животных инстинктов», считая свободную любовь высшим социальным идеалом¹³⁷. У Санина идеалов не было — он просто делал то, что доставляло ему удовольствие.

Санина сопоставляли с другим бунтарем, выдвигавшим в свое время вопросы о свободе любви и свободе личности, — с героем поколения разночинцев Базаровым. В российской интеллигентской традиции Базаров воплощал индивидуализм французских просветителей XVIII века, утверждал Ф. Дан, а потому его индивидуализм по большому счету не противоречит социальности россий-

¹³⁰ Львов В. Из жизни и литературы // Образование. — 1908. — № 9. — С. 42.

¹³¹ Попов В. Модный роман («Санин» М. Арцыбашева) // О веяниях времени. — СПб.: Изд-во «Творчество», 1908. — С. 41.

¹³² В современной научной литературе «Санин» оценивается почти исключительно как типичный роман эпохи возникновения массового интереса к проблеме пола. Даже наиболее талантливые исследования интерпретируют героя Арцыбашева только в контексте «полового вопроса»: Laura Engelstein, *The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1994).

¹³³ Выписка из полученного агентурным путем письма от 1 марта 1909 года за подписью «Ваш Арнольд». — НАРТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 705. Л. 118 об.

¹³⁴ Гершензон М. Литературный отдел // Критическое обозрение. — 1908. — Вып. III (VIII). — С. 35; Пильский П. Критические письма. Письмо 8-е // Женщина. — 1909. — № 20. — С. 19—22.

¹³⁵ Цит. по: Зоркая Н. М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900—1910 годов. — М.: Наука, 1976. — С. 147.

¹³⁶ Войтоволский Л. Текущий момент и текущая литература (К психологии современных общественных настроений). — СПб.: Изд-во «Зерно», 1908.

¹³⁷ Пешехонов А. «Санинцы» и «Санин» // Русское богатство. — 1908. — № 6. — С. 163.

кой интеллигенции, в то время как санинская идеология выросла из субъективного идеализма, чуждого радикальной традиции¹³⁸. Большевистский публицист В. Воровский соглашался с Даном, принимая Базарова как продукт прогрессивного общественного развития и отвергая Санина, чье появление «означает отказ от служения угнетенным классам — в общественной жизни, отказ от императива долга — в личной»¹³⁹.

Народническим коллегам Дана и Воровского ближе оказался другой образ: Базарова они уподобляли «крестьянам-аграрникам», а Санина — «помещикам-поджигателям». Эта метафора, понятная лишь в контексте дискуссий начала века, требует дополнительных разъяснений: «Базаров разгромил «их» хоромы, Санин явился поджигать «нашу» деревню»¹⁴⁰.

Если все же отвлечься от одиозных метафор типа «помещик-поджигатель», станет очевидным, что Базаров потребовался интеллигенции *безвременья* для уяснения сущности санинского отрицания. Базаров выступал как герой-разрушитель, отрицавший существующий порядок вещей. Будучи лишь одним из источников мифологической героики Подпольной России, он абсолютизировал момент отрицания. И вот вновь является герой, символизирующий отрицание. Не путайте его с Базаровым, не признавайте за своего! — пытались убедить радикальную интеллигенцию ее идеологи. Сходство между этими героями — чисто функциональное, на деле Санин отрицает Базарова, да и всю интеллигентскую традицию бунта против власти, государства, социального строя:

Базаров явился тогда, когда мысль искала прежде всего образа синтезирующего ее отрицания. Он и был синтезом этих отрицаний. Санин прежде всего имеет тот же смысл; он прежде всего воплощенное отрицание тех «ценностей», с которыми мы успели сжиться и которые теперь переживают такое испытание. Он поднялся на их обломках...¹⁴¹

Отшвырнув «обломки» радикальной мифологии, Санин звал интеллигенцию в неведомое, требовал нового отношения к жизни, учил жить сегодняшним днем, воспевал красоту, молодость, силу. В ситуации идейного разброда и шатаний Санин предлагал позитивную программу, ясный, а главное — новый идеал.

¹³⁸ Дан Ф. Герои ликвидации: страница из истории русских общественных настроений // На рубеже: К характеристике современных исканий. — СПб.: Изд-во «Наше время», 1909. — С. 102.

¹³⁹ / Воровский В./ Орловский П. Базаров и Санин. Два нигилизма // Литературный распад: критический сборник. — СПб.: Изд-во «ЕОС», 1909. — Кн. 2. — С. 162.

¹⁴⁰ Пешехонов А. «Санницы» и «Санин» // Русское богатство. — 1908. — № 6. — С. 172—173.

¹⁴¹ Россов Н. О старых богах и новых настроениях (Из последних страниц истории русского интеллигента) // Познание России. — 1909. — Кн. 1. — С. 138

Этот герой с его отрицанием самопожертвования, с его равнодушием к общему благу и презрением к революции, два года тому назад был бы предметом общего презрения, теперь он вызывает энтузиазм и собирает вокруг себя толпу подражателей¹⁴².

Автор этих строк нисколько не преувеличивал, когда говорил о массовом подражании Санину. Как и в герое Подпольной России, в сверхчеловеке Арцыбашева тоже хотели видеть воплощение нормативного жизненного алгоритма. «Особенно я оживился и стал жизнерадостным, прочтя Санина Арцыбашева, — признавался студент в 1912 году, отвечая на анкету о настроениях учащейся молодежи. — Сделался в теории на некоторое время санинцем»¹⁴³. По данным анкетирования студентов Петербургского Технологического института, «Санина» там читали запоем¹⁴⁴. В «Русской мысли» З. Гиппиус упомянула о студенте, который спрашивал ее, стоит ли жить по Санину¹⁴⁵. Газеты и журналы печатали отзывы и размышления о новом герое...

Санин воспринимался именно как массовый герой, герой послереволюционного поколения интеллигенции, не причастный мифологии подполья. Сверхчеловек Арцыбашева не был просто литературным героем — подобно своему революционному предшественнику, он занимал уникальную нишу «положительного типа»¹⁴⁶. Принять его или отвергнуть — это не могло быть делом личного выбора: «санинцы» представляли собой общественное движение, так же как их оппоненты. «Порою кажется [...] что это новая, надвигающаяся на нас, полоса жизни», — в ужасе восклицал А. Пешехонов¹⁴⁷. По стране разъезжали лекторы с рефератами о Санине, собирая полные залы. Петр Пильский, журналист, литературный критик и писатель, вспоминал, что после его выступлений часто следовал один и тот же вопрос из зала: «Если Санин не герой, то кто же герой?»¹⁴⁸

Одна из первых московских публичных лекций, посвященных роману Арцыбашева, приобрела скандальную известность. В начале 1908 года в театре «Студия» критик В. Мейстрах читал лекцию «Санин»¹⁴⁹:

¹⁴² Трубецкой Е. Санин // Московский еженедельник. — 1908. — № 17. — С. 21.

¹⁴³ Радин Е. П. Душевное настроение современной учащейся молодежи, по данным Петербургской общественной анкеты 1912 года. — СПб.: Изд-во Н. П. Карбасникова, 1913. — С. 59.

¹⁴⁴ Гусельщиков М. Из студенческой анкеты // Русское богатство. — 1910. — № 6. — С. 98.

¹⁴⁵ Цит. по: Temira Pachmuss, «Mikhail Artsybashev in Criticism of Zinaida Gippius» in *The Slavonic and East European Review*, 1965—1956. V. 44. P. 77—78.

¹⁴⁶ Россов Н. О старых богах и новых настроениях (Из последних страниц истории русского интеллигента) // Познание России. — 1909. — Кн. 1. — С. 136.

¹⁴⁷ Пешехонов А. «Санинцы» и «Санин» // Русское богатство. — 1908. — № 5. — С. 104.

¹⁴⁸ Пильский П. Реакция замужем // Вопросы пола. — 1908. — № 5. — С. 20.

¹⁴⁹ По образованию В. Мейстрах был ветеринарным врачом, что некоторые недоброжелатели «Санина», типа А. Пешехонова, намеренно подчеркивали в своих комментариях: «В

В «Студию» явилась тысячная толпа, билеты были проданы, нельзя было больше впустить ни души, а желающие и жаждущие все ломались и ломались, занимая места, не имея билетов, шумели, кричали, требовали свободных стульев, торопили начало. К ним вышли и спросили:

— Господа, билетов нет, все проданы. Вы не имеете никакого права мешать другим слушать лекцию. Чего хотите вы?

— Нам нет никакого дела до ваших порядков и ваших билетов. Мы желаем слушать о «Санине». А по какому праву? По очень простому: мы сами санинцы!

Лекцию пришлось отменить, а когда ее назначили на другой день (два раза подряд, утром и вечером!), зал был переполнен, у входа стоял усиленный наряд полиции, а желающих слушать было еще и еще много¹⁵⁰.

Помимо публичных лекций нового героя коллективно обсуждали на общественных судах. Инициатором суда, состоявшегося зимой 1909 года в Петербургском университете, выступил студенческий Кружок литературы и искусства. Формально обвиняли не Санина, а М. Арцыбашева по статье 1,001 уложения о наказаниях (распространение порнографии). Обвинительный акт инкриминировал гражданину города Ялты Михаилу Павловичу Арцыбашеву, 37 лет, «издание и распространение сочинения под заглавием «Саннин», в котором автор предлагает не скрывать и не подавлять в себе половых вожделений, а непосредственно удовлетворять их, что объясняется общим взглядом автора на жизнь, как на бессмысленный процесс, не имеющий определенно высокой цели...»¹⁵¹.

Защитник перевел разговор на Санина, объяснив, что он есть воплощение новых этических и философских принципов. Присяжные поставили обвинению добавочные вопросы: «1) является ли учение, вытекающее из романа «Саннин», антисоциальным и оскорбляющим эстетическое сознание? 2) принижает ли учение Арцыбашева высшую форму любви, любовь индивидуальную, до уровня безличной страсти к женщине вообще?» Обвинение эти вопросы опротестовало, и суд их снял. Тогда присяжные заседатели вынесли оправдательный приговор писателю и герою. Нужно признать, что Михаилу Арцыбашеву в общем повезло: на аналогичном студенческом литературном суде Ф. Сологуб был обвинен в пропаганде «противоестественных наклонностей, известных под именем са-

Москве на лекцию ветеринарного врача Майстраха о Санине...». Видимо, Пешехонов хотел намекнуть, что всерьез обсуждать животные страсти Санина может только ветеринарный врач. См.: Пешехонов А. «Санинцы» и «Саннин» // Русское богатство. — 1908. — № 5. — С. 107. На деле Майстрах был довольно популярным лектором по проблемам литературы. В 1909 году только на одной его лекции о Леониде Андрееве присутствовало 600 человек (!) — преимущественно «учащаяся молодежь обоего пола». — ГАРФ. Ф. 63. Оп. 29. Д. 32. Л. 1—2.

¹⁵⁰ Пильский П. Реакция замужем // Вопросы пола. — 1908. — № 5. — С. 19.

¹⁵¹ Е. С. О студентах // Мир. — 1909. — № 9/10. — С. 62.



— Какой странный художник. Нарисовал девушку без костюма и уверяет, что написал картину: После обыска.

дизма» и приговорен к одному месяцу ареста, а его роман «Навычары» — к уничтожению¹⁵².

Публичные лекции и рефераты о Санине, литературные суды, о которых даже комментировавшие их журналисты отзывались с

¹⁵² Е. С. О студентах // Мир. — 1909. — № 9/10. — С. 62—63. Пример столичных студентов нашел отклик в польском обществе. На скамье подсудимых оказалась героиня романа Жеромского «История греха» Ева Побратымская, «виновная в целом ряде преступных деяний — убийстве, детоубийстве и т.д.» См. подробнее: Литературная летопись // Речь. — 1909. — № 145. — С. 5.

отвращением, в конечном итоге сыграли огромную роль в преодолении комплексов интеллигентского радикализма. В отличие от мифологического Героя, никакая критика Санину не вредила: он ни на что не претендовал, это его пытались водрузить на чужой постамент. Санин как тип не нуждался ни в одобрении, ни в отрицании — он был самодостаточен. Не первый среди равных, а единственный и неповторимый.

И хотя Арцыбашев не раз утверждал, что Ницше он не читал и его философию не понимает¹⁵³, российские почитатели романа называли Санина сверхчеловеком, Заратустрой на русской почве. Благодаря Санину в популярный интеллигентский лексикон вошли именно эти слова — индивидуальность, личность, сверхчеловек. По большому счету Санин, конечно же, не был сверхчеловеком Ницше, но в контексте субкультуры российского радикализма он был им — героем, провозгласившим «Бог умер» и занявшим его место.

Не случайно в литературной критике той поры становится популярным противопоставление Санина Базарову, сравнительный анализ двух типов индивидуализма, которые они воплощают. Базаров, в суждениях критики, — нигилист, его индивидуализм строится на отрицании существующих порядков и противопоставлении им своей рациональной личности, он утопичен, а потому «прогрессивен» и не опасен. Санинский индивидуализм — настоящий, он основывается не столько на отрицании общественного устройства (Санин просто асоциален), сколько на утверждении своего «я». Санин не противостоит миру (социальному порядку, режиму, старой интеллигенции), он — в центре мира. Поэтому индивидуализм Санина не открывался базаровским ключиком, он требовал эмоциональных и умственных усилий от читателей и подражателей. Появление Санина для значительной части радикальной интеллигенции ознаменовало эпоху нового индивидуализма, или собственно индивидуализма — «индивидуализма по Sterner'у и Ницше», как записала в дневнике 22-летняя курсистка Е. Сахарова-Вавилова (1908 г.):

Мы росли только под влиянием массы общества, под влиянием современной литературы и прессы [...] Мы остались с отпечатком «социального» мировоззрения, как возмужавшие в момент социально

¹⁵³ Арцыбашев писал, что свои идеи он почерпнул не у Ницше, а у Макса Штирнера, философа анархического индивидуализма. Об этом подробно см.: Nicholas Luker, *In Defense of a Reputation: Essays on the Early Prose of Mikhail Artsybashev* (Nottingham, England: ASTRA Press, 1990). — P. 6—7. Автор этого исследования полностью принимает аргумент самого Арцыбашева, забывая, что на русской почве ницшеанство часто воспринималось вместе с философией М. Штирнера, о чем свидетельствуют не только источники, из которых черпал мистический анархизм, не только публицистика и критика начала века (см., например: Франк С. Современная общественная жизнь: Штирнер и Ницше в русской жизни // Критическое обозрение. — 1909. — Вып. V. — С. 85—89), но и реакция читателей на Санина.

ярко выраженный. Адя выросла и возмущает в момент реакции [...] — налицо другие отношения и другие идеи в обществе, идеи крайнего индивидуализма, которого я еще 3 месяца тому назад не в состоянии была воспринять непосредственно и насчет чего я испугалась, что уже не воспринимаю «новые» идеи...¹⁵⁴

Герой-индивидуалист ставил в тупик не только (а может быть — и не столько!) молодых людей. Н. Минский в 1909 году признавался, что все его поколение несколько растерялось в новой ситуации. Русская литература всегда учила некоей особой правде — ее нельзя назвать просто реализмом. В отличие от литературы европейской, в которой российскому читателю слышалась «фальшивая нота индивидуализма», русские писатели были единодушны в «их отрицательном отношении к культуре, порожденной индивидуализмом»¹⁵⁵. Воспитанная в этой литературной традиции, российская радикальная интеллигенция своеобразно воспринимала и западную литературу. В частности, она умудрилась адаптировать к своим требованиям даже такого «европейского» героя-индивидуалиста, каким был Бранд из одноименной пьесы Генрика Ибсена. В годы первой русской революции «Бранд» переживал пик популярности.

Коль все ты, кроме жизни, дал, —
Знай: весь твой дар ничтожно мал —

выраженный в этих строчках духовный максимализм Бранда заставлял все те качества одиночки-бунтаря, которые открыто противоречили радикальной мифологии. «Бранд — непримиримый враг всякого оппортунизма, и с этой стороны он очень похож на революционера», — рассуждал Г. В. Плеханов¹⁵⁶.

В Бранде русская интеллигенция находит себе не осуждение, а оправдание: да, он терзал других и самого себя, ища добро, сеял зло, других убил и сам погиб. Но он до конца жизни остался верен своей формуле, ни в чем не поступился своим радикализмом. Итак, будем продолжать в том же духе, —

иронически полемизировал с «радикальным» прочтением «Бранда» князь Евгений Трубецкой¹⁵⁷.

И вот в 1909 году имя Ибсена возникает в совершенно новом для русской интеллигентной аудитории контексте: на лекциях типа

¹⁵⁴ Дневник Е. Н. Сахаровой-Вавиловой. — ГАРФ. Ф. 328. Оп. 1. Д. 8. Л. 115.

¹⁵⁵ Минский Н. На общественные темы. — СПб.: Изд-во т-ва «Общественная польза», 1909. — С. 43—44.

¹⁵⁶ Плеханов Г. Генрик Ибсен. — СПб.: Изд-во «Библиотеки для всех» О. Н. Рутенберг, б.г. — С. 3. См. также: Батюшков Ф. Гастроли Московского художественного театра. От быта к символизму // Современный мир. — 1907. — № 6. — С. 277—294; Из жизни // Перевал. — 1907. — № 3. — С. 51—52 и др.

¹⁵⁷ Трубецкой Е. Н. Максимализм // Московский еженедельник. — 1907. — № 32. — С. 4.

«Генрих Ибсен, основные мотивы творчества», все еще собирающих многочисленную публику¹⁵⁸, и в критических статьях норвежский драматург упоминается в одном ряду с немецким философом:

Подобно Ницше и Ибсен — антропоцентричен. [...] Центром дум и помышлений стала человеческая индивидуальность со всем разнообразием своего содержания. Путь от морально-общественного понятия личности к эстетико-философскому понятию индивидуальности — вот путь, по которому шла и идет художественная мысль современности¹⁵⁹.

Как будто старые читатели «Бранда» прозрели и увидели то, что долго оставалось для них покрыто черной пеленой. Но такие «прозрения» не происходят автоматически: требовался герой типа Санина, который бы оправдал индивидуализм для российского интеллигента. И пусть он был чересчур примитивен и груб, но он называл вещи своими именами, вслух говорил то, что боялись произнести его читатели. После Санина уже можно было рассуждать о том, что современная личность «гипертрофированна»¹⁶⁰, «сосредоточена в себе самой»¹⁶¹ и что современный индивидуализм отражает «разложение буржуазного общества»¹⁶² (это в России-то 1909 года). После Санина на страницах журналов и литературных сборников, адресованных не литературным эстетам, а широкой массе читающей интеллигенции, стали возможны произведения о психической потребности человека «жить только для себя, для своего “я”»¹⁶³. Сам Петр Боборыкин, летописец интеллигенции, которому приписывали даже авторство термина «интеллигенция», вслед за Саниным создает своего героя: революционера — в прошлом, порнографического писателя (!) — в настоящем.

Последний эксперимент, проделанный мною в одной из подпольных — в нынешнем смысле — организаций, убедил меня в двух вещах — одной л и ч н о й, другой о б щ е й.

¹⁵⁸ Литературные известия // Книжный мир. — 1909. — № 44. — С. 4.

¹⁵⁹ Неведомский М. Об искусстве наших дней и искусстве будущего // Современный мир. — 1909. — № 4. — С. 183. Похожую закономерность другой автор обнаружил в эволюции исторической мысли: раньше историю понимали как борьбу за власть, потом — как развитие производительных сил и производственных отношений, а теперь — как борьбу «за высшее развитие личности» (Маркелов Г. И. Личность как культурно-историческое явление: этюды по истории индивидуализма. — СПб.: Изд-во т-ва «Общественная польза», 1912. — Т. 1. — С. 1–2).

¹⁶⁰ Гуревич Л. Литература нашего времени // Новый журнал для всех. — 1909. — № 3. — С. 102.

¹⁶¹ Кранихфельд В. Литературные отклики: ставка на сильные // Современный мир. — 1909. — № 5. — С. 90.

¹⁶² Дан Ф. Герои ликвидации: страница из истории русских общественных настроений // На рубеже: К характеристике современных исканий. Критический сборник. — СПб.: Изд-во «Наше время», 1909. — С. 102.

¹⁶³ Потоцкий. Она // Леда. — 1909. — Кн. 1. — С. 70.

Личный вывод тот, что мое «я» не в состоянии подогнать себя под какой-либо уклад, во имя чего бы то ни было отдать себя в добровольные холопы.

Общий итог тот, что в каждом таком сообществе — хотя бы оно было пропитано высочайшим бескорытием и героической готовностью погибнуть за идею — все держится за самообман или за слепую веру...¹⁶⁴

Под влиянием Санина изображения романтических отношений между революционерами-подпольщиками из партийных типографий и конспиративных квартир переносятся в университетские аудитории и на романтические побережья. Там ницшеанки покоряют сердца социал-демократов и проповедают им санинские истины:

Не нужно партий, ярлыков, кличек... Каждый человек должен выразить себя как можно ярче, а партийность убивает индивидуальность...¹⁶⁵

Живу собой, своими думами, радостями. И кажется мне, что так и надо жить, — и что самое главное в жизни: любовь сильная, захватывающая¹⁶⁶.

За всеми этими индивидуалистами и ницшеанками *безвременья* вставала архетипическая фигура Санина. Ему предрекали короткий век: «санинство, ницшеанство быстро прокатятся волной в область прошлого»¹⁶⁷. С «санинством» (но не с ницшеанством) так и случилось: герой Арцыбашева стал последним выражением интеллигентского стремления к тотальному идеалу. Но, будучи по природе своей антиобщественным, он способствовал разрушению ментального стереотипа, связанного с радикальной героикой. Тот, кто прошел весь путь вместе с Саниным, вспоминал о нем с благодарностью: в «санинстве» было немало мелкого и постыдного, но в конечном итоге возобладало то, «что ведет к богатству и к расцвету жизни»¹⁶⁸.

Было взято все, человек был в каменном мешке — и оказалось, что человек невероятно богат, что с тех пор как открылись его глаза — он стал видеть звезды, стал любить небо и к нему вернулась радость жизни¹⁶⁹.

Последний «герой нашего времени» подсказал направление дальнейшего пути: прочь из «каменного мешка» принудительной социальности, партийности — к новой жизни для себя и из себя.

¹⁶⁴ *Боборыкин П.* Переоценка (Из дневника упрядника) // Образование. — 1908. — № 9/10. — С. 7.

¹⁶⁵ *Бегун Л.* Неизбежное // Современный мир. — 1909. — № 4. — С. 100.

¹⁶⁶ *Ивина С.* Марика // Бодрое слово. — 1909. — № 6. — С. 32.

¹⁶⁷ *Морозов Н.* // Куда мы идем? Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусств. — М.: Изд-во «Заря», 1910. — С. 108.

¹⁶⁸ *Абрамович Н. Я.* Подполье русского интеллигентского сознания. — М.: Изд-во «Свободное слово», 1917. — С. 14.

¹⁶⁹ Дневник Е. Н. Сахаровой-Вавиловой, Дневник № 2. — ГАРФ. Ф. 328. Оп. 1. Д. 8 Л. 261.

ВЕТХИЕ ЗАВЕТЫ

Журнал «Заветы» вообще интересен — и только этим он интересен — как явление разложения традиционной идеологии радикальной интеллигенции.

П. Струве, «Почему застоялась наша духовная жизнь»¹⁷⁰

Я все же не могу себе представить передовой интеллигентной группы, а тем более — группы революционной, которая бы прошла мимо всего этого, с упрямо поднятою головой, в белоснежных перчатках партийной догмы, оберегающей брезгливые пальцы от всей этой «современной грязи».

М. О., «Личное мнение»¹⁷¹

Писать об Азефе — значит писать о партии...

А. А. Аргунов, «Азеф — социалист-революционер»¹⁷²

Когда символы подполья лишились своего содержания, обнажилась партийная кристаллическая решетка Подпольной России. Теперь именно партийные структуры удерживали радикальную интеллигенцию от окончательного расплытия. Перед лицом кризиса революционного подполья руководители левых политических партий стремились не допускать энтропийных процессов в партийных рядах: ограничивали доступ информации в партийную прессу, контролировали ее интерпретацию. Наиболее последовательно реализовала эту стратегию партия «нового типа» — партия большевиков. Иначе уберечься от разрушительного вторжения чужеродного влияния было невозможно: бывшие подпольные партии постепенно легализовывали свою деятельность, издавали все больше легальной периодики, отправляли своих представителей в Государственную Думу, участвовали в просветительских и кооперативных организациях, вынужденно реагировали на события, далекие от партийной жизни.

¹⁷⁰ *Струве П.* Почему застоялась наша духовная жизнь // Русская мысль. — 1914. — Кн. 3. — С. 109.

¹⁷¹ *М. О.* Личное мнение // Известия Областного заграничного Комитета. Орган дискуссионный. — 1911. — № 3. — С. 14.

¹⁷² *Аргунов А.* Азеф — социалист-революционер // Провокатор: воспоминания и документы о разоблачении Азефа / Под ред. П. Е. Щеголева. — Л.: Изд-во «Прибой», 1929. — С. 15.

Социалисты-революционеры, более других пострадавшие за годы *безвременья*, предпринимали все возможное для спасения своего тонущего партийного корабля: официальные партийные издания делали вид, что кризиса не существует, на страницах «Знамени труда» систематически велась пропаганда террора, Б. Савинков трудился над созданием новой боевой группы — попытка, закончившаяся трагически¹⁷³. Через центральную партийную газету налаживали более тесный контакт с местными организациями, широко обсуждали вопросы стратегии и тактики партийной работы, по-прежнему запальчиво полемизировали с другими партиями. А в это время «Известия Областного Заграничного Комитета» партии социалистов-революционеров, допуская отголоски внепартийной жизни на свои страницы, публиковали мнения читателей, убежденных, что вопросы этики, эстетики, психологии «имеют гораздо большее значение, чем вопросы тактики, которым посвящен почти исключительно наш партийный орган»:

«Знамя Труда» — почтенное предприятие, над которым добросовестно трудятся почтенные люди. Но ведь могила же это, товарищи, окончательная могила! Тщательно, добросовестно, номер за номером прочел я годовой комплект центрального органа, прочел — и грустно поник головой. Представилось мне поле брани, усеянное трупами. Кое-где еще стонут раненые, которых некому подбирать, а посередине стоит поп и заупокойным голосом читает старое евангелие. И доносится до меня твердая фанатически-менторская фраза т. Н. М.:
— Переживаемый партией кризис есть кризис организационный¹⁷⁴.

К 1912 году официальная верхушка партии сдалась и приступила к выпуску легального журнала «Заветы», специально созданного для ревизии морального и этического багажа «направления». За три года вышло 28 номеров журнала, пока в июле 1914-го он не был закрыт по распоряжению Верховного главнокомандующего¹⁷⁵.

Не статьям ведущих сотрудников, В. Чернова и Иванова-Разумника, был обязан журнал своей популярностью, а тем, что с первого номера «Заветы» начали публикацию нового романа В. Ропшина «То, чего не было» — романа о партии, ее генералах и ее ря-

¹⁷³ Подробно см.: *Городницкий Р. А.* Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901—1911 гг. — М.: Изд-во РОСПЭН, 1998.

¹⁷⁴ *М. О.* Личное мнение // Известия Областного Заграничного Комитета. Орган дискуссионный. — 1911. — № 3. — С. 14.

¹⁷⁵ «Заветы» начали выходить в Петербурге в мае 1912 года. Оба его редактора — В. М. Чернов и В. С. Миролубов — в это время находились в эмиграции, а делами журнала в России ведал ответственный секретарь редакции С. Постников. Позднее в редакцию вошли А. И. Писарев (в 1912—1914 гг. соредaktor), С. Д. Мстиславский и Р. В. Иванов-Разумник. Подробнее см.: *Постников С.* Страницы из литературной биографии Е. И. Замятина / Публ. Р. Янгирова // Ежеквартальник русской филологии и культуры. — 1996 — Т. 2. — № 2. — С. 516—520.

довых, о провокации как родовой болезни партийного мира¹⁷⁶. К тому времени настоящее имя автора нашумевшего «Коня Бледного» ни для кого секретом не являлось: читатели знали, что под псевдонимом «Ропшин» выступает человек, принимавший деятельное участие в террористических выступлениях последнего десятилетия¹⁷⁷. Более того, мемуарные очерки «известного революционера Бориса Савинкова» к 1912 году перепечатали различные газеты, включая даже «Новое время»¹⁷⁸. В связи с появлением воспоминаний террориста-эмигранта в легальной печати Московское охранное отделение допросило секретаря редакции первой из российских газет, поместивших сенсационный материал под заглавием «Записки русского террориста» («Утро России», 1910, № 184, 29 июня). Выяснилось, что парижский сотрудник газеты Н. М. Минский позаимствовал интересный материал из первого номера парижского журнала «Социалист-революционер» (1910)¹⁷⁹. Так из Парижа мемуарные очерки Б. Савинкова просочились в Москву, а оттуда начали распространяться по стране в виде газетных перепечаток. В Петербурге «Записки русского террориста» вышли под еще более сенсационным заглавием «Плеве — Азеф» («Современное слово», 1910, № 895)¹⁸⁰. Только знакомство с этими мемуарными отрывками, посвященными организации покушения на Плеве, убедило начальника заграничной агентуры департамента полиции Л. А. Ратаева в двойной игре его самого выдающегося агента¹⁸¹.

Тему информационного значения литературных выступлений Савинкова развил жандармский генерал А. И. Спиридович, признавший, что роман «То, чего не было» явился «единственным произведением легальной печати, по которому широкая публика могла знакомиться с деятельностью партии и ее героями»¹⁸². К «широкой публике», по всей видимости, относились и сотрудники департамента полиции, по долгу службы читавшие издания радикальной интеллигенции. Они довольно точно определяли специфику революционной, а позднее и разоблачительной беллетристики, исходившей из радикального лагеря. Документальная ценность этих произведе-

¹⁷⁶ *Ропшин В.* То, чего не было (Три брата). Роман в трех частях // Заветы. — 1912. — № 1. — С. 64—82; № 2. — С. 33—55; № 3. — С. 31—46; № 4. — С. 5—43; № 5. — С. 5—20; № 6. — С. 5—41; № 7. — С. 5—47; № 8. — С. 5—40; 1913. — № 1. — С. 83—112; № 2. — С. 13—33; № 4. — С. 11—48.

¹⁷⁷ *Измайлов А.* Хрестоматия новой литературы // Новое слово. — 1912. — № 12. — С. 116.

¹⁷⁸ Как было организовано убийство В. К. Плеве // Литературные вечера. — 1912. — № 2. — С. 117.

¹⁷⁹ ГАРФ. Ф. 63. Оп. 30. Д. 1093. Л. 1, 6—7.

¹⁸⁰ Там же. — Л. 8—9.

¹⁸¹ *Городницкий Р. А.*, С. 160.

¹⁸² *Спиридович А. И.* Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. 1886—1916. — Пг.: Военная типография, 1918. — Изд. 2-е, доп. — С. 520.



ний в департаменте полиции сомнению не подлежала никогда. На профессиональном полицейском жаргоне рассказы и повести обозначались как «статьи», подобно произведениям политической публицистики: «В статье *Избранные Шолом-Алейхема*... трактуется об угнетении евреев в России, несмотря на то, что они безукоризненной честности, и во много раз благовоспитаннее и чистоплотнее христианского простонародья» (из «Заключения» чиновника особых поручений ДП по содержанию журнала «Современник», 1911). Ана-

логично чиновники департамента полиции читали «статьи» М. Горького, И. Вольнова и других беллетристов¹⁸³. Но особенно внимательно они относились к подлинным писателям Подпольной России — писателям с внелитературной биографией:

В статье *По этапам* Инны Р-вой... авторша, неоднократно сидевшая в тюрьме и подвергавшаяся административным высылкам, описывает историю своей высылки в Якутскую область, причем проявляет такую глубокую ненависть к властям и государственному строю и такую непоколебимую свою преданность делу революции, что подобного рода статья, казалось бы, отнюдь не должна бы иметь места в безвозбранно распространяемом журнале¹⁸⁴.

У Савинкова-Ропшина внелитературная биография была еще более яркой, чем у Инны Р-вой, о его действительном положении в партии социалистов-революционеров в департаменте полиции были отлично осведомлены. Можно представить, как внимательно отнеслись к появлению романа «То, чего не было» читатели из этого ведомства.

Подобно сотрудам охранных отделений, широкие слои интеллигенции увидели в очередном произведении писателя-террориста документ — «правду, не сочиненную в кабинете»¹⁸⁵. Во избежание повторений истории с «Конем Бледным», когда партия растерянно молчала, позволяя добывать своего Героя, 22 видных эсеровских деятеля подписали письмо протеста против публикации романа:

В РЕДАКЦИЮ «ЗАВЕТОВ»

Мы, нижеподписавшиеся, просим вас напечатать в ближайшем номере «Заветов» следующее наше заявление.

Являясь друзьями и сторонниками представляемого вами направления, мы не можем отнестись безразлично к помещению на страницах журнала романа Ропшина «То, чего не было». Мы находим, что этот роман является крайне неверной картиной пережитого Россией движения, тенденциозно освещенной, с совершенно чуждой нашему направлению точки зрения. Поэтому ему место по нашему глубокому убеждению не в «Заветах».

Мы делаем это наше заявление, считая нужным ясно подчеркнуть нашу несолидарность в этом направлении с редакцией, решившей поместить произведение Ропшина¹⁸⁶.

Редакция тоже не соглашалась с Ропшиным, но разъясняла, что если «друг и сторонник какого-нибудь направления» вдруг решает

¹⁸³ ГАРФ. Ф 102. Оп. 241. Д. 220. Л. 13—14 18 об, 21 об. — 22.

¹⁸⁴ Там же. — Л. 21 об.

¹⁸⁵ Измайлов А. Хрестоматия новой литературы // Новое слово. — 1912. — № 12. — С. 116; Философов Д. Перелом // Речь. — 1912. — № 303. — С. 4.

¹⁸⁶ В редакцию «Заветов» // Заветы. — 1912. — № 8 — С. 144.

покритиковать прошлое этого направления, то обязан это сделать в «направленческом» издании¹⁸⁷. Роман продолжал печататься.

В личном письме Савинкову секретарь редакции «Заветов» С. Постников сообщал, что «помимо шумящих протестантов есть много друзей романа, которые, не боясь отрицательных сторон, выставленных в романе, считают крайне важным и своевременным рассмотрение тех этических проблем, кот[орые] Вы поднимаете в своем романе». И добавлял от себя лично: «Жму Вашу руку за многие страницы из романа»¹⁸⁸. Но и «шумящие протестанты» не утихали: их новое письмо появилось теперь уже на страницах «Русских ведомостей», где внепартийной аудиторией разъясняли:

По нашему крайнему разумению, картина борьбы во имя дорогих нам заветов изображена в романе в высшей степени односторонне, а вместе с тем карикатурно. [...] В романе они тракуются в духе, вполне чуждом нашему направлению...¹⁸⁹

Так журнал, созданный для преодоления партийного кризиса, сделал его достоянием самой широкой общественности. Читатели и критики внимательно следили за развертыванием конфликта, сильно ослаблявшим впечатление, производимое бодрим тоном «Заветов», и указывавшим на явное неблагополучие «в недрах течения», представляемого журналом¹⁹⁰. Кадетская «Речь» заявила, что, «отрекаясь от Ропшина, партия показала бы, что она не имеет внутренних сил преодолеть его»¹⁹¹. Обозреватель журнала «Современник» удивлялся: мало того, что протест подписали некоторые из действительных сотрудников журнала, оставаясь при этом в составе редакции, но редакция печатает и протест, и очередную порцию романа и еще умудряется солидаризироваться со взглядами «протестантов» на Ропшина:

Еще несколько лет тому назад такое разрешение конфликта было невозможно в органе, служащем определенному направлению, все равно каким бы оно ни было¹⁹².

Очевидно, ломались прежние представления о том, как должен вести себя партийный орган: редакция журнала «Заветы» пыталась сочетать партийность и открытость. Для людей, не посвященных

¹⁸⁷ Ответ редакции // Заветы. — 1912. — № 8. — С. 145.

¹⁸⁸ Письма секретаря редакции журнала «Заветы» (Петербург) Савинкову Б. В. — ГАРФ. 5831. Оп. 1. Д. 299. Л. 4.

¹⁸⁹ Еще о «Том, чего не было» // Вестник литературы — 1913. — № 3. — С. 56.

¹⁹⁰ Вокруг «Заветов» // Бюллетени литературы и жизни. — 1912. — № 8. — С. 374.

¹⁹¹ Вокруг «Заветов» Д. Философов. «Перелом» // Бюллетени литературы и жизни. — 1912. — № 8. — С. 374.

¹⁹² Шеголев П. Протест против романа В Ропшина // Современник. — 1912. — № 12 — С. 382—383

во внутренние соображения редакции, все это выглядело малоубедительно: размышления В. Ропшина, облаченные в художественную форму, вызывали гораздо больше интереса и сочувствия, чем критические выступления В. Чернова или объяснения редакции¹⁹³.

Напряженность читательского восприятия поддерживалась цикличностью публикации романа, растянутого на 11 номеров журнала (9 номеров в 1912 году и 3 — в 1913-м). «Заветы», подобно типичному «толстому» интеллигентскому журналу, сочетали «серьезную часть» с беллетристической и критической. Во времена «золотого века» Подпольной России журналы именно такого типа являлись единственной духовной и умственной пищей радикальной интеллигенции. Их читали медленно, от корки до корки, восприятие беллетристики обуславливалось содержанием программных статей журнала. Аналогичный механизм взаимодействия с читателями стремилась запустить и редакция «Заветов», но, во-первых, между «серьезной частью», где «все как водится, по обычаю», и литературной, где «все лишено уверенности в спасительность избранного пути», существовал слишком очевидный диссонанс¹⁹⁴. А во-вторых, журнал появился на волне кризиса радикальной субкультуры, дифференциации и усложнения читательских вкусов и потребностей. В новой ситуации популярностью пользовались разнообразные «тонкие» журналы с конкретными политическими или эстетическими программами, а также литературные альманахи, преподносившие беллетристику и поэзию вне идеологического контекста, обязательного для «толстых» журналов. Кроме того, в альманахах нарушался принцип цикличности, произведение становилось фактором истории и культуры сразу — здесь и теперь. Это влияло и на характер восприятия новой литературы. Роман Ропшина публика тоже хотела прочесть весь и сразу, торопилась с выводами, подогреваемая анонсами журналистов:

Вот перед вами четыре книжки нового журнала «Заветы» [...] Еще неоконченный роман г. Ропшина, к чему бы он ни привел далее, уже теперь может быть назван изображением такого же крушения революции...¹⁹⁵

23 июля 1912 года подписчики «Речи» узнали, что в очередной порции романа Ропшин «устаами своего героя» вынес решительный приговор террору. 22 октября 1912 года «Речь» сообщала уже об окончании публикации второй части романа и представляла но-

¹⁹³ Львов-Рогачевский В. Без темы и без героя // Современный мир. — 1913. — № 1. — С. 112.

¹⁹⁴ Игнатов И. Литературные отголоски // Русские ведомости. — 1912. — № 188. — С. 3—4.

¹⁹⁵ Там же.

вую, «посвященную судьбе первого брата», и т. д.¹⁹⁶ Определенное удовлетворение чувствовалось в заметке «Русских ведомостей» о прекращении публикации романа: «Всему бывает конец; окончен и роман г. Ропшина *То, чего не было...*»¹⁹⁷ Благодаря этому судорожному стремлению опередить публикаторов, прочитав роман сразу, его восприятие интеллигенцией 1912 года несколько смазлось. Несмотря на обилие рецензий, все они так или иначе носили отпечаток поспешной интерпретации.

Торопились и читатели-эсеры. Критики «Заветов» разоблачали Ропшина, их коллеги в «Знамени труда» старались оперативно печатать разгромные отзывы. Отношения редакции журнала с Савинковым были двойственные: с одной стороны, ему пересылали вырезки из прессы с отзывами о романе¹⁹⁸, намекали на наличие «друзей романа», с другой — всей редакцией обсуждали антиропшинские статьи, выверяли в них каждое слово¹⁹⁹. Очевидно, что «Заветы» приняли «То, чего не было» к публикации не только из желания увеличить тираж и популярность журнала, но и чтобы удержать роман в партийных рамках (что не удалось сделать с напечатанной в «Русской мысли» первой повестью писателя-террориста). Эксперимент не удался: партия больше не контролировала ситуацию. «То, чего не было» читали все: эсеры и социал-демократы, чиновники департамента полиции и отбывающие наказание в тюрьмах и на каторгах политические преступники, кадеты и черносотенцы. И что важно — обходились без помощи партийных толкователей²⁰⁰.

¹⁹⁶ Литературная летопись // Речь. — 1912. — № 199. — С. 3; Литературная летопись // Речь. — 1912. — № 290. — С. 5.

¹⁹⁷ *Изнатов И.* Литературные отголоски // Русские ведомости. — 1912. — № 286. — С. 3.

¹⁹⁸ ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 299. Л. 4, 7, 9.

¹⁹⁹ Это следует из оправдательного письма секретаря редакции С. Постникова от 19 июля 1913 г., где речь идет о конфликте Савинкова с автором статьи о романе «То, чего не было», сотрудником «Заветов», Ивановым-Разумником. Постников сообщает обиженному Савинкову, что статью обсуждали на общем заседании, приводит тонкие замечания членов редакции, предлагавших смягчить или ужесточить те или иные места статьи. См.: ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 299. Л. 10—11. О масштабе конфликтов, возникавших между редакцией и Савинковым, можно судить и по некоторым косвенным данным. Так, он испортил отношения со многими людьми, так или иначе принимавшими участие в публикации его романа в партийном журнале. Например, В. С. Миролубов из доверенного лица Савинкова превратился в его врага. В 1916 году по другому поводу Савинков писал: «Я дошел до того, что как старая публичная женщина продаю себя всем, — даже Миролубову, о котором по «Заветам» у меня осталась весьма нехлестное воспоминание...» (ГАРФ. Ф. 6753. Оп. 1. Д. 12. Л. 12—13).

²⁰⁰ Сложно исчерпывающе охарактеризовать читательскую аудиторию «Заветов». Журнал был адресован прежде всего партийной интеллигенции. Но отклики на публикации «Заветов» регулярно появлялись в социал-демократической, либеральной и консервативной прессе, обслуживавшей интересы широких слоев образованного российского общества. Сотрудники журнала свидетельствовали, что он пользовался популярностью в среде рабочих. Так, секретарь редакции, С. Постников, сообщал: «Расчитанный главным образом на интеллигенцию», «дорого стоящий, рубль за номер, легальный журнал в большом количестве покупался рабочими непосредственно в конторе. В день выхода очередной книжки мы обязатель-

«Возбудил ожидания большой роман Ропшина *То, чего не было*», сообщали обозреватели новых «тонких» журналов²⁰¹. Дон Аминадо вспоминал, как в 1912 году в его кругу «немало спорили, переживали, обсуждали нашумевший роман В. Ропшина *То, чего не было*»²⁰². Другие люди, вдали от европейской России, на Нерчинской каторге, жадно проглатывали те же книги: «читка Андреевских вещей, альманахов и сборников. «Синяя птица», кадетский сборник «Вехи», Ропшинское «То, чего не было»...»²⁰³ Как и писатель В. Ропшин, его новый роман уже никакой партии не принадлежал:

В новом журнале «Заветы» тот же Ропшин печатает сейчас большой роман «То, чего не было», уже известный нашему читателю, где с совершенной определенностью ставится под сомнение все дело революции. [...] Переменились времена, установились новые оценки...²⁰⁴

Времена действительно переменились, что сказалось и в эволюции самого Савинкова-Ропшина. В 1907 году он признавался в своих сомнениях лишь самым близким и уважаемым людям:

«...у меня установился на некоторые вопросы свой, отличный от принятых мнений, взгляд, которым я бы и хотел поделиться с вами, надеясь, что вы поможете мне кое в чем разобраться. Не знаю, как и что будет дальше, но склонен смотреть на многое чрезвычайно пессимистически, особенно в области, касающейся моих занятий. Хочется верить, что ошибаюсь» (из письма к М. А. Натансону от 12. X. 1907)²⁰⁵.

В 1909 году он пишет повесть о терроре и его героях, но партия при этом остается как бы за кадром. Наконец, в 1912 году главной темой Ропшина стала партия.

* * *

В романе «То, чего не было» присутствуют все знаковые элементы, воспринимавшиеся читателями 1912 года как симптомы

но видели в конторе рабочего Литейного завода, который за наличные брал пятнадцать номеров журнала. Путиловцы брали двадцать номеров и т.д. «Заветы» имели на заводах большее распространение, чем бесплатное заграничное издание «Знамя Труда»...» (Янгиров Р. «Заветный друг» Евгения Замятина // Ежеквартальник русской филологии и культуры. — 1996. — Т. 2. — № 2. — С. 480).

²⁰¹ Среди писателей // Обозрение театров. — 1913. — № 1961 (7 января). — С. 14.

²⁰² Аминадо Д. Поезд на третьем пути // Воспоминания о серебряном веке. — М.: Изд-во «Республика», 1993. — С. 402.

²⁰³ Плесков В. В годы неволи и борьбы // Нерчинская каторга: Сборник нерчинского земледельчества. — М.: Изд-во политехноржан, 1933. — С. 148.

²⁰⁴ Измайлов А. Хрестоматия новой литературы // Новое слово. — 1912. — № 9. — С. 127.

²⁰⁵ Columbia University Library, Bakhmeteff Archive, Box # 1, S. R. Party, Savinkov B. V. to Mark Andreevich Natanson P. 3.

кризиса мифологии Подпольной России: террористы («Народовольцы оставили нам легенду: Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов... Герои... Конечно, герои, но почему народовольцы скрыли от нас, что террор не только жертва, но и ложь, но и кровь, но и стыд?»²⁰⁶); партийные руководители, отправляющие молодых людей, почти подростков в террор («можно ли принять эту простую душу, алчущую заклания, — и кто тебе дал право принять ее и поднять на нее жертвенный нож»²⁰⁷); тип террориста-организатора, завершивший галерею психологических типов террористов «Коня Бледного», и т. д. Только одна из прослеженных Савинковым-Ропшиным сюжетных линий имела отношение к темам «Коня Бледного». Вторая и третья, которые разделить можно лишь условно, разворачивали темы провокации и партийной номенклатуры. Основные сюжетные линии пересекались в фигуре центрального героя романа, Андрея Болотова, опытного партийного функционера, который переживает кризис и разочаровывается в партии. Он обвиняет членов Центрального Комитета в симуляции активной работы, в том, что они без сомнения вершат судьбами рядовых партии и, отправляя их на смерть, сами не рискуют жизнями; наконец, в том, что, замкнутые в своем мире и не подотчетные никому, они пригнали провокатора. Болотов отказывается от занимаемой должности в партийной иерархии, идет на баррикады (Москва 1905 года), в террор, учится отношению к жизни и борьбе у повстанцев. Вывод, к которому он приходит, отрицает партию как некую суперструктуру, в которую втискивается реальная жизнь, люди, борьба. В моменты революций суперструктура отпадает сама собой — не партия делает революцию. Партия совершает моральный подлог, выдавая ее за свое достижение.

Роман «То, чего не было» явился во всех смыслах авангардным произведением о Подпольной России. Формально он выглядел чересчур сложным, большим, даже слишком литературным (с точки зрения канона беллетристики подполья, в котором создавались и антиреволюционные произведения). Много параллельно развивающихся тем и героев, несводимых к функциям, толстовская историософия, противопоставляющая сознательную волю личностей народной стихии, интересный сюжет — все это требовало от читателей отношения эстетического. Критики обвиняли Ропшина в подражании Толстому, обсуждали художественные особенности

²⁰⁶ Ропшин В. То, чего не было (Три брата) // Заветы. — 1912. — № 8. — С. 17.

²⁰⁷ Так сформулировал для читателей «Биржевых Ведомостей» эту тему ропшинского романа А. Измайлов. См.: Измайлов А. То, чего не было (Новый роман В. Ропшина) // Биржевые ведомости. — 1912. — 1 июня. — № 127.

романа — подход, не характерный для системы отношений между критиками и писателями Подпольной России²⁰⁸.

И все же роман читали слишком поспешно. В нем сразу узнали темы «Коня Бледного» и бросились их муссировать. Вывод, что «То, чего не было» показывает психологическую и политическую недопустимость террора», в 1912 году уже не требовал от интеллигенции особой внутренней работы²⁰⁹. И даже более смелая формулировка (роман — «крушение революционеров... моральное сознание несправедливости тех путей, которые были избраны как вполне оправдываемые совестью и сознанием»²¹⁰) — не вызывала серьезных возражений. Иванов-Разумник, ведущий литературный критик «Заветов», попробовал было возразить, но его рассуждения прозвучали даже менее убедительно, чем теория морального минимума-максимума В. Чернова.

Вывод Болотова об отсутствии у человека морального права на убийство Иванов-Разумник назвал «до того детским [...] что по-человечески жалко этого славного малого»²¹¹. «Этический индивидуализм», признаваемый революционной партией, зиждется на простом психологическом чувстве, учил Иванов-Разумник. Террорист, революционер не сможет поднять руку на своего личного врага по той же причине, по которой не станет людоедом: «Этому препятствуют вовсе не логические доводы, вовсе не этическая норма, но лишь непосредственное чувство: психология человека и человечества»²¹².

Иванов-Разумник даже «психологию человечества» понимал по-партийному. Но слова меняли свое значение, покидая семиосферу Подпольной России. Так, критик «Русской мысли» рассуждала как раз о недопустимости террора вообще, когда похвалила

²⁰⁸ Плеханов, в 1912—1914 годах близко общавшийся с Савинковым, счел необходимым выступить с открытым письмом в редакцию «Современного мира» и защитить Ропшина от обвинений в подражании Толстому. См.: Плеханов Г. В. О том, что есть в романе «То, чего не было». Открытое письмо к В. П. Кранихфельду // Современный мир. — 1913. — № 2. — С. 82—98. О взаимоотношениях Плеханова и Савинкова см.: Чернаевский М. К характеристике Г. В. Плеханова // Историко-революционный бюллетень. — 1922. — № 2/3. — С. 22—27. Защищая Ропшина, Плеханов заметил, что подражание Толстому все же лучше, чем подражание декадантам. Неудивительно, что рецензия вызвала отрицательные эмоции у литературной наставницы Ропшина — З. Гиппиус. «Кланяйтесь Плеханову. А как я была права! — сообщила она в письме Ропшину от 4 мая 1913 г. — В литературе впечатление от его «защиты» было именно такое: неуместности, как я и ожидала» (ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 126. Л. 111). Так или иначе, новый роман Ропшина стал не только политическим и идеологическим, но и литературным событием. Плеханов, по-видимому, собирался написать новую статью о «То, чего не было». Об этом есть упоминание в одном из писем Савинкова 1916 года. См.: ГАРФ. Ф. 6753. Оп. 1. Д. 12. Л. 19.

²⁰⁹ Львов-Рогачевский В. Без темы и без героя // Современный мир. — 1913. — № 1. — С. 112.

²¹⁰ «Десница» и «шуица» журнала «Заветы» // Бюллетени литературы и жизни. — 1912. — № 1. — С. 43.

²¹¹ Иванов-Разумник. Было или не было? О романе В. Ропшина // Заветы. — 1913. — № 4. — С. 138.

²¹² Там же. — С. 142.

Ропшина за то, что он «интересуется не специально моральной проблемой, связанной с террором, а всей революционной психологией в пункте соприкосновения ее с психологией общечеловеческой» (курсив мой. — М. М.)²¹³.

Критика больше не говорила о болезненном конце революционного Героя или о возмутительном явлении сверхчеловека. Критика довольно сдержанно анализировала этапы героических взлетов и падений, принимая их как данность:

Надо на минуту вспомнить Гапона, Азефа, Матюшенского, чтобы почувствовать, по каким причудливым и фантастическим извилинам потекла в последние годы революционная мысль.

У первого певца нашей революции Степняка-Кравчинского еще нет и намека на этот психологический зигзаг в его славных, простых, немудрящих студентах-идеалистах и милых фантазерках-девушках. Достоевский первый нащупал в «Бесах» психологические выверты и извращения тех, для кого революция стала не только политической верой, но и дойной коровой, теплым пирогом с лакомой начинкой. Андреев в «Тьме» наметил тяжелый и даже трудно постигаемый психопатический излом в надорвавшейся душе террориста, отказавшегося на ложе проститутки от своей чистоты, потому что стыдно быть хорощим, когда есть падшие...²¹⁴ —

и так далее, через Ропшина к Арцыбашеву и опять — к Андрееву и Ропшину. Пожалуй, можно сказать, что с выходом романа интеллигенция окончательно усвоила «Коня Бледного», подтвердив, что «как общественное явление, питающееся соками жизни, террор навсегда подорван, исчерпан»²¹⁵.

Сложнее воспринимались читателями темы партийности и провокации — собственно, оригинальные темы ропшинской книги²¹⁶. А ведь роман печатался на фоне неутраченных разговоров о провокации Азефа, которая в той или иной степени задела пред-

²¹³ Колтоновская Е. А. «Быть или не быть?» О романе Ропшина «То, чего не было» // Русская мысль. — 1913. — Кн. 6. — С. 38.

²¹⁴ Измайлов А. Банкротство идеалов // Измайлов А. Пестрые Знамена. Литературные портреты безвременья. — М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1913. — С. 14—15.

²¹⁵ Колтоновская Е. А. «Быть или не быть?» О романе Ропшина «То, чего не было» // Русская мысль. — 1913. — Кн. 6. — С. 40.

²¹⁶ Для самого Б. Савинкова именно эти темы выражали суть романа. В предисловии к сборнику своих статей о зеленом движении (1920 год) он вместе с издателем составил свою биографию, где о романе «То, чего не было» говорилось следующее: «В нем он вывел в ярких красках всю гниль и грязь подполья, оторванного от народа, далекого от понимания задач и нужд народных, но самоуверенного, самовлюбленного и верящего в свою высокую миссию» (С. М. Б. В. Савинков // На пути к «третьей» России. За Родину и Свободу. Сборник статей Б. В. Савинкова с предисловием и краткой биографией автора. — Варшава: Изд-во Русского политического комитета в Польше, 1920. — С. 7). В автобиографии, составленной Савинковым четырем годами ранее, в 1916-м он очень интересно выразил субъективное значение своих произведений: после «Коня Бледного» «снова взялся за прежние дела», зато после «То, чего не было» «много пил, много любил, много играл и много скучал» (ГАРФ. Ф. 6753. Оп. 1. Д. 12. Л. 38—39) Роман обозначил конец партийного существования Савинкова.

ставителей всех политических течений. Вера Фигнер, после освобождения из Шлиссельбургской крепости примкнувшая к партии социалистов-революционеров, под влиянием разоблачения Азефа покинула ее ряды. Вместе с ней партия потеряла еще одну символическую фигуру, живого героя, столь необходимого в ситуации кризиса партийного и идейного²¹⁷. «Дело Азефа залило грязью наиболее славные страницы нашей недавней истории, поколебало у многих веру в величайшие моральные ценности партии», — жаловалась газета «Знамя труда»²¹⁸. Эсеры оказались под перекрестным огнем, но и подполье в целом стало объектом суровой критики, всколыхнувшей притупившиеся было воспоминания об общественном расколе кануна 1905 года:

Затяжная борьба за политическую свободу разделила Россию на два непримиримо враждебных лагеря. И в каждом из них создалась одна мерка нравственности по отношению к своим, другая к чужим. Лгать позорно, но обманывать, прятаться и надувать правительство почетно. Красть стыдно, но ограбить кассу — молодечество. Убийство есть преступление, но террор — совершенно необходимое героичество. [...] Нельзя безнаказанно установить для себя две правды. [...] Надо, чтобы позорная история с Азефом была последней гранью в подпольной истории русской интеллигенции. Пора избавить общество, а в особенности молодежь, от этой язвы лживости, лицемерия, двуличности, которая особенно опасна именно потому, что она прививается во имя самых высоких, самоотверженных идеалов²¹⁹.

Публицисты из либерального лагеря призывали интеллигенцию извлечь урок из дела Азефа, признать, что и в реакции, и в революции заложены корни провокации²²⁰. Но консервативное «Новое время» обостряло проблему, подчеркивая моральную невосприимчивость подполья: «Первые вожди революции в течение десяти лет вели общее, одно дело с этим человеком, говорили с ним [...], видели его в гневе и радости, в удаче и неудаче[...], — писал В. Розанов. — И все время думали, что он — то же, что они»²²¹.

²¹⁷ В. Н. Фигнер вместе с двумя другими героическими фигурами подполья — П. А. Кропоткиным и Г. А. Лопатиным — входила в комиссию, а точнее — партийную судебную тройку, разбиравшую дело В. Бурцева, переросшее в дело Азефа. До самого последнего момента она отказывалась верить в виновность Азефа, тем сильнее оказался шок, последовавший после того, как Бурцев убедительно доказал предвзятому суду наличие провокации. См.: *Зензинов В. Вера Николаевна Фигнер // За свободу. Издание Нью-Йоркской группы партии социалистов-революционеров. — 1942. — № 8/9. — С. 4.*

²¹⁸ Цит. по: *Мещеряков В. Партия социалистов революционеров («П.С.Р.», партия эсеров): Очерки по истории возникновения, развития и развала П. С. Р. — М.: Изд-во МСНХ «Мосполиграф», 1922. — Ч. II. — С. 70.*

²¹⁹ *Мякотин В. наброски современности: Революция и провокация // Русское богатство. — 1909. — № 3. — С. 169—170.*

²²⁰ *Трубецкой Е. Н. Разложение и оздоровление // Московский еженедельник. — 1909. — № 4. — С. 7.*

²²¹ *Розанов В. Между Азефом и «Вехами» // Новое время — 1909. — № 12011. — С. 3.*

Вопросы эти волновали всех, информации не хватало, и в этом информационном вакууме сложился миф об Азефе, на фоне которого появился роман Ропшина. Азефа обвиняли в смерти тысяч террористов, постоянно сообщали о его гибели при романтических обстоятельствах, «убивали» Азефа и «террористы в косоворотках», но потом он вновь «воскресал» — то в России, то в Уругвае²²².

В деле Азефа правда все больше переплеталась с вымыслом. В. Бурцев, главный разоблачитель Азефа, публиковал документальные разъяснения по поводу нашумевшего дела²²³, а параллельно выходили бульварные издания типа «Великий провокатор Евно Азеф: сказка действительности», где предательства Азефа приписывались его желанию обладать всеми понравившимися женщинами²²⁴. «Создаются мифы и легенды», — возмущался автор статьи об Азефе в «Знамени труда»²²⁵, не о фактах, а о «достоверных слухах» говорили журналисты «Речи»²²⁶.

Беллетристика мгновенно подключилась к мифологизации дела Азефа: подобно тому как ранее литературные мифы компенсировали отсутствие достоверной информации о Подпольной России, теперь они заполняли информационную брешь в деле двойного агента. Газеты одновременно предоставляли свои страницы отчетам о думских слушаниях по делу Азефа, «достоверным слухам», исходившим как из правительственных, так и из революционных источников, и художественным повествованиям о провокаторах²²⁷. На пересечении этих конкурирующих дискурсов и должна была проявиться правда о деле Азефа.

Сестра предшественника Е. Азефа по провокации в народнический период — Сергея Дегаева, Н. Маклецова (Дегаева), вос-

²²² Письма Азефа / Публ. и примеч. Д. Б. Павлова и З. И. Перегудовой // Вопросы истории. — 1993. — № 4. — С. 101.

²²³ В 1912 г. российские читатели даже познакомились с интервью, которое Бурцев взял у Азефа после разоблачения. В 1909 г. Азеф скрылся, его «искали» эсеровские боевики, но безуспешно. Бурцев же нашел Азефа и встретился с ним во Франкфурте-на-Майне. См.: Исповедь Азефа // Бюллетени литературы и жизни. — 1912. — № 2. — С. 96—98; Свидание Бурцева с Азефом // Русские ведомости. — 1912. — № 183. — С. 3.

²²⁴ Великий провокатор Евно Азеф: сказка действительности. — СПб.: Изд-во «Пушкинская скоропечатня», 1909.

²²⁵ Например, в этой статье показано, как возник широко тиражировавшийся образ «Азефа Великого»: в интервью французским журналистам И. А. Рубанович сообщил, что в партии Азефа называли «толстый» — «gros». Журналисты русского «Нового времени» спутали французское gros с немецким gross (большой, великий) и партийная кличка провокатора превратилась в «Азеф Великий». Вскоре демократический журналист Тан опубликовал целую статью под заглавием «Азеф Великий», ну а за ним этот образ был подхвачен бульварной прессой (Тучкин В. Евгений Азеф // Знамя труда. — 1909. — № 15. — С. 2).

²²⁶ Еще об Азефе (Письмо из Парижа) // Речь. — 1909. — № 26. — С. 3

²²⁷ См., например, один из мартовских выпусков «Русских ведомостей», где официальная информация по делу Азефа соседствовала с рассказом Евгения Лундберга «Предатель». Рассказ о провокаторе занимал 1,5 газетных листа, что было очень много для газеты такого формата. Обычно под беллетристику «Русские ведомости» отдавали максимум один подвал. См.: Лундберг Е. Предатель // Русские ведомости. — 1909. — № 72. — С. 3—4.



пользовалась ситуацией для того, чтобы в беллетристической форме реабилитировать своего брата²²⁸. «Предатель. Повесть из жизни “Народной воли”» — так называлось это произведение о студенческой молодежи, увлеченной романтикой террора, о конспиративном существовании, о том, как использовали революционеры обман и провокацию в своих целях. Член Исполнительного Комитета попадает на удочку к следователю, предложившему объединить усилия полиции и подполья для давления на правительство. О существовании этой договоренности знают товарищи предателя, не знают они лишь масштабов его провокаторской деятельности. Когда же провокация вскрылась, предателю было поручено убить следователя, что он и сделал с помощью двух молодых студентов²²⁹. Узнаваемость сюжета и известное радикальной интеллигенции имя автора способствовали тому, что повесть

²²⁸ Фактически Н. Дегаева писала о двух своих братьях. Известно, что вначале Володя, младший Дегаев, сотрудничал с Судейкиным, числясь в «Народной воле» собственным информатором. Поскольку он работал на партию, в сыске Володя был достаточно бесполезен и Судейкин от него избавился. См.: *Лазарев Е. Е. Из воспоминаний // Воля России (Прага). — 1923. — № 4. — С. 17—18.* В повести Дегаевой, помимо провокатора — члена Исполнительного Комитета, действует еще один провокатор. Он специально направлен партией на работу в политический сыск как партийный информатор.

²²⁹ *Маклецова (Дегаева) Н. Предатель. Повесть из жизни «Народной воли».* — СПб.: Изд-во т-ва «Вольная типография», б. г.

восприняли как документ: «читатель не с художественными запросами обратится к этой книге».

Выступая теперь с «повестью», г-жа Маклецова-Дегаева под весьма прозрачными псевдонимами изображает перипетии отношений между С. П. Дегаевым и Судейкиным; в действующих лицах повести не трудно узнать и некоторых деятелей «Народной Воли» [...] Общая идея повести...: если бы Дегаеву удался его авантюрный план, то все предательства, все жертвы были бы ему прощены. Однако автор, по-видимому, сам чувствует, что предательство не оправдывается даже успехом; он пытается объяснить поведение Дегаева условиями момента и нравами среды...²³⁰

Н. Маклецова (Дегаева) поместила своего героя-provokatora в самый центр партийной администрации, в то время как большинство ее современников увязывало provokacию с террором, с существованием боевых групп, «построенных на основе почти неограниченного индивидуализма и безусловной таинственности»²³¹ и находящихся на особом положении вне досягаемости партийного и общественного контроля²³². По-видимому, именно к этой группе критиков обращался Борис Савинков со страниц партийного издания:

Скажут еще: в террористической организации всегда будет свой provokator. В заговоре — темно, в темноте все неясно и скрыто. Террор немислим, — он обречен на жертву provokатуре.

Кто говорит так, тот забыл историю России. Вспомните Народную Волю. Был Дегаев, но было и первое марта. [...] Вспомните еще раз, без тревоги и гнева, всю цепь террористических актов последних годов и скажите по совести: всегда и везде, во всякой террористической организации был provokator? [...] Не будет Азефов, будет террор²³³.

Так говорил Савинков в то время, когда Ропшин разоблачал террор на страницах «Русской мысли». Так говорил человек, плечом к плечу работавший с provokатором и ничего не заподозривший. Естественно, Савинкову не верили — слушали Ропшина. Как когда-то под влиянием ропшинского Вани беллетристы писали о

²³⁰ *Ольминский М.* Н. Маклецова (Дегаева). Предатель // Образование. — 1907. — № 6а. — С. 107.

²³¹ *Норданский Н.* Терроризм и provokация // Современный мир. — 1909. — № 2. — С. 158.

²³² Нам удалось обнаружить лишь один пример беллетристического provokatora — члена ЦК партии. Provokатором оказывается старый революционер с огромными заслугами перед партией. Но улики неопровержимы, и ЦК приказывают рядовому рабочему-партийцу убить provokatora. Для рабочего такое решение ЦК стало величайшей трагедией, так как provokator долгое время был недосыгаемым идеалом, кумиром рабочего. В ужасе он кричит членам ЦК: «Нет веры ни в кого, уверенности нет! Почему я знаю — может быть и вы все завтра окажетесь предателями...» (*Струг А.* От руки друга / Перевод с польского // Современный мир. — 1909. — № 5. — С. 85—106).

²³³ *Савинков Б.* Террор и дело Азефа // Знамя труда. — 1909. — № 15. — С. 12.

психически нестабильных террористах, с детства живших идеей самоубийства, в новой ситуации они создавали персонажи, у которых с детства же наблюдалось раздвоение личности. Герой одного из «провокаторских» рассказов прослеживает свое «нравственное уродство» с самого момента рождения, который он якобы помнит. Запутавшись в психологических тонкостях младенческого возраста (собственно, рассказ обрывается после подробного описания момента рождения и первой недели жизни), писатель устами своего героя признается:

Ублюдочное творение, нравственная физиономия которого слагается из двух совершенно противоположных личных начал, да еще с прибавкою какого-то уже совсем безличного начала — слепого и жалкого, это такой экземпляр человеческой природы, сложную и запутанную психику которого я не могу понять, как не понимаю самого себя²³⁴.

Гораздо более серьезно подошла к созданию мифа о провокаторе уже знакомая нам Софья Александровна Савинкова, мать Савинкова-Ропшина. В 1912 году в печати появился ее рассказ «Один из них», где собрана вся информация об Азефе, доходившая до обывателя. Миф о жизни провокаторов таков: это довольно узкая компания людей, лично знакомых друг с другом. Периодически они собираются на банкеты и хвастаются удачными делами и высокими заработками. Самый удачливый провокатор в этой компании — «знаменитый Зуф» (прозрачный намек на Азефа). «Достичь таких денег. Столько лет не прорваться! Ездить по всей Европе в экспрессах! Кататься на автомобилях! Держать кокаток... иметь полные карманы золота от обеих сторон и обманывать и тех и других»²³⁵. Этот рассказ С. Савинковой, основанный на мещанском представлении о подполье, напечатал солидный журнал «Современник», видимо рассчитывая, что матери знаменитого террориста известно больше других. «Банальный рассказ и банальный конец — говорит читатель. Ничего не может возразить ему и критик...» — признается на страницах журнала А. Измайлов. И тут же спешит обезопасить себя. «Банальна жизнь, — возражает Савинкова, — и за писательницей нельзя не признать известного резона. Возможно, если бы она захотела, она могла бы написать вместо фиктивного имени студента Сергея чью-то настоящую фамилию, с которою все именно так и было, как рассказано»²³⁶.

²³⁴ Рассказ Боршевского «Жизнь провокатора». — ГАРФ. Ф. 1167. Оп. 1. Ч. 1. Д. 4684. Л. 1—12.

²³⁵ Савинкова С. Один из них // Современник. — 1912. — № 5. — С. 118.

²³⁶ Измайлов А. Хрестоматия новой литературы // Новое слово. — 1912. — № 8. — С. 119.

Нечего говорить, что от самого Бориса Викторовича ждали не «мифов», а объективной информации, и, на первый взгляд, Ропшин обманул ожидания читателей. Готовые увидеть в его романе Азефа, они получили провокатора доктора Берга, совершенно непохожего на знаменитого руководителя Боевой Организации. Доктор Берг не имеет ни малейшего отношения к террору, он просто один из членов ЦК партии. Внешне он написан явно по контрасту с Азефом: Берг лысый, высокий, прямой, в воротничках до ушей²³⁷. Скорее, Берг похож на самого Савинкова. Савинков разводит Азефа и Берга, представляя последнего как закономерный результат безответственности партийных лидеров перед рядовыми революционерами, как естественное следствие идеализации партийными массами своих руководителей. В то же время провокация присутствует на всех уровнях партийной иерархии. Ропшин воспринимает ее не как сенсацию, уникальный феномен, а как неизлечимую болезнь Подпольной России.

Отделив Берга от террора, Савинков не пощадил сам террор как систему²³⁸. Герой романа, член ЦК Болотов, вступивший в Боевую Организацию, обнаруживает, что боевая работа, к которой он так стремился именно как к работе очистительной, напоминает «обыкновенную филерскую службу»²³⁹. Везде, на любой ступеньке партийного здания, живет провокация. Ее причина — в самой природе политического подполья.

Раньше ту же мысль, правда гораздо менее талантливо, пыталась донести до интеллигенции Н. Дегаева — у нее не получилось. А вот Ропшина услышали. Журнал «Русское богатство» тут же предоставил свои страницы для тюремных очерков, автор которых особенно подчеркивал эсеровскую ненависть к партийным генералам, «ненависть к партии и партийным руководителям»²⁴⁰. Г. В. Плеханов опубликовал отзыв на роман, где весьма обстоятельно проанализировал то разочарование в методах борьбы и в рево-

²³⁷ Портрет доктора Берга см.: *Ропшин В.* То, чего не было (Три брата) // Заветы. — 1913. — № 1. — С. 86. Ср. с портретом Азефа: «...круглый, шарообразный череп, выдающиеся скулы, плоский нос, невообразимо грубые губы, которых не могли прикрыть скудно взращенные усы, мясистые щеки, всерасширяющееся от нижней части лба лицо...» Эта характеристика принадлежит финскому революционеру Циллиаксу. Цит. по: *Бурцев В. Л.* Как я разоблачил Азефа (из воспоминаний) // Провокатор: Воспоминания и документы о разоблачении Азефа. — Л.: Прибой, 1923. — С. 261—262.

²³⁸ Интересно, что в своих публицистических выступлениях Б. Савинков отделял Азефа от террора именно для того, чтобы защитить террор: «Не Азеф создал террор, не Азеф вдохнул в него жизнь. И Азефу не дано разрушить тот храм, которого он и не строил» (*Савинков Б.* Террор и дело Азефа // Знамя труда. — 1909. — № 15. — С. 12).

²³⁹ *Ропшин В.* (*Б. Савинков*). То, чего не было (Три брата) // Заветы. — 1912. — № 7. — С. 17.

²⁴⁰ С. За железной решеткой // Русское богатство. — 1912. — № 7. — С. 60—61.



люционных структурах, к которому пришел Болотов. Для Плеханова объяснением всему являлось несовершенство теоретических «заветов» самого Ропшина, заветов эсеров. Разрешить проблему личности и партии может «только современная нам *алгебра революции*, т. е. марксизм», считал он²⁴¹.

Хранители эсеровских «заветов» хором обвинили Ропшина во лжи. Но при этом партийные рецензенты очень точно вычленяли именно те «неверные» моменты в романе, которые касались темы партийности: Болотов жил в узком партийном мире и не знал настоящей народной жизни; его психологией была психология партийного хозяина, ухаживающего за своим «цветущим хозяйством»; члены ЦК написаны Ропшиным без всякой симпатии, революция для них — «арифметическая задача»; свои суетливые собрания они считают «тяжким бременем управления партией»; они высокомерно санкционируют или запрещают восстание; партийная рутина — «мышинная беготня» и т. д. Собирая столь подробный каталог антипартийных выпадов Ропшина для того, чтобы сказать: «ложь все это. И большая», эсеровский критик продемонстрировал особую чуткость именно к этим аспектам сложного и многопланового романа²⁴².

На фоне проявленной комментаторами чуткости кажется странным, что ни автор процитированной рецензии, ни Иванов-Разумник, ни Плеханов, ни другие партийные и беспартийные критики не восприняли ропшинской интерпретации феномена

²⁴¹ Плеханов Г. В. О том, что есть в романе «То, чего не было» // Современный мир. — 1913. — № 2. — С. 85

²⁴² Ритина Ин. О Ропшине и его романе // Знамя труда. — 1912. — № 45 — С. 11—15.

провокации. Видимо, отказавшись отождествить это явление с личностью Азефа, Савинков-Ропшин зашел слишком далеко, противореча канонам беллетристики подполья. Он преодолел однозначность этой беллетристики, заменив примитивную личность-функцию, героя—носителя сюжета сложным художественным образом. Ропшин обогнал своих читателей, предложив им то, что они не были готовы «переварить».

Роман писателя-террориста, отразивший не только крушение Героя, но и предложивший противоречивый образ Подпольной России в ее мифологическом и конкретно-историческом воплощении (система нелегальных политических партий), оказался понят лишь наполовину: настолько, насколько он развивал и завершал темы «Коня Бледного». Правда, в ходе публикации романа становилось все очевиднее, что он направлен и против других, не затронутых в «Коне Бледном» «ветхих заветов» подполья. Проблема личности и партии, вопросы о самой возможности подпольного функционирования массовой партии и о сочетаниях легальных и нелегальных методов борьбы, о роли «маленького человека» в организации всероссийского масштаба — все это было в тексте Ропшина, но медленно, трудно и долго завоевывало место в сознании российского читателя.

Часть III

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»

Клонящаяся к закату античность не верила больше ни в богов Гомера, ни в подлинный, первичный смысл мифов... Она стала «культурным наследием».

Мирча Элиаде, «Аспекты мифа»¹

Если тексты, подобные произведениям В. Ропшина, условно можно сравнить с центрами сейсмического возмущения, то жизненно-литературный контекст, в котором они создавались и бытовали, правомерно уподобить сейсмически активной зоне. В рамках этой зоны информация (образы, идеи, сюжеты), содержащаяся в наиболее значительных текстах, проходила через фильтры менее оригинальной беллетристики, превращаясь из открытия в штамп. «Наличие и особенности феномена понимания идеи определяются тем, как эта идея стимулирует создание претендующих на ее воспроизведение текстов»². Идеи и сюжетные находки разрушителей радикальной мифологии породили целую волну подражания. Литература о «коренной перемене в психологии революционных деятелей, о трещине в старом подпольном укладе» создавалась не менее интенсивно, чем в свое время — классическая литература Подпольной России³. Как и ранее, когда «над гражданско-воинственной беллетристикой поры 1905—1907 года у нас исключительно работала молодежь»⁴, начинающие авторы хватались за новые образы и формы, заданные более значительными писателями *безвременья*.

Совместными усилиями они изменили не только литературный канон, растиражировали новые темы, но и изменили саму систему отношений между радикальной интеллигенцией и *ее* писателями. Беллетристику по-прежнему читали не только ради эстетического удовольствия, но, как показывает, например, анкета журнала «Современный мир» за 1910 год, все большее число интеллигентных подписчиков раздражала партийная узость и идейная ограни-

¹ *Элиаде М.* Аспекты мифа. — Ульяновск: Изд-во «Инвест-ППП», 1995. — С. 158.

² *Мухелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А.* Постижение VERSUS понимание. Понимание через текст. // Труды по знаковым системам. XXIII. Текст — Культура — Семиотика нарратива. — Тарту, 1989. — С. 3.

³ *Колтоновская Е. А.* «Быть или не быть? О романе Ропшина «То, чего не было» // Русская мысль. — 1913. — Кн. 6. — С. 29—30.

⁴ *Измайлов А.* Банкротство идеалов (Литературный портрет М. П. Арцыбашева) // Пестрые знамена: литературные портреты безвременья. — М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1913. — С. 13.

ченность как писателей, так и редакторов беллетристических отделов «толстых» журналов:

Или вы признаете свободу, независимость своего художественного отдела — и тогда отчего у вас нет Брюсова, Блока, Белого и других талантливых и порою глубоких поэтов и многих беллетристов? Или же если вы и в беллетристике журнала хотите проводить свои идеи, — тогда произведите чистку и превратите журнал в мертвое кладбище...⁵

В отзывах критиков постепенно утверждался пренебрежительный тон по отношению к классической литературе Подпольной России. Назвав беллетристику народнического журнала «Русское богатство» ходульной и фальшивой, критик уточнял, что имеет в виду беллетризацию «ссылных, тюремщиков, смертников, необыкновенных честных студентов, умирающих «на тифе», необыкновенно благородных студенток, отказывающихся от любви и счастья ради «дела» [...] Все это — куда как благонамеренно, либерально и благородно, помилуй Бог, — до чего скучно!...»⁶

Настоящие писатели Подпольной России теряли свою аудиторию. Некоторые критики даже выражали сожаление, что к ним — «авторам фальшивых и слащавых гражданских напевов» — когда-то применялось слово «поэт»⁷. Рекламируя новое произведение писателя Д. А. Линева (больше известного под псевдонимом Далин), автора книг с говорящими названиями типа «Среди отверженных», «По тюрьмам», «В пересыльной тюрьме» и т.п., рецензент с горечью отмечал, что раньше его имя гремело по всей России. Теперь настали «тяжелые времена для человека с твердыми убеждениями», Далина читать перестали⁸.

Действительно, не рассказы Далина о тюрьме и ссылке, выполненные в соответствии с канонами литературы подполья, а произведения на те же темы, но разрушавшие канон, пользовались теперь наибольшей популярностью. Часто они носили явно подражательный характер. Особенно наглядно эта черта проявилась в подражаниях В. Ропшину (ранее положительных героев создавали «по Степняку»). Ропшинские произведения спровоцировали довольно значительный поток подражательной беллетристики, эксплуатировавшей какую-нибудь одну из его идей либо яркие образы «Коня Бледного» (*религиозно-жертвенный террорист и мастер красного цеха*). При всей подражательности, эта беллетристика воспринималась читателями горячо — шел живой процесс переосмысления прошлого.

⁵ Ларский И. Вопросы текущей жизни. Из настроений журнального читателя: По материалам анкеты «Современного Мира» // Современный мир. — 1911. — № 4. — С. 431; 340.

⁶ Измайлов А. Хрестоматия новой литературы // Новое слово. — 1911. — № 9 — С. 128.

⁷ Абрамович Н. Я. «Прекрасная дама» Ал. Блока // Женщина. Литературно-художественный альманах — М.: Изд-во «Заря», 1910. — Кн. 2. — С. 127.

⁸ Д. А. Линева. По этапу. Библиография // Вестник знания. — 1912. — № 1. — С. 127.



И. П. М. Не связанъ въ тюрэмъ.

* * *

Очень популярным, как уже говорилось, стал образ *мастера красного цеха*. Гамлетовского уровня вопрос (можно ли убить «для себя», если убийство в принципе допустимо?), составлявший суть этого образа, казался адекватной заменой высокому трагизму прежнего жертвенного Героя. Ропшинский Жорж был воспринят как традиционный персонаж беллетристики подполья — герой—носитель сюжета. Очень часто рассказы о Жоржах просто повторяли коллизию Жоржа №1. Скажем, в рассказе Александра Рославлева «Призрак» экспроприатор убивал возлюбленного своей жены, подобно тому как у Ропшина герой убивает мужа своей любовницы⁹.

⁹ Рославлев А. Призрак // Новый журнал для всех. — 1909. — № 8. — С. 50—74.

Другой автор заставил одного из своих героев — сбежавшего из тюрьмы террориста — стреляться на дуэли из-за женщины. При этом он решал вопрос, может ли тело женщины заставить революционера изменить делу?¹⁰

Жорж воплощал принцип голого насилия, не оправданного никакой идеей. В литературе эксплуатировалась и эта сторона персонажа-функции, что давало возможность писателям-радикалам отнести эксцессы революции на счет *мастеров красного цеха*. Ведь для аудитории *безвременья* за скобками присутствовал и образ Вани — религиозно-жертвенного террориста, который все еще мог претендовать на общественное признание. Пытаясь объяснить и оправдать феномен экспроприаций, радикальные беллетристы просто отделяли Ваню от Жоржа — экспроприации представляли тогда как некая боковая, нетипичная, жоржевская линия революционной борьбы.

Исключением явился только образ революционера-экспроприатора, созданный Леонидом Андреевым. В терминах *безвременья* Л. Андреев рассказывал о том, как жертвенные Вани становятся экспроприаторами, не превращаясь при этом в Жоржей, т.е. в профессионалов от террора (роман «Сашка Жигулев», 1911). Сашка Жигулев — имя, которое принимает молодой герой романа, Александр Погодин, становясь экспроприатором. Он отдает революции свою чистоту, ибо на убийство, на разбой во имя высшей цели имеет право лишь тот, кто «чист, как агнец», «у кого нет личного»¹¹. Л. Андреев попытался поднять ценность жертвы героя на небывалую высоту и таким образом возродить веру в миф о Герое. Еще в 1909 году, в письме английскому переводчику «Рассказа о семи повешенных», он разделил террористов на три типа: рациональный (в рассказе воплощенный в образе Вернера), жертвенный (Муся) и тип «скорбных главою и сердцем» убийц (Янсон и Цыганок). Представителем высшего типа оказывалась Муся: если Вернер мог противопоставить смерти свой просвещенный ум и закаленную волю, то Муся побеждала ужас смерти «чистотой и безгрешностью»¹². После написания этого письма появился ропшинский Ваня, и Сашка Жигулев предстал продолжателем линии, протянувшейся от мифологического Героя через Мусю и Ваню.

¹⁰ *Будищев А.* С гор вода. — М.: Московское книгоизд-во, 1912. — С. 3—80. Этот рассказ в целом очень характерен для безвременья. Его герои — бывшие террористы — убегают из тюрьмы. Единственное их желание — жить, жить любой ценой. О возврате в политику они и не помышляют. Один из них выливает себе на лицо серную кислоту и скрывается от полиции и бывших товарищей. Они идут на все, лишь бы жить. Постоянные темы их разговоров — природа, любовь, красота. Жертвовать всем этим ради политики бывшие террористы больше не желают.

¹¹ *Андреев Л.* Сашка Жигулев // Художественно-литературный альманах «Шиповник». — 1911. — Кн. 16. — С. 42.

¹² Это любопытное письмо, факсимильная копия которого была приложена к английскому переводу «Рассказа о семи повешенных» (Нью-Йорк), опубликовала газета «Речь». Литературная хроника // Речь. — 1909. — № 124 — С. 3.

Был у Сашки Жигулева и реальный прототип — экспроприатор Александр Савицкий, «молодой, идейный интеллигент», чьи отряды более трех лет действовали в Черниговской губернии. Деньги, добытые в результате экспроприаций, Савицкий раздавал крестьянам¹³, благодаря чему в массовом сознании он существовал как фольклорный герой — добрый разбойник¹⁴. Однако сходство между ним и интеллигентным экспроприатором Л. Андреева было только внешним, гораздо больше общих черт связывало Жигулева с его мифологическими предшественниками.

Уход Погодина с последующим превращением его в Жигулева сразу актуализировал метафору «порога» между подпольем и внешним миром. Переступая порог, герой менял биографию, отказывался от прошлого, подобно Александру Погодину, становился новым человеком — Сашкой Жигулевым. Но если раньше такой беллетристический уход совершался в мир политических террористов или революционеров-подпольщиков, то Л. Андреев приводит своего героя к экспроприаторам¹⁵.

Специфика *безвременья* наложила печать на эту новую историю старого героя. Антонио Грамши в свое время, по другому поводу, отметил, что новая реальность, изменившиеся общественные отношения не создают автоматически «нового» человека — нового позитивного героя. Прежде чем он появится, можно услышать «лебединою песню» старого героя, «и эта лебединая песнь часто обладает удивительным блеском: новое в ней сочетается со старым, страсти достигают несравненного накала и т. д.»¹⁶. Роман «Сашка Жигулев» и был той самой «лебединою песней» старого Героя, к которой читатели 1911 года отнеслись, впрочем, довольно критически:

Совершенно очевидно, какой именно факт из недавнего прошлого заставил автора задуматься и попробовать сделать понятным — для себя и читателей — то, что может казаться психологической загадкой. Разбои, грабежи, поджоги, убийства — не террористические акты, а именно убийства разбойного характера. И героем этого — интеллигентный юноша [...] Как это могло случиться, должно стать понятным из повести [...]

¹³ Сигов А. А. Похождения революционера-экспроприатора Савицкого // Исторический вестник. — 1911. — № 12. — С. 1002–1034.

¹⁴ Русская жизнь // Речь. — 1909. — № 121. — С. 5.

¹⁵ Чрезвычайно похожий на А. Погодина герой более раннего рассказа (написан около 1907 г.), тоже пытавшийся искупить грех своего происхождения и несший свою чистоту в революцию, также ушедший из семьи и отказавшийся от прошлой жизни, занимался политическим терроризмом. Его героями были Каляев и Сазонов, а не Робин Гуд. И погиб он во главе восставших рабочих, а не в лесу, где Жигулев скрывался вместе со своим отрядом. См.: Немоевский А. Юрий // Немоевский А. Люди революции. — Л.: Изд-во «Сеятель» Е. В. Высоцкого, б. г. — С. 17–48.

¹⁶ Грамши А. Воспитательное искусство // О литературе и искусстве. — М.: Прогресс, 1967. — С. 54.

Но читатель не может разделить авторских иллюзий и самовнушения...¹⁷

Роман «Сашка Жигулев» восприняли как одну из возможных объяснительных концепций вырождения революции и героики подполья и отвергли, как концепцию неубедительную. Для читателей так и осталось загадкой, «зачем понадобилось Андрееву реабилитировать в образе Сашки Жигулева позорные страницы русской жизни». В Жигулеве не хотели узнавать нового-старого Героя и соответственно не видели смысла в перенесении «ореолов жертвы и идеализма» на экспроприаторов¹⁸.

Психологически неубедительный для эпохи *безвременья* роман Л. Андреева оказался слишком сложной попыткой оправдать прежнего героя через реабилитацию идеи чистой жертвы. Для тех, кто нуждался в подобном оправдании, подсказанная эсерами интерпретация Жоржа (моральный урод, воспользовавшийся революционными идеями в своих низких целях) выглядела проще и понятнее.

Беллетристические экспроприаторы были так же далеки от реальных, как герои мифа от живых людей. Они требовали другого жанра, не вмещаясь в рамки революционной мифологии. Жоржи и Сашки Жигулевы весьма мало походили на блатных одесских хулиганов или крестьян-вымогателей из Казанской губернии, которые начинали постепенно вытеснять с полос газетной хроники революционеров-террористов. Не встречались в рассказах беллетристов Подпольной России и подлинные названия экспроприаторских банд типа «Черные вороны», «Черные соколы»¹⁹ или «Черные орлы»²⁰ (имевшие, кстати, явный фольклорный источник). Сами экспроприаторы беллетризировали себя по канонам, далеким от «Сашки Жигулева». В 1909 году в своем парижском журнале «Общее дело» В. Бурцев пересказал выступление в Париже одесского экспроприатора Осипа Блица, в мире анархистов-налетчиков известного как Ферапонт Митральеза. Его выступление не имеет прецедентов в культуре Подпольной России, но хорошо вписывается в одесскую блатную традицию²¹. Мир экспроприаторов совершенно закономерно пересекался с миром уголовным, между ними происходил и культурный симбиоз, о чем свидетельствовало блестящее выступление Ферапонта Митральезы — Осипа Блица. От таких сомнительных

¹⁷ Редько А. Е. «Сашка Жигулев» Л. Андреева и «Петушок» А. Ремизова // Русское богатство. — 1912. — № 1. — С. 139.

¹⁸ Арабажин К. И. Леонид Андреев и «Сашка Жигулев» // Мир. — 1912. — № 1. — С. 83.

¹⁹ В материалах департамента полиции одесская группа экспроприаторов, действовавшая в 1906 году, фигурирует под этими двумя названиями. См.: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1806. Д. 189. Л. 1, 2.

²⁰ Под этим названием в Казани действовали крестьяне Иван Будичин и Иван Кузнецов, решившие поправить свои финансовые дела, выдавая себя за «тайных террористов Черных орлов». Арестованы 6 апреля 1908 года. См.: НА РГ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 631. Л. 1—118.

²¹ Иван Николаевич Толмачев и Ферапонт Митральеза (История дружбы ген.-губерн. с анархистом-налетчиком // Общее дело (Париж). — 1909. — № 2. — С. 5—9

террористов радикальная интеллигенция отрешивалась, снимая эту проблему в литературном мифотворчестве.

Одним из ведущих мифотворцев в этой области был адвокат из социал-демократов Владимир Беренштам. В 1912 году общее собрание департамента петербургской судебной палаты на полгода лишило его права выступать в суде. В течение этого вынужденного отпуска адвокат записал интересные случаи из своей практики, беллетризовав их. В предисловии к получившемуся сборнику рассказов Беренштам предупреждал, что «здесь многое — чистая беллетристика, простые адвокатские анекдоты»²². Позднее, в переиздании 1925 года, он разъяснил, что публикация самых первых журнальных вариантов его рассказов дала повод помощнику московского градоначальника обвинить «левых» политических защитников в нечистоплотности приемов. Тогда Беренштам и решил выдать документальные по содержанию очерки за анекдоты²³. Можно предположить, что аудитория, которая даже творчество Леонида Андреева воспринимала как документальное, беллетристику известного левого адвоката тоже читала как документ, игнорируя специальную оговорку. Собственно, его очерки рекламировали как «воспоминания» о политических процессах²⁴.

Шесть рассказов в сборнике 1912 года были посвящены экспроприаторам. В этих рассказах не было ни «черных воронов», ни уголовной экзотики. Беренштам описывал интеллигентных молодых людей, извративших революционную идею, совершивших ошибку:

У всех экспроприаторов, с которыми я сталкивался, меня поражала одна особенность: глубокое разочарование в своей деятельности... Не в идеях анархизма или максимализма, нет, а в путях осуществления их... В «частных» экспроприациях... — Глубокое, безысходное разочарование... Что тут действовало — неудача, тюремные стены, одиночество, «атавизм привычек» или просто стыд — не знаю...²⁵

Экспроприаторы Беренштама стыдятся своих поступков. Раскаившись, они опять могут стать «правильными» революционерами, нужно только отказаться от ошибочных методов (не идей), порочащих революцию.

В рассказе другого автора экспроприаторы в тюрьме вступают в союз с уголовниками и вместе роют подкоп. Но вскоре выясняется, что внутригрупповая дисциплина и идейная основа у них раз-

²² Беренштам В. В огне защиты: из воспоминаний политического защитника. — СПб.: Изд-во т-ва «Общественная польза», 1912. — Предисловие.

²³ Беренштам В. В боях политических защит. — М.: Изд-во «Книга», 1925. — С. 3. См. также: Беренштам В. Из записок адвоката // Вестник Европы — 1912. — № 5. — С. 73—85; № 11. — С. 125—134; № 12. — С. 97—112.

²⁴ Изо дня в день // Русские ведомости. — 1912. — № 103. — С. 2

²⁵ Беренштам В. Помогите // Беренштам В. В огне защиты. — С. 6.

ные, и политические заключенные решают: «Не надо было связываться с уголовными»²⁶. Проявив такую сознательность, экспроприаторы возвысились над миром уголовников, подтвердив свою родовую близость высшему миру революционного подполья.

Еще один пример из беллетристики тех лет: группа «анархистов-коммунистов» отправляет своего члена в игорный клуб с заданием взорвать градоначальника вместе со всеми посетителями клуба. При этом анархист должен погибнуть: под рубашкой у него жилет, начиненный динамитом²⁷. Анархист поручение проваливает, ему везет в картах, и он не может остановиться. Его друзья — по логике рассказа «правильные» революционеры — сначала убивают самого анархиста, а потом взрывают бомбу в толпе на его похоронах. Нормальная логика переворачивается в подполье с ног на голову: отказ от убийства (преступления) в логике подполья считается еще более тяжким преступлением и карается убийством, которое преступлением не считается. Пока герой рассказа подчинялся этой логике, он оставался «своим»²⁸.

Так воспользовалась радикальная интеллигенция образом *мастера красного цеха* для защиты политического террора от обвинений в вырождении, в сращении с уголовным миром. Внепартийная беллетристика эксплуатировала ту же тему, но жанр, к которому часто прибегали писатели — детектив, — больше соответствовал феномену экспроприации. В то же время истории про экспроприаторов, поданные как детектив, а не как характерный для беллетристики подполья рассказ без сюжета, организованный вокруг героя-функции, лишали экспроприацию идеологической защиты и подчеркивали ее уголовный характер.

В чрезвычайно интересной детективной истории 1908 года «Смутная пора» известный петербургский сыщик должен отыскать гроб с телом богатого купца, украденный экспроприаторами, терроризирующими семью умершего. В описании комитета экспроприаторов есть некоторый налет «политики»: разговоры о вернос-

²⁶ *Ки-н Ал.* Подкоп // Студенческий сборник. — Вышний Волочек: Изд-во Н. Г. Цыварева, 1909. — С. 21—43.

²⁷ Идея дать своему герою столь нехарактерное для беллетристики подполья орудие покушения — динамитный жилет вместо традиционной бомбы — могла возникнуть у автора рассказа после знакомства с делом члена Северного боевого летучего отряда Е. П. Рагозниковой. Она убила начальника главного тюремного управления Максимовского, за что была повешена в 1907 году. Рагозникова шла на покушение в динамитном лифе. В некрологе, опубликованном в газете «Знамя труда», читателям предлагался романтический образ девушки «с динамитом вокруг тела»: «С любовью и с радостью ребенком она рассматривала лиф, наполненный динамитом, и с песней, полной победной веры в грядущее счастье, надела его. Роковой шнурок лежал на ее груди, и она его не замечала» (Смерть Рагозниковой // Знамя труда. — 1907. — № 7. — С. 8).

²⁸ *Гаевский С.* Паутинка // Возрождение. — 1910. — № 3. — С. 1—16.

ти долгу, портреты погибших товарищей, среди которых «соратник Гапона», и проч. Но в целом комитет более всего похож на воровскую шайку. Экспроприаторы снимают заброшенный дом на окраине, вход караулят голодные цепные собаки, хозяева дома постоянно меняют внешний вид, избивают преследующих их шпииков и т. д. Для столичного сыщика политические взгляды экспроприаторов не имеют ни малейшего значения — он ищет гроб. Его подход к делу — подход сыщика, идущего по следам уголовных преступников²⁹. Детективная традиция изображения экспроприаторов не имела ничего общего ни с линией Ропшина, ни с творчеством Л. Андреева. Никакая модификация мифологического Героя за этими персонажами уже не стоит, они — чужие среди знакомых фигурантов Подпольной России. Над ними можно было даже смеяться, чего не позволяли себе по отношению к своим героям ни В. Ропшин, ни Л. Андреев. Ирония совершенно уничтожала страх, внушаемый *мастерами красного цеха*: так, провинциалка из рассказа «Страшная месть», проехавшая 1000 верст по железной дороге и пережившая два крушения, «не считая обыкновенных экспроприаций», никакого ужаса перед экспроприаторами уже не испытывает³⁰.

На фоне такого снижения прежних героев был художественно осмыслен сам процесс мифологизации подполья. Молодой человек намекает, что он — член террористической партии, и сердце девушки трепещет, для нее юноша превращается в недостижимого героя, его недостатки оборачиваются достоинствами — так можно резюмировать сюжет рассказа «Закон природы» (1910). Все неотъемлемые характеристики мифологического героя высмеяны в этом рассказе: молодость, отрешенность от жизни, жертвенность, как модные одежды, превращают обычного юношу в идеального мужчину.

Как недостижимо-высок был он в ее глазах, как дорог был он ей — этот скромный, невидимый герой, так просто и спокойно выполнявший свое опасное, святое и великое дело!³¹

Накануне 1905 года эти слова нельзя было помыслить в ироническом контексте. И даже позднее, в «Коне Бледном», герой не спускался со своей трагедийной высоты и тем более не был объектом снисходительно-иронического отношения. Снисходительный тон первыми позволили себе писатели, не имевшие боевой внелитературной биографии. Высмеивая радикального героя, они смеялись не над собой. Пожалуй, можно сказать, что именно отсутствие такой биографии психологически делало возможным снижение Героя до

²⁹ *Азовец Н. В.* Смутная пора. Роман из современных событий. — Ростов-на-Дону: Изд-во Донского акционерного общества печатного и издательского дела, 1908.

³⁰ *Сно Евг.* Страшная месть // Женщина. — 1909. — № 5 — С. 28.

³¹ *Руднев Е.* Закон природы // Литературно-художественный сборник «Ручьи». — СПб.: Изд-во «Земля», 1910. — С. 75.

уровня комического персонажа. Привнесенное извне ироническое отношение окончательно разрушило радикальную мифологию.

Трудно представить себе более непочтительное отношение к былому мифологическому кумиру, чем изображение террориста в доме для умалишенных. Но литература *безвременья* знала и такие сюжеты. Два финансиста оказываются в психиатрической лечебнице (они называют ее «тюрьмой») за пропаганду идеи греховности денег. В лечебнице они организуют покушение на ее попечителя — «главного тюремщика». Диалог «террористов» перед покушением воспроизводит классические образцы революционной лексикой, но уже в пародийном контексте:

— Ты твердо решился? [...]

— Совершенно.

— Я люблюсь тобою [...] Накануне такого страшного дела — и такое спокойствие!

— Что же мне волноваться? Разве я иду на преступление? Разве я хочу его убить из какой-нибудь корыстной цели или для личной выгоды? Я только свято служу идее³².

Сцена теракта также написана в соответствии с классическим образцом, окончательно сложившимся после покушения И. Каляева на великого князя Сергея Александровича: попечитель едет в карете, пациент психбольницы, он же — «террорист», мечет булыжник («бомбу») под ноги лошадям. При этом «террорист» падает с забора и разбивается. Его последние слова:

Пусть погибну я... пусть погибнет Никанор (второй «заговорщик» — автор Идеи. — *М. М.*)... Пусть тысячи нас погибнут... а идея останется... живая... бессмертная... идея... и-де-я...³³

Невозможно вообразить что-нибудь более оскорбительное для героики Подпольной России, чем этот «заговор» в психиатрической лечебнице, в котором по-карнавальному перевернуты с ног на голову все элементы литературной мифологии радикализма. Эти террористы пародируют и мифологического Героя, и Ваню с Сашкой Жигулевым, и Жоржа — *мастера красного цеха*, и беллетристических экспроприаторов. Миф о герое окончательно утратил романтический ореол, стал частью «культурного наследия» радикальной интеллигенции.

* * *

Партийная ограниченность, закрытость и прочие темы романа «То, чего не было» постепенно вытеснили проблематику, свя-

³² Курлов Е. За идею. Психологический этюд // Курлов Е. За идею и другие рассказы. — М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1908. — С. 19—20.

³³ Там же. — С. 21.

занную с Героем. Первой пробились к читателю тема партийной ограниченности, узости существования в пределах Подпольной России, неписанные законы которой обкрадывают человека, уродуют его психику, учат воспринимать мир в черно-белых красках. К творчеству писателей, поднимавших эту тему, читатели и критики отнеслись особенно внимательно.

Много положительных отзывов получил Н. Олигер — автор лирических рассказов о «маленьких людях» партии, чье существование бедно и серо³⁴. Его героям приходится заново учиться любить не все человечество, а конкретного человека³⁵. Они впервые задумывались над смыслом тех суровых ограничений, которые наложили на себя в соответствии с радикальной этикой³⁶. Лирический тон Олигера отличался от жесткой обвинительной манеры героев романа «То, чего не было»: у Олигера «тусклая, убогая жизнь [...] чернорабочего товарища в партии осыпана белыми лепестками тихой задушевности, нежной скорби»³⁷. То, что у Ропшина воспринималось как тяжелая и мучительная правда, в рассказах Олигера предстало как «живая и близкая тема»³⁸.

Драма революционерки поневоле, человека, случайно запутавшегося в деятельность, не соответствующую внутреннему складу, деятельность по общественному катехизису, признающуюся самой важной, но в данном случае не дающую никакого удовлетворения...³⁹

Разочарование таких «революционеров поневоле» в партийном существовании превратилось в одну из главных тем *безвременья*. Герой рассказа Юлии Безродной решает жениться на любимой девушке, но в день свадьбы к ним является мать первой жены героя, чтобы сорвать торжество. Первая жена была революционеркой, она вела за собой мужа в мир политической борьбы. Ее казнили, и теперь, в логике Подпольной России, муж и товарищ должен был занять ее место. Но он не захотел стать Героем, он полюбил обычную девушку и желает простого личного счастья⁴⁰.

³⁴ Олигер Н. Рассказы. — СПб.: Изд-во «Энергия», 1910. — Т. 3.

³⁵ См., например: Олигер Н. Гость // Олигер Н. Сибирь. — СПб.: Изд-во «Труд», 1914. — Т. 6. — С. 7—13.

³⁶ Особенно характерен в этом смысле рассказ Олигера «Белые лепестки» // Олигер Н. Рассказы. — СПб.: Изд-во «Энергия», 1910. — Т. 3. — С. 33—236.

³⁷ Скальд. Библиография. «Земля». Сборник второй. // Лебедь. — 1909. — № 5. — С. 47. См. также: Колтоновская Е. Литературная неделя // Речь. — 1909. — № 147. — С. 3.

³⁸ Е. З. Библиография: Земля. Сборник второй. // Познание России. — 1909. — Кн. 3. — С. 286.

³⁹ Колтоновская Е. А. Художник-сибиряк (Н. Олигер. Рассказы, т. I — III) // Колтоновская Е. А. Новая жизнь: критические статьи. — СПб.: Изд-во «Самообразование», 1911. — С. 161.

⁴⁰ Безродная Ю. Тень // Литературно-художественный образ «Непогасшие огни». — Екатеринбург: Изд-во «Непогасшие огни», 1910. — Кн. 1. — С. 28—50. Аналогичную ситуацию описал И. Емельяненко в романе «За границей»: сбжавший из ссылки революционер в Женеве является к жене погибшего героя-террориста, ища у нее поддержки в своем реше-

В другом рассказе той же писательницы («Жизнь ушла», 1912) со своим партийным прошлым прощалась группа молодежи: одни искали спасения в религии, другие — в любви. Молодежь экспериментировала с новыми формами отношений, отличных от товарищески партийных. Читатели считали этот рассказ «живым и правдивым»⁴¹, но для защитников партийности это значило лишь то, что рассказ есть часть порочной действительности, которую следует заклеить.

...для людей, выступивших на служение своему народу лет 40—45 тому назад, все эти разочарования звучат странно и все эти разочарованные и преждевременно состарившиеся юнцы и юницы, при всей их национальной и духовной родственности, при всей их симпатичности, являются довольно чуждыми, вызывающими невольное пожатие плеч. Оглядываясь на свою молодость, я лично, напр[имер], припоминаю одушевлявший меня и моих сверстников молодой энтузиазм... —

писал эсер Ф. Волховский по поводу рассказа Безродной⁴².

Ставя в пример заблудшей молодежи партийных «стариков», Волховский упрощал картину беллетристического отхода радикальной интеллигенции от идеи партийности. В литературе «старика» тоже выбирали между «партией» и «жизнью». Рабочий с партийным стажем приходит к выводу, что партия, политическая борьба — все это «только средство, а жизнь — цель. И глупо средство ставить выше цели и ценить наравне с целью...»⁴³. Другой «старый» беллетристический революционер, член ЦК социал-демократической партии, становится провокатором, потому что партийное существование подавляет его индивидуальность, инициативу, эмоции. Завербовавший его жандармский полковник хорошо почувствовал слабинку своего подопечного: «Я давно решил, что

они вновь вернуться на родину и бороться. Но жена «героя» отказывается от навязываемой ей роли символа — она хочет жить частной жизнью. Ни минуты не была она счастлива с мужем: «герой» взял ее в жены, так как «делу» требовались ее деньги. Жертвуя собой для человечества, он не дал и крупицы счастья близкому человеку. Жена «героя» не хочет больше служить «делу» — она просто живет. См.: *Емельяненко И.* За границей // Вестник Европы. — 1908. — Т. 1. — Кн. 1. — С. 155—205.

⁴¹ *Коробка Н.* Литературное обозрение // Запросы жизни. — 1912. — № 9. — С. 550—558.

⁴² *Волховский Ф.* Поколения // Знамя труда. — 1912. — № 41. — С. 5—7. Подобные упреки были возможны и в литературной форме. Так, художественной версией статьи Волховского можно назвать роман Е. Чирикова «Изгнание» (Вестник Европы, 1912—1913). В романе описано прошлое поколения самого Чирикова: «Студенческая молодежь той поры еще не знала Ницше, ни Штирнера, ни лиг свободной любви, ни того раннего пессимизма [...] Та молодежь не переживала еще ни 1905 года, ни ужасов крови, ни ужасов политического разочарования. Тогда не было еще ни Гапонов, ни Азэфов. Просто, чисто и доверчиво юность шла в политическую пропаганду, и прохождение через политические кружки, через провинциальные каталажки, через допросы жандармов и охранников — было тогда таким же неизбежным делом, как корь в детстве» (*Измайлов А.* Хрестоматия новой литературы // Новое слово. — 1913. — № 1. — С. 120).

⁴³ С. За железной решеткой // Русское богатство. — 1912. — № 8. — С. 97.

вы будете нашим сотрудником [...] Вы индивидуалист»⁴⁴. Тема партийности и провокации увязаны здесь совершенно по-ропшински. Однако принципиальное отличие более позднего варианта состоит в том, что в 1913 году эту связь поняли и даже назвали героя-провокаatora «героем нашего времени»⁴⁵.

Остро поставили тему партийного существования социал-демократы. Численность их партий сокращалась, моральный дух падал, люди уходили в легальную деятельность. Для многих из них беллетристика была единственно доступной формой преодоления партийной дисциплины и годами воспитанной самоцензуры. Автор наиболее крамольного (с точки зрения партийной идеологии) романа, Р. Григорьев, получал десятки писем, под которыми иногда стояли подписи серьезных партийных работников. Корреспонденты просили разъяснить, кого именно из «товарищей» он имел в виду в романе «На ущербе» (1913). Некоторые брали на себя труд сообщить автору сведения о лицах, по их мнению, изображенных в романе⁴⁶. Публицистические выступления героев Григорьева сводились к осуждению кружковщины, «жизни в партийном муравейнике», которая лишает человека способности видеть вещи как они есть, «не с точки зрения муравья»⁴⁷.

Для самих же авторов-партийцев, воспринимавших художественную реальность как продолжение жизни, создание «разоблачительного» произведения литературы было однозначно официальному признанию краха всей своей партийной биографии, своей жизни, отданной Подпольной России. Меньшевик Иван Коновалов, автор повести «Дневник агитатора», покончил жизнь самоубийством, как только повесть была дописана⁴⁸. Для товарищей 28-летнего Коновалова эта смерть явилась неожиданной и необъяснимой. Только после публикации «Дневника агитатора», тему которого критик П. Я. Рысс определил как «душевную трагедию революционеров, гибнущих с утерей возможности и целесообразности партийной работы...»⁴⁹, причина самоубийства Коновалова прояснилась. Партийная работа, лишённая высшего смысла и мифологического флера, неожиданно представшая как скучная рутина, мелкая суета, иссушающая душу, не могла больше удовлетворять Коновалова. Он убил себя, попытавшись уничтожить (художественно) заодно и мир партийности, мир Подпольной России.

⁴⁴ Каржанский Н. Волк // Русская мысль. — 1913. — Кн. 8. — С. 9—67.

⁴⁵ Измайлов А. Хрестоматия новой литературы // Новое слово. — 1913. — № 9. — С. 125.

⁴⁶ Вместо предисловия // Григорьев Р. На ущербе — Л.: Прибой, 1927. — С. 7.

⁴⁷ Григорьев Р. На ущербе. — Л.: Прибой, 1927. — С. 88.

⁴⁸ Коновалов И. Дневник агитатора (Из посмертных записок И. А. Коновалова) // Современный мир. — 1912. — № 3. — С. 55—89; № 4. — С. 31—55.

⁴⁹ Рысс П. Я. Критическое обозрение // Русская мысль — 1913. — Кн. 8. — С. 302.

Так постепенно публика все же «дочитала» роман В. Ропшина. Более того, некоторые из «дочитавших» включили его в свои биографии, действительно распрошавшись с миром, лишенным смысла, идеала и идеальных структур — партий. Другие, дочитав Ропшина, в самом разочаровании обрели почву для оптимизма:

Хочется подышать вне всяких рамок, предписанных разными партиями, национальностями, классами и кружками; хочется, так сказать, примирить всех, указав, что насколько бы идеальны не были цели той или иной программы, средства и образ действий их внушают нечто, не понимаемое ни разумом, ни сердцем. Хочется это потому, что надо всем чувствуется доминирующее дыхание жизни, которая говорит о чем-то более гармоничном, — о новом, о другом, ничего общего со всякими спорами не имеющем⁵⁰.

В отличие от прежних классических Героев, от мечущихся, раздвоенных героев В. Ропшина и от замкнутого на своем внутреннем мире героя М. Арцыбашева, менее заметные, но более реалистичные персонажи массовой интеллигентской беллетристики все глубже погружались в семью, в быт, в любовные отношения, в искусство — во все то, что привязывает человека к жизни. Безусловный приоритет партийного над личным, воспринимавшийся интеллигенцией как естественный порядок вещей, превратился в одну из основных дискуссионных проблем *безвременья*. Бесконфликтный идеальный образ партии остался только в доисторическом времени мифа.

* * *

Освобождение от плена идеальных представлений о партийности привело к новому открытию: миф о Подпольной России имел еще и географическое измерение. Если условным географическим центром являлось, собственно, подполье, то ссылка и эмиграция выступали как его пространственные «эманации». Герои путешествовали между этими полюсами, совершая подвиги и преодолевая препятствия.

В эпоху *безвременья* одним из первых подвергся рефлексии миф о ссылке. Там, среди старых революционеров, воспитывалось молодое поколение, там на деле реализовывались идеальные отношения идеального мира. Именно в ссылке герои демонстрировали способность побеждать трудности, связанные как с суровой природой, да и с произволом государства. Это — содержание мифа.

⁵⁰ От редакции // Интеллигент. — 1911. — № 1/2 — С. 3.

[...] Нас уводит враг жестокий
Из неволи одинокой,
Из печальных стен тюрьмы
В край холодный, в край далекий,
В царство северной зимы.

Но, как братьев, нас сдружила
Наша юность, наша сила.
Общий гнет тяжелых уз.
И страданье освятило
Наш незыблемый союз...⁵¹

Прости, о родина, прости!
Я в край безвестный еду...
Ты, юность новая, — расти,
Чтоб тот же крест себе найти,
Идя по правому пути,
Иль, наконец, победу!⁵²

[...] Сибири глубь, снегов пустыни —
Темницы, цепи, эшафот —
Для нас нетленные святыни,
В крови зардевшийся восход!⁵³

Ссылка воспринималась как кузница революционных кадров, или, по словам одного бывшего ссыльного, — как «довоспитательница революционеров»⁵⁴. В 1907 году автор исследования о ссылке отмечала, что год от года «все крепче и шире вырабатываются предания каторги и ссылки, растет культ ее, и умы молодых поколений смыкаются с ним»⁵⁵.

Можно представить, каким шоком явилась для носителей мифа о ссылке публикация романа О. Миртова «Мертвая зыбь» («Русская мысль», 1909)⁵⁶, осмыслившего ссылку как величайшую трагедию для деятельного человека, оторванного от жизни. В центре романа — колония ссыльных, которые вынуждены жить обыденной жизнью. Но «обыденным» для них было партийное существование, жизнь в подполье. Ссылка показала их бытовую неприспособленность, неумение довольствоваться малым, отсутствие личной самодостаточности. В колонии процветают интриги и взаимная подозрительность. Все обитатели делятся на «своих» (партийных) и «чужих», попавших в колонию как бы случайно. К последним относятся и родственники ссыльных партийцев, приехавшие за ними на поселение. Главную мысль повести выражает молодой ссыльный социал-демократ: «Я, знаете, ехал сюда с трепетом... Все герои, пострадавшие за идею... И необходимо попасть в эту яму, как ссылка, чтобы все они вывернулись наизнанку»⁵⁷.

⁵¹ Тан. Песня ссыльных // Тан. Стихотворения. — СПб.: Изд-во Н. Глаголева, 1906. — С. 89—90.

⁵² П. Я. (Л. Мельшин). Надпись на сибирском этапе // Ссыльным и заключенным. — СПб.: Изд-во т-ва «Вольная типография», 1907. — С. 176.

⁵³ Лукьянов А. Как звезд на темном небосводе... // Ссыльным и заключенным. — С. 170.

⁵⁴ Ильинский М. В. Архангельская ссылка. — СПб.: Изд-во «Энергия», 1906. — С. 113.

⁵⁵ Цибрикова М. К. Каторга и ссылка. — СПб.: Изд-во «Библиотека «Светоча»», 1907. — С. 8.

⁵⁶ Миртов О. Мертвая зыбь // Русская мысль — 1909. — Кн. 8—12; Под псевдонимом О. Миртов скрывалась О. Э. Негрескул-Котылева, которая вела дела политического Красного Креста в Петербурге. В том же 1909 году она дебютировала с рассказом «Каштаны» (Альманах издательства «Шиповник», кн. 8), получившим хорошую критику. Манеру О. Миртова даже сравнивали с манерой А. Чехова. См.: Лернер Н. Библиография. Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник» // Образование — 1909. — № 4а. — С. 68

⁵⁷ Миртов О. Мертвая зыбь // Русская мысль. — 1909. — Кн. 8 — С. 31.



Столь явное посягательство на миф вызвало острую реакцию у интеллигентного читателя. Даже консервативная газета «Новая Русь» беспокоилась о том, «какое удручающее впечатление произведет эта книжка «Русской Мысли», когда дойдет до заброшенных в места отдаленные ссыльных...»⁵⁸. Обозреватель «Нового времени» назвал роман «поганью», от чтения которой его тошнит⁵⁹. А либеральные «Русские ведомости» в лице С. Венгерова усомнились в наличии таланта у автора, подсмотревшего в отдаленном «уголке русской революции» только низкое и постыдное⁶⁰. Критики, близкие к радикальной интеллигенции, упрекали редакцию «Русской мысли» в поспешности, с которой она взялась печатать роман, не дав читателям опомниться после выхода «Коня Бледного»⁶¹. Редакция журнала отставивала дос-

⁵⁸ Цит. по: Изгоев А. С. На перевале: Безвременье // Русская мысль. — 1909. — № 12. — С. 147.

⁵⁹ Мюргит. Критические очерки // Новое время. — 1909. — № 12061. — С. 4.

⁶⁰ Венгеров С. Литературные настроения // Русские ведомости. — 1910. — № 1 — С. 14.

⁶¹ Брусянин В. Литературная хроника // Новый журнал для всех. — 1909. — № 18 — С. 130.

тоинства романа, впервые сказавшего о ссылке «полную правду: и в хорошем, и в дурном»⁶². Но именно такой подход к мифу убивал его: миф не мог быть предметом критики. Кроме того, уже знакомый нам прием изображения Героя в заведомо антимифологическом контексте (быт) разрушал поэтику радикальной мифологии.

Итак, «Мертвая зыбь», подобно остальной пионерской демистификаторской беллетристике, стала сенсацией. Роман еще печатался в «Русской мысли», а его автор уже получала предложения о переводе и издании романа за рубежом⁶³. Тема была открыта. Герои художественных произведений отправились в ссылку, чтобы снять романтическое покрывало и с этого участка Подпольной России:

Мы разлагаемся в ссылке — это верно. Но почему? Не могу же я, живя здесь, считать себя партийным человеком! Ведь я не живу, я прозябаю...⁶⁴

Товарищи! Когда волна революции выбросила меня в этот мертвый, унылый край, я был полон энергии [...] Я чувствую, как настойчиво и неотвратимо засасывает меня болотная тина обыденщины, как медленно и неуклонно я опускаюсь все ниже и ниже...⁶⁵

Мы сектанты, но разных толков, а так как прямого дела у нас нет, то вся наша энергия уходит в толкования своих священных текстов и в посрамление чужих...⁶⁶

В 1910 году в печати появляются рассказы Н. Олигера о ссылке, точнее — о психологической несостоятельности ссыльных революционеров, оказавшихся в условиях, где партийность не может заменить душевности, великодушия и действительного сострадания к ближнему⁶⁷. Мысль, пронизывающая эти рассказы Олигера, вложена в уста одного из его героев, который упрекает революционеров, тяготящихся именно отсутствием политической жизни в ссылке: «Ведь втайне вам даже немножко приятно, что судьба выбросила вас всех за борт настоящей жизни и потому вы на законном основании можете держаться от-нее подальше»⁶⁸.

⁶² Изгоев А. С. На перевале: Безвременье // Русская мысль. — 1909. — № 12. — С. 147

⁶³ «Издательство “Рюттен и Ленинг” во Франкфурте на Майне обратилось на-днях к писателю О. Миртову с предложением разрешить авторизированный перевод романа «Мертвая зыбь», этого автора, печатающегося с августа в “Русской Мысли”» (Литературные новости // Книжный мир: еженедельный библиографический вестник. — 1909. — № 44. — С. 3).

⁶⁴ Илимский Д. В стране молчания // Интеллигент. — 1911. — № 1/2. — С. 59.

⁶⁵ Владимиров Н. Порванные струны (Из настроений ссылки). — ГАРФ. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 4687. Л. 8.

⁶⁶ Чириков Е. Изгнание // Вестник Европы. — 1912. — Кн 11. — С. 9. Эта повесть о ссыльных, не выдержавших интенсификации человеческих взаимоотношений за счет «политики», была опубликована в трех последних книжках «Вестника Европы» за 1912 год: Кн 10. — С. 36—127; Кн 11. — С. 3—94; Кн 12. — С. 3—73.

⁶⁷ Особенно интересен в этом отношении рассказ Н. Олигера «Пустыня». См.: Олигер Н. Рассказы — СПб.: Изд-во «Энергия», 1910. — Т. 3. — С. 91—138.

⁶⁸ Олигер Н. Перед светом // Опасные люди. — Пг.: Изд-во «Жизнь и знание», 1916. — С. 266. В этом сборнике собраны рассказы Олигера о ссылке разных лет.

Наконец, над идеальными представлениями о ссылке стали иронизировать — начался процесс преодоления еще одной, пространственно-географической, ипостаси мифа. Молодой человек попадает в «Кресты»:

Все мечты сбылись в одну ночь! Остается ждать ссылки в те места, куда Макар телят не гонял. А затем... Почет от товарищей, бессмертное имя в потомстве, золотая страница истории...⁶⁹

Миф окончательно распался и отошел в область «культурного наследия» революции, когда модель ссылки как одного из топов Подпольной России превратилась в объект статистического изучения, а сами ссыльные перестали рассматриваться как Герои в изгнании. Ссылных жалели: в беллетристике и публицистике описывали их лишения, их неумение предпринять элементарные усилия для улучшения своей жизни⁷⁰.

Когда в 1913 году увидела свет повесть Г. Чулкова «Мертвецы»⁷¹, сюжетно и функционально воспроизводившая «Мертвую зыбь» 1909 года, к ней отнеслись с пониманием. «Оголить людей, заставить их растерять умственно-нравственный багаж ему понадобилось для того, — писал о Чулкове корреспондент «Саратовского вестника», — чтобы ярче выступила суть этих людей, а через это стало бы возможно выявление сути *русского бунтарства*»⁷². Критики считали, что повесть «Мертвецы» послужит «будущему историку» лучше, чем произведения более крупных мастеров⁷³. Так с условной карты Подпольной России стирались целые территории.

Не стала исключением и другая «провинция» радикального мира — эмигрантские колонии за рубежом.

Миф об эмиграции формально воспроизводил миф о ссылке. «Посланцы из Женева», Лондона, Парижа, Цюриха и так далее проходили революционную школу у самих вождей радикальной интеллигенции, переживая вынужденный отрыв от революционной работы. Представление о влиятельности этого мифа дает письмо эмигранта из Женева, отправленное в Россию в августе 1905 года, накануне самых горячих событий первой революции. Разворачивающаяся революция не смогла поколебать представлений автора письма об эмиграции как о стратегическом и интеллектуальном форпосте революционного движения:

⁶⁹ Рутковский А. Провокатор. Из дневника // Маленькие альманахи. — 1911. — Кн. 5. — С. 41.

⁷⁰ Никандров Н. Бывший студент // Современный мир. — 1909. — № 3. — С. 71–88; Фроммет Б. Трагедия воли: О бывших ссыльных // Вестник Европы. — 1910. — Т. 6. — С. 396–401; Ларский И. Вопросы текущей жизни: Из жизни современной ссылки // Современный мир. — 1909. — № 2. — С. 82–98; А.В.П. На очередные темы: Очерки политической ссылки // Русское богатство. — 1912. — № 8. — С. 32–59, и др.

⁷¹ Чулков Г. Мертвецы // Собр. соч. — СПб.: Изд-во «Шиповник», 1913. — Т. 6.

⁷² Цит. по: Бюллетени литературы и жизни. — 1913. — № 23/24. — С. 608.

⁷³ Там же

Здесь я вращаюсь в очень идеальном и образованном кругу, ведь Женева — это центр русской революции. Все передовые люди российской социал-демократической партии, а также социалистов-революционеров находятся здесь. Здесь, так сказать, университет для подготовки агитаторов и пропагандистов, которые затем отсылаются в Россию для практической деятельности. Словом, жизнь кипит здесь ключом, собрания, лекции и дискуссии — это каждый день. Текущая литература, брошюры — все это занимает много времени. Мне хочется побыть в Женеве около года, подготовиться по всем вопросам социализма и поехать в Россию уже со свежими силами и знаниями и стать борцом за свободу. Может быть, это случится даже раньше года, это зависит от главных деятелей, которые решают, достаточно ли я подготовлен, чтобы бороться...⁷⁴

Даже в 1912 году в статье, посвященной критическим выступлениям в адрес политической эмиграции, Ф. Дан воспроизводил элементы этого мифа. Прежней эмиграции больше нет, считал он: «Раньше, в до-революционное время члены ее были, можно сказать, людьми «без быта» — чем-то вроде Андреевского «человека». Люди жили на средства организаций; виделись, разговаривали, имели «дела» только друг с другом; окружающая жизнь просто не существовала для них...»⁷⁵ Они переместили Подпольную Россию за границы Российской империи, где, работая на благо революции, ожидали возвращения в большую Подпольную Россию:

Весело! Шумно! Здесь, жизнь молодая,
Ты свой чертог создаешь.
Горе, нужду и труды забывая,
Пляшет, поет молодежь...

*(Петр Лавров, «Песни юности»,
Париж, 1 января 1880 г.)⁷⁶*

Роман Ивана Емельяненченко «За границей» явился первой серьезной попыткой создать некий антимиф, поднять опасную тему и задать новый ракурс ее рассмотрения. Эмигрантская колония Женевы предстала разделенной на группировки, поглощенной интригами и борьбой за влияние, проводящей время в бессмысленных собраниях, лишенной настоящего дела и потому морально разлагающейся⁷⁷. Вскоре вышел в свет аналогичный роман о парижской колонии политических эмигрантов. Вместо «пляшущей молодежи» в этом произведении (роман В. Винниченко «На весах жизни», 1912) действуют потерянные люди, не умеющие приспособиться к жизни в эмиграции.

⁷⁴ Выписка из полученного агентурным путем письма с подписью «Иосиф» (Женева) от 22 августа 1905 г. — НАРТ. Ф. 199. Оп. 1 Д. 294 Л. 4. — 4 об.

⁷⁵ Дан Ф. Современная политическая эмиграция // Новая жизнь. — 1911. — № 2. — С. 184.

⁷⁶ Лавров П. Л. Песня юности // Избранные произведения русской поэзии. . — С. 103.

⁷⁷ Емельяненченко И. За границей // Вестник Европы — 1908. — Кн. 1. — С. 155–205, Кн. 2. — С. 78–137.

собраться к жизни Парижа, часто не желающие учить французский язык, люди без определенной цели, абсолютно чуждые той среде, в которую их занесла судьба. Винниченко не только описывал эмиграцию вне мифологического контекста, но и навязывал читателям явно отрицательное отношение к своим героям — они не живут, они бесцельно доживают свои революционные биографии.

И вот перед нами поистине безнадежная картина жизни в шумном Париже этих обломков, этих последних, сдавшихся могикам [...] все они стары душой, как безнадежно изжившие себя старики. Это в полном смысле инвалиды, хромцы духа...⁷⁸

Неудивительно, что левая критика откликнулась на роман «недоумением, резким несочувствием и полным недоверием»⁷⁹. В романе видели очередные литературные похороны интеллигенции⁸⁰. Жизнь, изображенная Винниченко, читателям казалась «ужаснее чем смерть»: в его эмигрантской колонии царил «огромная духовная нищета»⁸¹. Роман читали с тяжелым чувством, но Винниченко свое дело сделал — он посягнул на еще один аспект мифа, оставшийся нетронутым.

Не успели смолкнуть страсти вокруг романа Винниченко, как тему эмиграции подхватил другой автор — Александр Золотарев. Это был писатель с внелитературной биографией (член РСДРП, три года проведенный в ссылке в Нарымском крае, а затем эмигрировавший в Париж)⁸², что сразу уловили читатели и критики. Им казалось, что роман «Во едину от суббот» Золотарев, в отличие от своих предшественников, писал «с добрым чувством»⁸³. Золотарев придумал сильный и убедительный сюжетный ход: Ольга, студентка Сорбонны, нашедшая в Париже вторую родину, попадает в колонию политических эмигрантов, в замкнутый мир людей, которые не знают и не интересуются Францией, не говорят на ее языке, живут только своим прошлым. Ни одна сюжетная линия в романе не доведена до конца, ни одна любовная связь не имеет развязки, отрывочны разговоры и встречи, непостоянны занятия героев — «творцы жизни обратились в творцов из жизни»⁸⁴. Вполне в духе субкультуры Подпольной России эти беллетристические разоблачения мифа об эмиграции в конце концов были восприняты как документальные, и вот уже журналисты заговорили об эми-

⁷⁸ *Измайлов А.* Хрестоматия новой литературы // Новое слово. — 1912. — № 9. — С. 127.

⁷⁹ Там же. — 1913. — № 5. — С. 113—126.

⁸⁰ *Никодимов Н.* Самоплевание (Литературные заметки) // Живое слово. — 1913. — № 5. — С. 12.

⁸¹ *Игнатов И.* Литературные отголоски // Русские ведомости. — 1912. — № 112. — С. 2.

⁸² См.: *Астафьев А.* Забытый писатель (А. А. Золотарев) // Горьковские чтения. 1964—1965. — М.: Наука, 1966. — С. 318—346.

⁸³ *Измайлов А.* Хрестоматия новой литературы // Новое слово. — 1913. — № 5. — С. 117.

⁸⁴ *Золотарев А.* Во едину от суббот // Сборник товарищества «Знание» за 1913 год. — 1913 — Кн. 40. — С. 217.

грантских колониях как о «Великом Вавилоне», где «эмиграция осталась в исподнем»⁸⁵.

Бежать из большой Подпольной России больше было некуда: ни ссылка, ни эмиграция уже не являлись надежными прибежищами для поверженного Героя. Массовая беллетристика изучала радикальную мифологию под микроскопом, тем самым лишая ее сакрального статуса, превращая из живого мифа в «культурное наследие». Семиосфера Подпольной России собралась вокруг оставшегося ядра и, практически, потеряла периферию. Интеллигенция покидала радикальные партии, деление на своих и чужих проходило теперь там, где раньше не могло быть и речи о четкой границе. Так, для массы сознательных рабочих интеллигенция, отошедшая от активной политической деятельности и неудовлетворенная прежними «заветами», окончательно стала чужой:

Вам — «чары навии», рукоплесканья,

Пирь безумные, цветы ажурные...

Нам — жизнь в безвестности, снега изгнания,

Могилы братские, скитанья бурные...

Вам — звоны сладостных певец,

Нам — цепи ржавые темниц.

Вам — чаши хмельные, вам — ложа смятые,

Вам — шорох шелковый, соблазны модные...

Нам — нивы дальние, хлеба несжатые,

Станки сверлящие, ремни приводные...

Вам — трепет оголенных плеч,

Нам — молот, плуг, зубило, меч [...]»⁸⁶

Эти характерные «Вам — Нам» отражают обострившееся чувство непонимания сознательными рабочими процессов, происшедших в среде радикальной интеллигенции. То, что отводилось «Вам» — новая литература («чары навии» — повесть Ф. Сологуба «Навьи Чары»), эротика («ложа смятые»), реабилитация искусства, — являлось доказательствами измены бывшему общему делу. Интеллигенцию обвиняли в погоне за «цветами жизни» и в «попрании народных идеалов»⁸⁷. Сознательные рабочие недоумевали, почему «бывшие партийные стали жить каждый про себя»⁸⁸, а главное — для себя:

⁸⁵ Рысс П. В пасти дьявола // Русская мысль. — 1913. — Кн. 2. — С. 134.

⁸⁶ Богданов А. Два стана // Русская революционная поэзия: антология. 1895—1917. — Л.: Советский писатель, 1957. — С. 101—102. Выделение мотива «Вам — Нам» мое. То же деление широко представлено в рабочей поэзии *безвременья*. См.: Два стана // Вперед. Сборник стихотворений и песен / Сост. М. Львович. — Ростов-на-Дону: Изд-во «Донская речь», б. г. — С. 72—73; Поступаев Ф. Не всем // Поступаев Ф. У земли и у котла: песни трудовой жизни. — М.: Изд-во «Посредник», 1906. — С. 62., и др.

⁸⁷ Карпов П. Говор Зорь. Страницы о народе и интеллигенции. — СПб.: Изд-во Пушкинскаго скоропечатня, 1910. — С. 26.

⁸⁸ Клейнборг А. Что думает интеллигенция из народа // Новая жизнь. — 1911. — № 4. — С. 201.

Мы, конечно, понимаем, что прошло уже то время, когда громадная масса интеллигенции воспевала рабочего, проникалась его идеологией, шла на служение к нему и болела его скорбью, но нас удивляет лишь то, что эта измена совершилась так быстро⁸⁹.

Созданный для рабочих журнал «Живое слово» провел анкету о народе и интеллигенции. Начиная с пятого номера за 1912 год журнал публиковал письма рабочих на тему возникшей между ними и интеллигенцией «пропасти». Рабочие отдавали себе отчет в том, что проблема эта не нова, но до сих пор ее формулировали преимущественно интеллигенты. В эпоху *безвременья* потребность объявить о наличии «пропасти» возникла у самих рабочих, поскольку интеллигенция откинула объединявшие их идеалы «как ненужный хлам»⁹⁰.

Идеологи рабочего движения из рядов интеллигенции, оставшейся верной идеям радикализма, предложили формулу для понимания сути «измены»: из наших рядов уходит разночинная интеллигенция, говорили они. На смену ей явится новая интеллигенция из рабочих⁹¹. И будущая «новая интеллигенция» спешила расписаться в приверженности старым мифам:

Не верь дням тишины, раздумья и покоя...
Они обманчивы, как предрассветный сон...
Под пеплом жертвенным не умерло былое...
Народ не поражен:
Заветы прошлого хранит в темницах он...⁹²

Радикальная интеллигенция потратила немало сил, чтобы включить рабочих в семиосферу Подпольной России. Когда же плоды многолетних усилий дали себя знать, значительная часть интеллигенции сама разочаровалась в радикальной мифологии. Создалась парадоксальная ситуация, достаточно болезненная для обеих сторон. Уже помимо воли интеллигенции элементы созданной ею мифологии были реанимированы и восприняты в рамках рабочего движения, а позднее заново синтезированы в государстве диктатуры пролетариата. Но в целом мифология «золотого века» Подпольной России — мифология радикальной интеллигенции, еще не прошедшей школу первой революции и *безвременья*, — оказалась вытеснена историей, превратилась в «культурное наследие».

⁸⁹ Открытое письмо рабочих М. Горькому // Труженик. — 1908. — № 13/14. — С. 38.

⁹⁰ Афанасьев Н. Народ и интеллигенция (По поводу анкеты) // Живое слово. — 1912. — № 16. — С. 11—13.

⁹¹ Иванович С. Новые времена, новые песни (К ликвидации разночинца) // Вершины. — 1909. — Кн. 1. — С. 263—285.

⁹² Богданов А. Из песен безвременья. Былое // Новый день. — 1909. — № 15. — 13 декабря. — С. 2.

КРОВЬ НА СЕРЕБРЕ ВЕКА

Мне приходится читать много рукописей начинающих беллетристов. И почти во всех искренно написанных произведениях царит дух смерти. Выступают люди с чистым сердцем и сильной волей, но волей не к жизни, а к смерти.

В. А. Поссе, «Воля к смерти»⁹³

По всей унылой долине нового русского безвременья трещат короткие выстрелы: это молодежь вычеркивает себя из жизни.

Л. Войтоловский, «Мысли молодежи о самоубийствах в ее среде»⁹⁴

Остановка мифологического времени и конец радикального Героя хронологически совпали с феноменом, осмысленным современниками как «эпидемия самоубийств». В России, подобно любой другой модернизирующейся стране начала века, самоубийство признавалось важной социальной проблемой, которую так или иначе связывали с процессами урбанизации, миграции, обнищания и проч. Но *безвременье* неожиданно выдвинуло на первый план проблему интеллигентного самоубийцы с политической биографией, а еще конкретнее — молодого интеллигентного самоубийцы. Дискурсивный аспект пересекался с жизнью: эпидемия молодежных самоубийств существовала, она может быть относительно полно прослежена статистически. Но и символическая фигура молодого интеллигента, уходящего из жизни, не случайно оказалась вырванной из общей картины самоубийств в стране. Интеллигентные самоубийцы не уходили молча — они оставляли записки, письма и рассказы. Те, кто оставались жить, создавали тексты об ушедших. Очевидно, что фигура самоубийцы воплощала какое-то очень важное для интеллигенции эпохи *безвременья* содержание. В интеллигентской среде были револю-

⁹³ *Поссе В. А. Воля к смерти // На темы жизни -- СПб.: Изд-во «Вестника знания», 1909. — С. 27.*

⁹⁴ *Войтоловский Л. Мысли молодежи о самоубийствах в ее среде // На помощь молодежи / Сост. Т. Л. Кривоносов. — Киев: Изд-во общества взаимопомощи студентов Киевского политехнического института Императора Александра, 1910 — С. 106*



ционеры, террористы, провокаторы, были адвокаты, учителя и доктора. Теперь выяснилось, что в этой среде «бывают и с а м о у б и й ц ы»⁹⁵.

Самоубийство, этот недуг наших дней [...] Будничное явление — каждодневная смерть десятков юношей и девушек! Как это дико прозвучало бы повсюду, только не в России. И как это горько звучит у нас⁹⁶.

Сегодня почти невозможно восстановить полную статистическую картину эпидемии молодежных самоубийств начала века. Тогда грамотная статистика самоубийств велась лишь в столицах (Петербург, Москва) и в Одессе. Собиралась она также по Варшаве и другим привисленским городам. В ежегодных отчетах «О состоянии народного здоровья» содержались данные по губерниям России, но они носили более-менее случайный характер и часто бывали неполны⁹⁷.

Учетом именно молодежных самоубийств занималось Министерство народного просвещения, с 1906 года издававшее отчеты своей врачебно-санитарной части⁹⁸. Кроме того, в роли статистиков в годы *безвременья* выступали журналисты и педагоги, и при-

⁹⁵ Чуковский К. Самоубийцы (Очерки современной словесности) // Речь. — 1912. — № 352. — С. 3.

⁹⁶ Самоубийство (Наша анкета) // Новое слово — 1912. — № 6. — С. 4.

⁹⁷ Отчет о состоянии народного здоровья и организации врачебной помощи в России за ... год. — СПб.: Изд-во Управления Главного врачебного инспектора МВД. В исследовании использованы отчеты за 1907—1912 годы

⁹⁸ Самоубийства, покушения на самоубийство и несчастные случаи среди учащихся русских учебных заведений в ... году. — СПб.: Изд-во Министерства народного просвещения, врачебно-санитарной части учебных заведений. В исследовании использованы отчеты за 1905—1911 гг. (соответственно первый отчет вышел в 1906 году, а последний — в 1913-м).

водимые ими данные обычно выше официальных⁹⁹. Тем не менее данные МНП позволяют увидеть именно эпидемический характер процесса, неуклонный рост числа самоубийств из года в год.

Таблица 2

Самоубийства в учебных заведениях МНП в 1905—1911 годах¹⁰⁰.

| Год | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Число самоубийств* | 27 | 88 | 104 | 142 | 212 | 256 | 246 |

* В эту графу включены и «покушения на самоубийство».

Неофициальное анкетирование гимназистов старше 16 лет, проведенное уже на излете «эпидемии» в 1912 году, показало, что 26 % из числа опрошенных бывали близки к самоубийству¹⁰¹.

Один из самодеятельных статистиков той поры, Дмитрий Жбанков, высказал предположение о существовании двух суицидальных волн: первая охватывала 1905—1906 годы и, по мнению Жбанкова, «уносила преимущественно представителей власти, отчаявшихся в возможности сохранения старых порядков». Следующую волну он датирует последней половиной 1906 года и прослеживает через всю эпоху *безвременья*. Именно вторая волна «захватывает... преимущественно молодых представителей протеста и борьбы, не могущих примириться с крушением всех своих надежд и с возвратом старых порядков»¹⁰².

Наблюдение Жбанкова небезынтересно, поскольку цифры действительно позволяют говорить о существовании двух волн эпидемии самоубийств. Очень четко они прослеживаются для Казанского и Московского учебных округов. Первая волна — 1905—1908; вторая — с 1908 года. Однако для других регионов эта схема не работает, и весь процесс можно представить как чередование лидирующих по числу самоубийств пар учебных округов, которое в целом дает высокий суицидальный фон. Если в качестве критерия взять динамику изменения числа самоубийств по отношению к предыдущему (с 1905 по 1911-й) году¹⁰³, то окажется, что в 1906 году в сильный

⁹⁹ Часто эти данные давались без каких-либо ссылок на источник информации. Вот типичный пример. «По данным 1903—1905 г. из числа 2 000 самоубийств, имевших место в России, более 400 пришлось на долю студентов и курсисток. За последние месяцы число студенческих самоубийств доходит уже почти до половины общего их числа по всей России» (Студ. Ляховецкий А. Л. Больные стороны студенческой жизни // Студенческая жизнь. — 1910. — № 13, С. 12)

¹⁰⁰ Таблица составлена по сводным таблицам МНП, печатавшимся в каждом отчете под № 1

¹⁰¹ П-с Ф. Самоубийства в средней школе при свете анкет // Речь. — 1912. — № 104. — С. 2.

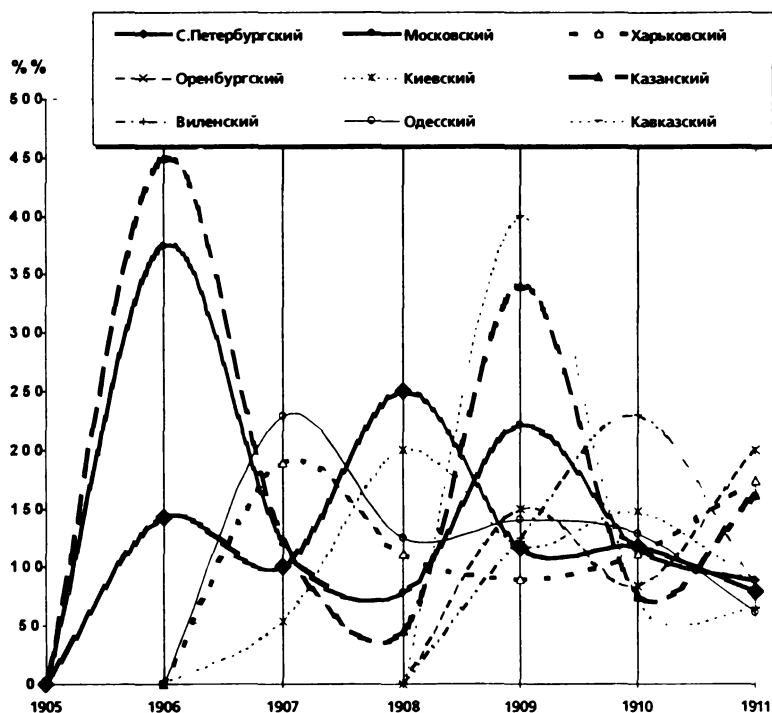
¹⁰² Жбанков Д. О самоубийствах в последние годы (Статистический очерк) // Русское богатство — 1909. — № 4 — С. 39

¹⁰³ Динамику изменения числа самоубийств по отношению к предыдущему году легко вычислить по данным МНП (каждый предыдущий год берется за 100 %)

отрыв ушли Московский и Казанский учебные округа, причем Казанский лидировал. В 1907 году их вытеснили Одесский и Харьковский округа, на следующий год — Петербург и Киев, а в 1909 году вновь вырвалась вперед Казань, на сей раз в паре с Кавказским учебным округом. В 1910 году наблюдается явный перелом общей тенденции: темпы роста числа самоубийств по отношению к 1909 году резко упали во всех учебных округах. И вот с этого момента мы фиксируем интересный процесс: столичные учебные округа продолжают снижать темпы суицида, в то время как провинция дает новую волну эпидемии. Это совершенно очевидно в случае с Казанским, Харьковским или Оренбургским учебными округами.

График 1

Динамика самоубийств по учебным округам
(в процентном отношении к каждому предыдущему году)¹⁰⁴.



Причина, видимо, банальна: в таких городах, как Москва, Петербург или Киев, найти новую нишу в социальной или культурной

¹⁰⁴ График составлен по сводным таблицам МНП, печатавшимся в каждом отчете под № 1

сфере было гораздо проще, чем в провинции, где разочарование в прежних идеалах только укреплялось из-за отрыва от «настоящей» жизни. В Москве можно было записаться на лекции религиозных философов, популярных литературных критиков, читавших на тему «Уходящие из жизни»¹⁰⁵. Можно было бегать на выступления модных писателей, ожидая от них рецептов выживания. Студенческие журналы сообщали, что вчерашнего «Бога-Бельтова» студенчество сменило на Маха, а увлечение экономическими учениями — на религиозные искания. Пустуют некогда переполненные аудитории профессора Туган-Барановского, но не попасть на лекции «мистиков и богоискателей»¹⁰⁶. В провинциальной молодежной среде наблюдались те же процессы, но столичных возможностей там просто не имелось. Зато практически на всех провинциальных сценах страны в 1909 году шла пьеса «Клуб самоубийц»¹⁰⁷. Выступления местных лекторов о самоубийствах собирали по 700—800 человек публики. Именно такую цифру зафиксировал казанский пристав на лекции «Об отрицании жизни» 8 декабря 1908 года. Хотя публика долго аплодировала лектору, многие студенты, бывшие там, остались не удовлетворены его рассуждениями о порочном «социальном укладе русской жизни». Они решили вновь собраться для обсуждения этой волновавшей всех проблемы¹⁰⁸.

Ощущение потерянного Рая — вот основной мотив молодежной публицистики и беллетристики тех лет:

Что-то невозвратное
Утеряли люди.
Ищут непонятное,
Думают о чуде...¹⁰⁹

Что ж, торжествуйте, вы разбили:
Мы слишком много пережили,
Мы не годны, мы все изверились, устали.
В борьбе надежду потеряли,
Устали мы!¹¹⁰

Кандидатка в самоубийцы заявила в письме к А. М. Горькому: «У нас на Руси все оплевано, все взято на подозрение, не на что опереться, все шатко, нечем жить...»¹¹¹ Представим себе, как, написав это письмо, девушка открывала очередной номер газеты, заполненный материалами о самоубийствах: «Застрелился студент —

¹⁰⁵ «В большой аудитории Политехнического музея в субботу, 27-го ноября, С. В. Яблоновский прочтет в пользу Общества деятелей литературы лекцию на тему *Уходящие из жизни*». (Московские вести // Русские ведомости. — 1910 — № 271. — С. 4).

¹⁰⁶ К вопросу о «кризисе» студенчества // Студенческая жизнь. — 1910. — № 22. — С. 2.

¹⁰⁷ «Провинциальная летопись» журнала «Театр и искусство» сообщала о постановке пьесы «Клуб самоубийц» в Проскурове, Владикавказе, Керчи, Казани и других городах России. См.: Провинциальная летопись // Театр и искусство — 1909 — № 3, 4, 6 и т.д.

¹⁰⁸ НАРТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 848. Л. 468—469

¹⁰⁹ Рубакин А. Брат, слова жестокие... // Современник — 1911. — Кн. 11. — С. 123.

¹¹⁰ Ковалев М. Наши дни // Студенческий сборник — Вышний Волочек. Изд-во Н. Г. Цыварева, 1909.

¹¹¹ Горький М. Статьи 1905—1916. — Пг.: Изд-во «Парус», 1918. — С. 80.

сын начальника тюрьмы... Застрелился накануне суда по политическому делу студент и гимназистка... В связи с историей Гапона застрелился член партии, молодой рабочий... Отравилась гимназистка 8 класса: зачем жить слабым людям...» — и т. д.¹¹² Хроникеры «Речи» в 1909 году констатировали, что газетные телеграммы «пестреют сведениями о самоубийствах»¹¹³. В той же «Речи» Георгий Чулков размышлял об особом воздействии на читателя материалов из «рубрики самоубийц»: сообщения о добровольно застрелившихся, отравившихся и утопившихся не самодостаточны. «Строки газетного петита приобретают порою значение иероглифических символов», которые хочется разгадать, расшифровать, понять, что они действительно означают¹¹⁴.

Потребность обсуждать эти темы поддерживалась иллюзией, что выяснение природы эпидемии позволит обезопасить себя. «Почтовые ящики» газет и журналов печатали объявления читателей, желающих переписываться «о причинах самоубийств молодежи»¹¹⁵. Провинциальные журналы публиковали бытовые зарисовки, в которых молодые собеседники обменивались соображениями о современных самоубийствах:

— А что у вас теперь в Москве студенчество подделывает? Обращается к москвичке бывший студент (так он и отрекомендовался), что захватывает, занимает, волнует?...

— Ничего. Пустота одна. Тоска. Как везде: разочарование *toedium vitae*, самоубийства...

— Да, самоубийства... глубоко вздохнул бывший студент. — Ужасно, ужасно!..¹¹⁶

Самоубийцам посвящались стихи¹¹⁷, беллетристические влюбленные вели разговоры о самоубийствах своих ровесников, и юноши покоряли подруг серьезным анализом ситуации:

С характеристики современного положения студентов он перешел к разбору вопроса о частных самоубийствах [...] Пережитые политические бури, экономические неурядицы, переоценка всяческих идей и синемаатографическая смена настроений — все это приносит много жертв на алчный алтарь жизни [...] После сильного подъема общественной энергии, настроение тупика всецело и цепко захватило всю мыслящую, всю интеллигентную Русь [...] Кризис внутреннего ми-

¹¹² Жбанков Д. Современные самоубийства // Современный мир. — 1910. — № 3. — С. 33—35.

¹¹³ Разные известия // Речь. — 1909. — № 128. — С. 5.

¹¹⁴ Чулков Г. Самоубийцы // Речь. — 1912. — № 64. — С. 2.

¹¹⁵ Почтовый ящик // Живое слово. — 1912. — № 7. — С. 16.

¹¹⁶ Кадер Б. Бегство (Путевые заметки и настроения) // Жизнь (Казань). — 1913. — № 37. — С. 596.

¹¹⁷ Погodin Я. Самоубийце // Литературно-художественный сборник журнала «Жизнь». — СПб.: Изд-во журн. «Жизнь», 1908. — С. 123; Р-ч. Н. Самоубийце // На помощь молодежи. — С. 51.

росозерцания и общее разочарование способствуют страшной, потрясающей дешевизне жизни.[...] Мы живем в страшные, кошмарные дни... Жизнь ничто! —

и так далее на трех страницах¹¹⁸. Бывшие беллетристические революционерки накладывали на себя руки, подобно двум сестрам из романа Н. Н. Русова «Отчий дом»: сенаторские дочери, в революцию совершавшие «чудеса самопожертвования и смелости», в эпоху *безвременья* не смогли выжить¹¹⁹.

Наблюдая происходящее, В. Розанов приходил к выводу, что, подобно политическим убийствам, современные самоубийства — «все суть литературные». Он предлагал обставить историю современной литературы этими своеобразными «крестами»: «посмертными и предсмертными записочками, признаниями и дневниками самоубийц и убийц»¹²⁰. Розанов не сомневался, что беллетризация интеллигентских самоубийств происходит по известным литературно-жизненным канонам подполья.

Действительно, подобно прежней героической литературе, по стране расходились популярные сборники под названиями «Смерть» и «Самоубийство». Газеты анонсировали появление очередного произведения «на современную тему о самоубийцах»¹²¹. Все это создавало благоприятную атмосферу для тех, кто больше не видел смысла в жизни. Толчком к подобному выбору могло послужить что угодно — от статьи в газете до самоубийства соседа. Бросившаяся в водопад на Иматре девушка показала пример еще 16 своим сверстницам, «приезжавшим иногда издалека с специальной целью броситься в водопад»¹²².

Но очень часто толчок давала художественная литература, к которой молодая интеллигенция, подобно своим отцам и дедам, обращалась в поисках нового позитивного идеала. По данным опроса студентов Технологического института в Петербурге (1910 г.) преимущественно беллетристику читало 80,3 % опрошенных. Для сравнения: литературу по техническим наукам предпочитали 39,1 % студентов; по общественным — 29,3 %; по философии — 23,9 %. В техническом вузе беллетристика безусловно лидировала, и это было типично для России¹²³.

¹¹⁸ Ратнер А. Счастье // Ратнер А. Тоска. — Киев: Изд-во «Солнце», 1911. — С. 20—64.

¹¹⁹ Русов Н. Н. Отчий дом. — М.: Изд-во т-ва «Образование», 1911. — С. 20.

¹²⁰ Розанов В. О психологии терроризма // Новое время. — 1909. — № 11985. — С. 4.

¹²¹ «В 39-м сборнике *Знания* будет помещена новая повесть М. Горького *Случай из жизни Макара* на современную тему о самоубийствах» (Литературная летопись // Речь. — 1912. — № 123. — С. 3).

¹²² Жбанков Д. О самоубийствах в последние годы. — С. 28.

¹²³ Гусельщиков М. Из студенческой анкеты // Русское богатство. — 1910. — № 6. — С. 97

Однако беллетристика *безвременья* несла на себе ту же печать интеллигентской растерянности. Если раньше к молодежи взывали:

Вам путь тяжелый предстоит
И ждет немало вас лишений,
Но пусть вам силы подкрепит
Пример минувших поколений...¹²⁴ —

если раньше сама Вера Фигнер верила что «Идеальное стремление с нами не умрет! / Молодое поколение с нас пример возьмет»¹²⁵, то теперь в качестве примера молодежи предлагали в лучшем случае полную противоположность мифологическому Герою — индивидуалиста, человека аполитичного, живущего только для себя.

Все поколение прошло, как сквозь строй, от революции — к «эстетике», к половому вопросу и к Санину, от общего к личному, от человечества — к эго. И вот, в конце — револьвер, —

резюмировал К. Чуковский¹²⁶. Потенциальные самоубийцы уточняли, что за револьвер они брались не потому, что этого требовала логика «санинщины», а как раз наоборот, в знак протеста против этой логики.

Мы жили идеалами, верой в людей и в светлое будущее. Теперь мы одиноки: идти за церковный частокол, куда зовут нас наши отцы («Вехи»), мы по совести не можем; жить вашим «единым хлебом» и во имя его мы не хотим; помириться с тем, что наши братья и сестры только «субутыльники», мы не в силах¹²⁷.

Герой литературной мифологии «золотого века» учил жизни, новый герой-самоубийца не говорил ничего позитивного, он учил смерти. Несмотря на это, молодые интеллигенты пытались идти по протоптанному дорожке, обращаясь за советом к писателям. Беллетристика проиграла и эту ситуацию: молодую девушку, бывшую революционерку, решившуюся на самоубийство, сводят с «властителем дум» передовой интеллигенции — писателем Перелешиним. Он оказывается чутким и мудрым человеком, и девушка уходит от него исцеленной. Но вскоре она узнает, что «ее» Перелешин — родной брат настоящего писателя. И так, ей помог «не тот» человек! Она опять превращается в потенциальную самоубийцу¹²⁸.

Во избежание подобных ошибок миссию посредника между читателями и писателями взял на себя журнал «Новое слово», ра-

¹²⁴ Омулевский (И. В. Федоров). К молодому поколению // Избранные произведения русской поэзии. / Сост. В. Бонч-Бруевич. — СПб.: Изд-во М. М. Стасюлевича, 1909. — С. 86.

¹²⁵ Фигнер В. Н. Колыбельная песнь // Там же. — С. 121.

¹²⁶ Чуковский К. Самоубийцы (Очерки современной словесности) // Речь. — 1912. — № 352 — С. 3

¹²⁷ Сын Ответ матери // На помощь молодежи. — С. 48.

¹²⁸ Тимковский Н. Не тот // Живое слово. — 1912. — № 47. — С. 2—6.



зослав в 1912 году соответствующий опросник «настоящим» писателям: Л. Н. Андрееву, М. П. Арцыбашеву, Вяч. Иванову, М. А. Кузмину, А. И. Куприну, В. В. Муйжелю, А. М. Ремизову, И. С. Рукавишникову, Ф. К. Сологубу и Е. Н. Чирикову. Результат явно не оправдал ожиданий журнала.

Куприн и Сологуб переполнены отвращением к самоубийцам — «бесхарактерным импотентам мысли и дела». Чириков, Муйжель и Рукавишников повторили общеизвестное: виновато безвременно, «мрачный железный занавес», опустившийся над русской жизнью. Леонид Андреев был просто беспощаден к читателям: «Скука, скука! Сильные умеют ждать... — но куда деваться

слабым и неразумным и слишком юным...? Только детей убитых жаль!»

Наконец, творец Санина успокоил своих многочисленных поклонников: «...знаю, что конец всех один — смерть, [...] раз все кончится так скверно, то чем скорее, тем лучше»¹²⁹.

В одном из интервью 1912 года Л. Андреев размышлял о воздействии слова писателя: «Я понимал бы такое писательство, где проповедь автора имела бы принудительную силу, действовала бы, как гипноз. Если бы, например, писатель проповедовал самоубийство, то читатель, может быть, и хотел бы, но уже *не мог* уйти от самоубийства. Сейчас нет ни одного такого писателя...»¹³⁰. Может быть, такого писателя и не было, но воздействие всей литературы *безвременья* на умы радикальной молодежи было колоссальным. Читатели старательно повторяли в дневниках мысли своих литературных учителей: «Умерла ли я 4 года тому назад, умру ли сейчас, буду ли жить еще 2 года, 10 или 20 лет — для жизни это все равно»¹³¹. Автор этой записи прожила долгую жизнь, а вот ее подруга Таня решила не ждать «еще 2 года» и покончила с собой, о чем есть упоминание в том же дневнике.

Долгие рассуждения об общественном значении собственного ухода превратились в канон. Тем задала записка одной из первых самоубийц, смерть которой получила широкую огласку в прессе. Киевская курсистка Муся Огунлук бросилась с цепного моста в Днепр, написав предварительно «письмо к русским девушкам»:

К вам мое слово: я одна из многих и падаю жертвой для многих... Я дольше жить не могу... Нет друзей, нет добрых товарищей, *есть собутельники*... Теперь я не могу верить, а можно ли жить без веры?.. Девушки, не примиряйтесь с жизнью...Моя последняя просьба: тело мое, конечно, не найдут... Но я хочу оставить себе памятник, на котором было бы написано «Не примирилась, ушла от жизни!»¹³²

Застрелившийся в Киеве же гимназист Василий Бабиенко тоже оставил записку: «Братья, я верю, что кровь моя не даром пролита, что вы, юноши, не забудете добиться того, за что пали мы...»¹³³

¹²⁹ Самоубийство (наша анкета) //Новое слово — 1912. — № 6. — С. 4—12.

¹³⁰ *Измайлов А.* Пестрые знамена. Литературные портреты безвременья. — М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1913. — С. 24—25.

¹³¹ Дневник Е. Н. Сахаровой-Вавиловой № 2 — ГАРФ. Ф. 328. Оп. 1. Д. 8. Л. 264. Что касается непосредственно воздействия творчества Леонида Андреева, то некоторые его читатели признавали его колоссальным: «...его книгую (речь идет о «Мои записках» Л. Андреева. — М. М.) будут упиваться, от нее станут вешаться, станут сходить с ума и воскресать!» (*Закржевский А.* Подполье. Психологические параллели. — Киев: Изд-во журн. «Искусство и печатное дело», 1911. — С. 23).

¹³² К русским девушкам // На помощь молодежи. — С. 1—2.

¹³³ Студ. *Кривонос Т. Л.*, «Одинокие» и их «последнее слово» // Студенческая жизнь. — 1910. — № 22 — С. 4.

Как могли девушки и юноши не откликнуться? Они шли путем Муси и гимназиста Бабиенко. Многим легко удавалось вжиться в Мусин образ: некая М. Хрущевская написала рассказ «Которая по счету» — рассказ о киевлянке, прыгнувшей с цепного моста в Днепр¹³⁴. Она прошла вместе с Марусей весь путь от дома до реки, рассказала обо всех «ее» мыслях и мотивах, а потом сбросила героиню с моста. Трагедия, но понятная, объяснимая, ожидаемая, «которая по счету».

Другая самоубийца — героиня рассказа московской курсистки Станевич «Последние листья» — действует все по тому же литературно-жизненному канону, т.е. перед смертью пишет подробное письмо-объяснение. Письмо обращено к любимому:

Знаю, что достижение нашей цели стало делом твоей жизни, как и моей, что этим выбором определился весь наш путь, все наши «да» и «нет»... Но... вот делать мы уже ничего не можем. Помнишь Васю покойного, знаешь, что он говорил, когда собирался на покушение? «Лучше этого я все равно ничего не сделаю... А вот мы победим (мы тогда еще так верили), революция кончится, а что я тогда буду делать?»

Так вот и я, и ты, — не нужны мы... Отдали мысли, сердца, жизни. Но теперь нужно другое, другие, — мы ими быть не можем: в иное время складывались, иному богу молились¹³⁵

Кто знает, сколько юношей и девушек могли подписаться под этим письмом. «*Последние листья* В. Станевич очерчивают то безотчетное чувство, которое приводит молодых людей к самоубийству...» — считал автор рецензии в студенческой газете¹³⁶. Самоубийство для них являлось последним сознательным, наиболее значительным актом общей социальной биографии, поэтому оно не было делом личным, интимным. Самоубийства совершались в театрах, на балах (в разгар ученического бала в Казанской женской учительской семинарии повесилась ученица 4-го класса. Согласно предсмертной записке, причина самоубийства — «невозможность сделать из жизни что-либо хорошее»)¹³⁷, на людных городских улицах¹³⁸. В посмертных записках часто содержались указания на существование клубов самоубийц. 3 марта 1910 года в Пе-

¹³⁴ Хрущевская М. Которая по счету // Студенческая жизнь. — 1911. — № 35/11. — С. 9.

¹³⁵ Станевич В. Последние листья // Общестуденческий литературный сборник. — М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1910. — С. 108—109.

¹³⁶ Булочка С. Об «Общестуденческом Литературном Сборнике» // Студенческая жизнь. — 1910. — № 11. — 28 марта. — С. 7.

¹³⁷ Самоубийство // На помощь молодежи. — С. 265.

¹³⁸ «Тверь. Вчера в 9 час. вечера неизвестный молодой человек в студенческой форме на глазах всех, забравшись на перила железного моста через Волгу, крикнул *Прощай моя воля, прощай моя свобода!* И бросился с громадной высоты в Волгу» (Разные известия. Эпидемия самоубийств // Речь. — 1909 — № 128 — С. 5).

тербурге одновременно покончили с жизнью курсистки сестры Кельмансон (18 и 19 лет) и их родственница гимназистка Мария Лурье, 15 лет. Судя по оставленным запискам, они состояли в обществе «Ближе к смерти». Через несколько дней, 9 мая, в родном городе самоубийц Минске отравился студент коммерческого училища, за неделю до этого гостивший у Лурье и Кальмансон¹³⁹.

Самоубийство как общественный акт возмещало великую потерю — раз не требуется больше служение общественному идеалу, то достойнее уничтожить себя, чем влачить жалкое существование, лишенное идеи и ясной перспективы.

Господа! Сегодня я хочу вас поразить ибо для вас у меня припрятано нечто экстраординарное, — начинает свое последнее письмо гимназист 8-го класса (1909 г.)... — Жизнь, скажут мне, хорошая вещь сама по себе, ну а если ее хорошо прожить. Что же значит это хорошо прожить, а это значит получить как можно большее количество наслаждений... Сего желали мы гг. обвиняя сытых, жирных буржуа питающихся за счет народа в том что они поступают несправедливо? Ведь он тоже идет к «цели», к той самой цели, к которой, по мнению современных философов, идет человечество¹⁴⁰. (*Сохранен язык и пунктуация оригинала*).

Подобные «программные» записки и письма самоубийц призваны были превратить индивидуальный акт ухода из жизни в событие общественно значимое — даже смерть молодое поколение интеллигенции хотело принять как часть сложного организма: Подпольной России. Распознавая в этом послании хорошо знакомые мотивы, представители старшего поколения интеллигенции именно так и воспринимали молодежные самоубийства:

Смерть гимназиста Бабиенко из акта личного переходит в акт общественный. Это не результат *личного* отчаяния, *личной* его, Бабиенка, нужды [...] Самоубийство Бабиенко — это средство борьбы...¹⁴¹

Самоубийство казалось единственным логически верным шагом для тех, кто находил смысл своего бытия лишь в русле героического мифа. Молодые люди, успевшие приобщиться к мифу Подпольной России, предстали незащищенными перед лицом краха радикальной мифологии. Они не знали, как относиться к государству, если оно не безусловно враждебно, не представляли себя профессионалами в обществе (без некой высшей миссии), не умели и не хотели жить для себя. Молодой интеллигентный самоубий-

¹³⁹ Драма двух курсисток и гимназистки // На помощь молодежи. — С. 253—255.

¹⁴⁰ Приложение: Записка застрелившегося гимназиста 8 класса // Самоубийство, покушения на самоубийство и несчастные случаи среди учащихся ... в 1909 году. — С. 81.

¹⁴¹ Кузьмин Е. Из моего окна: По поводу самоубийства Бабиенко // На помощь молодежи. — С. 28.

ца был символическим повторением Героя — тоже непременно молодого и жертвовавшего своей жизнью ради торжества радикального идеала. Самоубийцы *безвременья* стремились вписаться в героическую поэтику, также жертвуя жизнью, теперь уже ради поверженного идеала.

Подруги отравившейся в 1910 году цианистым калием курсистки Евгении Валк написали возмущенное письмо в газету, возлагая ответственность за смерть Жени на все общество: «Долго ли еще добрые, честные, чистые, любящие будут уходить из жизни, вместо того, чтобы жить, верить, любить и работать? Долго ли?» В результате Женина смерть сразу получала революционно-политическую окраску, а сочувствие подруг-курсисток выглядело как смелый акт общественного протеста¹⁴². Но изменилось само общество, и в новых условиях героизм самоубийц адекватно прочитывался только в определенном, довольно узком кругу интеллигенции. Параллельно существовало несколько интеллигентских дискурсов, в рамках которых эпидемия самоубийств наделялась разными смыслами. А с интеллигентскими моделями равноправно соперничали другие дискурсы.

В рассказе Г. Чулкова «Разговор (Письмо с дороги)» три случайных попутчика — «рыхлый купец», «гс сподин средних лет», он же врач, он же конституционный демократ, и «молодой человек» — воплощали три параллельных дискурса. Купец говорил об утере традиционных ценностей, старого жизненного уклада и упадке веры. Либерал средних лет предлагал профессиональную медицинскую экспертизу (эпидемия), либеральные методы борьбы с самоубийствами (просвещение, агитация) и «отцовские» соображения о возрастном аспекте явления (в третьем классе его сын считал себя социал-демократом, а теперь, будучи выпускником гимназии, не видит смысла в жизни и хранит в столе пистолет). Наконец, молодой человек, студент, отстаивает права своего поколения на сведение счетов с жизнью: «уходящего не тронь и пусть освобождается»¹⁴³.

Самые интересные метафоры эпидемии молодежных самоубийств возникали на пересечении конкурирующих дискурсов, когда ни одна из возможных логик восприятия не имела преимущества перед другой. Уникальная история петербургской Лиги самоубийц, о которой мы собираемся рассказать, стала реальностью только благодаря образовавшейся в эпоху *безвременья* возможности взаимопроникновения разных дискурсов, сотрудничества лю-

¹⁴² Долго ли? Письмо в редакцию «Русских Ведомостей» // Женское дело — 1910 — № 11 — 12. — С. 16.

¹⁴³ Чулков Г. Разговор (Письмо с дороги) // Речь — 1912. — № 118 — С. 2

дей из разных политических лагерей, и даже — из разных мировоззренческих сфер.

* * *

6 февраля 1912 года в вечернем выпуске «Биржевых ведомостей» появилось сенсационное сообщение о существовании в Петербурге таинственной Лиги самоубийц. Автор сообщения, Н. фон Гук, излагал сведения, полученные им от члена Лиги — некой студентки: в Лиге состоит несколько сот человек, но сейчас Лига расширяется, устраивая отделения в Москве и Харькове. Члены петербургского отделения собираются для обсуждения рефератов о смерти, но главная цель собраний — жеребьевка. Члены Лиги тянут жребий, и тот, кто вытаскивает определенный билетик, становится очередным кандидатом в самоубийцы¹⁴⁴.

10 февраля 1912 года Н. фон Гук делился с читателями «Биржевых ведомостей» новой информацией, почерпнутой им из писем, пришедших в ответ на первую публикацию о Лиге. За четыре дня уточнили число организованных самоубийц: по данным корреспондентов газеты оно составляло 500 человек, преимущественно из учащейся молодежи!¹⁴⁵

В тот же день, 10 февраля, сообщение о Лиге появилось в газете «Вечернее время». Информатором в данном случае послужил некий молодой врач — член Лиги. Оказывается, настоящее название Лиги самоубийц — «Друзья смерти». Активных членов этого клуба всего 60—70 человек. Они ведут борьбу с опошлением самоубийства. Молодой врач опровергал «слухи», ранее в газетах появлявшиеся: во главе Лиги не стоят известные писатели (Ф.С. и М.А.). Так деликатно газета преподнесла еще более сенсационную новость: петербургских самоубийц возглавляют писатели Федор Сологуб и Михаил Арцыбашев!¹⁴⁶

Сообщение о Лиге самоубийц в очередной газете содержало новые пикантные подробности: петербургский клуб имеет 8 квартир, где проходят собрания. Центральная квартира оформлена следующим образом: на стенах висят портреты Шопенгауэра и Гартмана. Рядом — фотографии Сологуба и Арцыбашева. В настоящий момент Лига планирует устройство показательного самоубийства. «Для обреченных в одном из ресторанов будет устроен прощальный ужин, по окончании которого они должны будут выпить циа-

¹⁴⁴ Гук, фон. Н Лига самоубийц в Петербурге (Письмо в редакцию) // Биржевые ведомости — 1912. — 6 февраля

¹⁴⁵ Гук фон. Н Новое о лиге самоубийц // Биржевые ведомости. — 1912 — 10 февраля

¹⁴⁶ *Salvator* Друзья смерти // Вечернее время — 1912 — 10 февраля

нистого калия в бокалах с шампанским. А затем целый ряд самоубийств привлечет в лигу впечатлительных людей»¹⁴⁷.

Итак, в течение одной недели страна узнала не только о существовании Лиги самоубийц в Петербурге, но и подробности о ее членах и руководителях. Вначале образ Лиги строился явно в соответствии с представлениями об эпидемии самоубийств среди сознательной интеллигентной молодежи: Лига состояла из молодых студентов и студенток, стремящихся осознанно уйти из жизни (обсуждали рефераты на эту тему). Даже подробность о жеребьевке перекликалась с расхожими представлениями о политических подпольных организациях: революционеры-боевики тоже тянули жребий перед терактом. Но вот к разговорам о Лиге подключаются другие газеты, и в описание ее деятельности вносится определенный налет декаданса. Во-первых, члены Лиги ведут борьбу с опошлением самоубийства, ищут красивых форм ухода из жизни, эстетизируют смерть. «Активных» самоубийц-эстетов не сотни и не 500 человек, а всего 60—70, небольшой круг избранных. Для такого количества людей вполне реально устроить красивый прощальный ужин в ресторане. Портреты Гартмана и Шопенгауэра тоже принадлежат миру именно этих людей, в то время как выбор в «руководители» Лиги Сологуба и Арцыбашева не противоречит ни одной «модели» Лиги.

Уже 16 февраля в газете «Голос Москвы» петербургская Лига самоубийц объявляется типичным общероссийским феноменом, в пределах которого нивелируются культурные и идейные различия: «В большей или меньшей степени общественной истерией охвачены все классы общества, и клуб самоубийц есть только резкий факт, по своему необычаю выделенный в общественном мнении»¹⁴⁸.

В тот же день читатели газеты «Земщина» узнали, как именно Сологуб и Арцыбашев руководят Лигой самоубийц. Они действуют через литературу, ведь от «Санина» к самоубийству — один шаг. В новом романе Арцыбашева все герои кончают самоубийством¹⁴⁹. Подобное отношение к творчеству Михаила Арцыбашева не было неожиданностью. Журналисты и критики и раньше занимались подсчетом трупов в его произведениях. Журнал «Русская школа» еще в 1908 году установил, что «на протяжении 342 страниц *Санина* автор дал 4 смерти среди описываемой им молодежи; из этих 4 смертей 3 случая самоубийства»¹⁵⁰. В упомянутом «Земщиной»

¹⁴⁷ Клуб самоубийц // Русские ведомости — 1912. — № 36 — С. 3

¹⁴⁸ Зритель Призраки // Голос Москвы — 1912 — 16 апреля

¹⁴⁹ Л. М. Друзья смерти // Земщина — 1912 — 16 февраля

¹⁵⁰ *Острогорский А. Н.* Педагогические экскурсии в область литературы // Русская школа — 1908 — № 3 — С. 10

новом романе Арцыбашева, «У последней черты», некоторые критики также усматривали прямую пропаганду самоубийства: «Герои романа топятся, стреляются, перерезают себе горло бритвою, вешаются, травятся»¹⁵¹. «Земщина» лишь связала это распространенное представление о природе творчества Арцыбашева со слухами о его руководстве петербургской Лигой самоубийц. Новым в статье «Друзья смерти» был эксплицитный призыв к правительству начать борьбу с эпидемией самоубийств, «не останавливаясь перед самыми суровыми средствами». Раньше ни одна газета не требовала от властей принятия мер в отношении Лиги самоубийств, в существовании которой, кстати сказать, «Земщина» не сомневалась¹⁵².

Тему о руководстве Лигой подхватили «Санкт-Петербургские ведомости»: Арцыбашев возглавляет Лигу в целях саморекламы, заявила газета. Когда нужно было создать популярность «Санину», он распространял слухи о лигах любви. Теперь, дабы разрекламировать роман «У последней черты», он встал во главе клуба самоубийц¹⁵³.

21 февраля Н. фон Гук, автор самого первого сообщения о Лиге, попытался перевести разговор в более «прогрессивное» русло, затронув вопрос о реакции старшего поколения интеллигенции на эпидемию самоубийств молодежи. Он выяснил, что при Обществе охранения народного здоровья существует отделение «борьбы с самоубийствами». Председатель общества, доктор Д. П. Никольский, не сомневается в существовании Лиги и хочет пригласить кого-нибудь из ее членов выступить перед своими коллегами¹⁵⁴.

22 февраля, через 16 дней с момента выхода первой заметки о столичных самоубийцах, газета «Раннее утро» напечатала наконец репортаж журналиста, который сам непосредственно побывал на заседании Лиги. Некая баронесса организовала ему экскурсию в Лигу: с завязанными глазами на автомобиле его доставили в дом богатого делового человека. В кабинете хозяина дома стены были уставлены книжными шкафами. Журналист отметил, что книги там были преимущественно юридические. В собрании Лиги участвовало 12 человек, хотя, по словам хозяина дома, всего в обществе состоит до 300 членов. Выслушав речь руководителя, самоубийцы стали тянуть жребий. В это время журналисту удалось набросать карандашные портреты председателя Лиги и «счастливицы, на которую пал жребий». Эти портреты были воспроизведены в газете как еще одно доказательство существования Лиги¹⁵⁵.

¹⁵¹ Волгин П. Мертвецкая // Живое слово — 1912 — № 6. — С 15

¹⁵² Л. М. Друзья смерти — С 7

¹⁵³ Вель Лига убийц // Санкт-Петербургские ведомости. — 1912. — 17 февраля.

¹⁵⁴ Гук фон. Н. Борцы с лигою самоубийц // Биржевые ведомости — 1912. — 21 февраля

¹⁵⁵ Озеров Г. Пять часов в клубе самоубийц Действительно ли существует лига самоубийц? (От нашего корреспондента) // Раннее утро — 1912 — 22 февраля

23 февраля последовала новая сенсация. Познакомившись с репортажами журналистов о петербургской Лиге самоубийц, два 16-летних гимназиста и их ровесница-гимназистка из города Великие Луки отправились на поиск Лиги. Родителям беглецы оставили одинаковые записки:

Прощайте и не ищите нас. Жизнь для нас пуста. Нет смысла страдать и радоваться. Мы умрем в кругу тех, кто разделяет наши взгляды.

Заметку о юных беглецах предваряла короткая информация о том, что петербургской сыскальной полицией производится следствие по делу о Лиге самоубийств¹⁵⁶. Так, в течение каких-нибудь двух недель слух о существовании Лиги превратился в факт, был разносторонне изучен, «проверен» и откомментирован сразу на трех уровнях: как частный случай разочарования в жизни молодой интеллигенции, как аспект модернистской поэтики жизни и как социальное явление общероссийского порядка. Через четыре дня после первой публикации слуха журналисты «знали», кто стоит во главе Лиги и как она действует. Всего за две недели российские газеты убедили в существовании Лиги всех, от председателя Общества охранения народного здравия до 16-летних гимназистов из провинции. И наконец к концу февраля Лига заинтересовалась полиция.

Петербургская сыскальная полиция занялась этим делом только 23 февраля, вслед за газетчиками и гимназистами из Великих Лук, которые сами отправились на поиски Лиги¹⁵⁷. Сложно понять, почему защитники порядка так долго воздерживались от каких-либо действий в отношении этой тайной организации, позволяя газетчикам раздувать слухи о клубе самоубийц. Можно предположить, что, в отличие от представителей общества, органы власти, и прежде всего — департамент полиции, не выработали свой специфический «дискурс» для осмысления факта существования Лиги самоубийц. Лига не ставила политических целей, хотя она, согласно газетным сообщениям, пропагандировала свою программу, пытаясь сделать самоубийства привлекательными для потенциальных членов. Но где следовало проводить черту и начинать следствие? Скажем, в Москве совершенно легально действовало общество спиритуалистов-догматиков, на своих собраниях заигрывавшее с идеями добровольного ухода из жизни. Почему же полумифическую петербургскую Лигу следовало выделять из общего ряда подобных организаций? Если цензурное отделение Канцелярии московского градоначальника разрешало публичные лекции на тему «Ми-

¹⁵⁶ На поисках лиги самоубийц // Вечернее время — 1912. — 23 февраля

¹⁵⁷ ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 795 С. 17

стическое движение среди современной интеллигенции», почему петербургская полиция должна была запрещать потенциальным самоубийцам собираться для читки рефератов на сходную тему?¹⁵⁸ В 1909 году газета «Речь» опубликовала заметку Тана, где он прямо называл Литературный клуб «клубом самоубийц»:

Да ведь только две недели назад в Литературном клубе, под видом Сологуба, целый вечер мы толковали о смерти взасос, целым собором. Смерть утверждали, со смертью — можно сказать — обнимались, красиво, со знанием дела, как будто это был не клуб литературный, а клуб самоубийц...¹⁵⁹

Существовала ли разница с точки зрения департамента полиции между литературным «клубом самоубийц» и созданной газетчиками петербургской Лигой? Со времен первой русской революции общество настолько усложнилось, социальные и политические группы так перемешались, что полиция не поспевала за новой реальностью.

Вначале допросили постоянного сотрудника «Биржевых ведомостей», собственно автора газетной сенсации, Николая Петровича фон Гука. Оказалось, что материал для первой статьи ему сообщила не «студентка — член Лиги», а «литераторша», баронесса Софья Ивановна Таубе¹⁶⁰. Вторая статья, якобы созданная под влиянием писем членов Лиги, на самом деле явилась результатом беседы со слушателем бухгалтерских курсов Владимиром Иосифовичем Месняевым. По словам фон Гука, Месняев явился в редакцию, представился членом Лиги и прокомментировал некоторые неточности первого сообщения. Месняев же на допросе показал, что, прочитав статью в «Биржевых ведомостях», он проникся желанием вступить в Лигу. В редакцию он явился с одной только целью: узнать у фон Гука подробности о клубе самоубийц!¹⁶¹

Еще более любопытную историю поведала следователям баронесса Таубе. Впервые о существовании в Петербурге Лиги самоубийц она узнала 12 лет тому назад, т. е. в 1900 году, от знакомого студента. Этот студент возил баронессу с завязанными глазами на собрание членов Лиги, где она слушала речь председателя, а потом наблюдала за жеребьевкой. Таким образом, экскурсия баронессы один к одному повторяла рассказ журналиста из газеты «Раннее утро», лично посетившего заседание Лиги. Только его сопровождала и опекала некая «баронесса». Можно предположить, что либо

¹⁵⁸ ГАРФ Ф. 63. Оп. 30. Д. 31. Л. 6

¹⁵⁹ Тан В клубе самоубийц // Речь — 1909 — № 353. — С. 3

¹⁶⁰ ГАРФ Ф. 102. Оп. 265. Д. 795. Л. 17.

¹⁶¹ Там же — Л. 18

журналист воспроизвел рассказ Софьи Ивановны Таубе, выдав ее приключение за свое, либо Таубе разыграла для газетчика инсценировку по готовому сценарию.

Сама баронесса якобы посетила Лигу еще раз, в декабре 1910 года: знакомый доктор тайно провел ее на собрание клуба. Баронесса называла и число потенциальных самоубийц — 500 человек. Во избежание многолюдных собраний разросшаяся Лига устраивала филиальные комитеты¹⁶².

На этом закончился первый этап полицейского дознания. Единственным его результатом явилось полнейшее разоблачение корреспонденций фон Гука. Показания баронессы Таубе проверять не стали и, видимо, решили на сем успокоиться. Даже если бы в ходе допросов существование Лиги подтвердилось, как действовал бы далее департамент полиции? Арестовал бы членов клуба, выслал их из столицы, запретил собрания — но на каком основании? Может, тогда пришлось бы арестовывать и М. Арцыбашева, чей последний роман некоторые читали как руководство по самоубийству?

Однако Лига самоубийц не замедлила напомнить о себе. При обыске у студента Петербургского университета Владимира Паевского чиновники охранного отделения обнаружили билет клуба самоубийц и визитную карточку студента Форобина с приглашением на вечеринку клуба. Выяснилось, что билеты были частью детской игры, начавшейся еще в гимназии. В игру были вовлечены и родители Форобина — шуточного председателя клуба. Начальник петербургской сыскной полиции с облегчением подписал документ, в котором значилось, что «клуб самоубийц фактически не существует и эта шуточная затея ничего серьезного не представляет»¹⁶³.

Но и это было еще не все. 30 апреля в газеты проникла информация о самоубийстве петербургского студента Предтеченского, которое тут же связали с существованием Лиги. Газета «Копейка» предложила своим читателям самую запутанную версию происшедшего: за несколько дней до самоубийства Предтеченский составил записку, где просил в своей смерти никого не винить. После самоубийства обнаружили другую записку, в которой он заявлял о непричастности к Лиге. Понятно, журналисты тут же сделали вывод об очередном «клубном» самоубийстве. Далее в дело вмешивается некая пожилая дама, после разговора с которой и произошло самоубийство. Ей принадлежал пистолет, из которого стрелялся Предтеченский, она же вынесла его потом из квартиры самоубий-

¹⁶² ГАРФ. Ф 102 Оп. 265. Д. 795. Л 17—17 об

¹⁶³ Там же — Л 18 об.

цы. Журналисты «Копейки», видимо, прочили даму в председательницы Лиги¹⁶⁴.

«Новая газета» преподносила ту же историю как бульварный детектив: в момент самоубийства на сцену выплывала загадочная дама «под вуалью». Правда, дама оказывалась супругой чиновника охранного отделения, что лишало правдоподобия версию о ее доме как штаб-квартире Лиги самоубийц¹⁶⁵.

Сотрудники сыскной полиции старательно подшивали к делу газетные вырезки, не перемежая их ни одним документом о собственном расследовании причастности Предтеченского к Лиге. Все версии по этому делу выдвигала пресса, первое интервью с главной свидетельницей самоубийства — сестрой Предтеченского — тоже взяли журналисты. К расследованию дела о Лиге самоубийц 11 апреля подключилось Министерство внутренних дел¹⁶⁶, но никаких доказательств существования Лиги так и не нашли.

Сопоставляя усилия сыскной полиции и журналистов, невольно приходишь к выводу, что полиция ничего и не искала. Если журналисты изо всех сил стремились превратить слух в факт, то представители государства опасались именно этого. Слух можно использовать в полемике, его можно обращать против своих врагов, но с фактом нужно что-то делать. Так и осталась Лига самоубийц, созданная совместными усилиями представителей разных общественных и культурных слоев, одним из самых интересных феноменов российского *безвременья*. Она существовала на пересечении нескольких дискурсов, высокой и массовой культуры, серьезной и бульварной прессы. Самоубийцами из Лиги являлись и молодые разочаровавшиеся интеллигенты, и эстетствующие модернисты, и солидные врачи и юристы. Парадоксально, но именно там, в полумифической Лиге самоубийц, посланцы из разных сфер общества нашли общий язык. Если это удалось перед лицом Смерти, то, теоретически, существовала возможность общественного примирения и перед лицом Жизни.

¹⁶⁴ Американская дуэль или самоубийство // Копейка — 1912. — № 1330. — 2 апреля.

¹⁶⁵ К самоубийству студента А. П. Предтеченского // Новая газета. — 1912. — № 7 — 1 апреля.

¹⁶⁶ Там же Л 20

НА ЗАРЕ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА: ОБРЕТЕНИЕ ИСТОРИИ

Русская действительность, насколько она проглядывает сквозь обратившуюся к ней литературу, напоминает начавшего поправляться тяжелобольного. Смутны признаки выздоровления, и тяжела болезнь, которую им приходится преодолевать, но перелом все-таки начался, и, если не произойдет каких-нибудь новых осложнений, больной начнет поправляться и будет способен работать и бороться.

*Н. Коробка, Литературное обозрение*¹⁶⁷

Самоубийство не могло и не должно было превратиться в единственный выход из тупика *безвременья*. Интеллигенции нужно было научиться жить по-новому, найти для себя жизненную основу. Ее призывали из антигосударственной и антипатриотической стать государственной, из антирелигиозной — «действительно культурной» и верующей, из духовно-высокомерной и нетерпимой — «истинно гуманной»¹⁶⁸. Причем эту трансформацию следовало осуществить в короткий срок, ибо, «если не удастся сделать в России государственную интеллигенцию сознательными усилиями, она в ней народится, как результат целого ряда катастроф, если только за это время не погибнет и не расчленился само государство. Пока мы живы, наша задача предупреждать эти катастрофы и готовить людей, способных к творческой работе»¹⁶⁹.

Итак, одна альтернатива — стать «государственной» интеллигенцией — была сформулирована довольно рано. Так же рано выяснилось, что к такому перерождению антиэтатистская русская интеллигенция в массе своей не готова. Не способствовал подобному перерождению прежде всего архаический режим, определявший лицо российской государственности. Бывшая радикальная интеллигенция менее болезненно относилась к теории «малых дел», возможностям земской работы, общественного профессионального служения, чем к идее слияния с государством, превращения в «государственную» интеллигенцию. Ей требовалось время — не только для того, чтобы определить свою новую социальную

¹⁶⁷ Коробка Н. Литературное обозрение // Запросы жизни — 1912. — № 9. — С. 552—553.

¹⁶⁸ Изгоев А. С. Русское общество и революция — М. Изд-во журн «Русская мысль», 1910. — С. 10. Собственно, это была программа «Вех». К тем же ценностям пытались привлечь внимание интеллигенции русские либералы тех лет.

¹⁶⁹ Там же — С. 11.

физиономию, но и для переосмысления собственного прошлого. Последняя задача действительно не терпела отлагательств.

В 1912—1913 годах писатели и критики предложили ряд произведений, где само *безвременье* осмысливалось как пройденный этап. *Безвременье* имело начало, конец и внутренний вектор развития. Оно продолжало историю «золотого века»: мифологические времена, революция, время умирания мифа. Самые первые компиляции из нескольких литературных произведений послереволюционного периода предложили критики, объединив наиболее значительные с их точки зрения тексты *безвременья* в условный единый текст. Критик «Русских ведомостей» прочитал «Коня Бледного» В. Ропшина, «У порога неизбежности» Л. Семенова и «Рабочего Шевырева» М. Арцыбашева как повесть об «одних и тех же героях» и об «одном и том же подавленном душевном состоянии». Три конкретных произведения, увиденных как одно, оказывались большим, чем текст, — это было наглядное крушение «целого мирозерцания»¹⁷⁰.

Критик Елена Колтоновская в 1912 году выстроила свой коллаж из трех романов: «Санина» М. Арцыбашева, «Мертвой зыби» О. Миртова и «Чертовой куклы» З. Гиппиус. В центре получившегося изображения стоял герой — «наследник Санина», участвовавший в революции, но сделавший выбор в пользу «нового индивидуалистического сознания»¹⁷¹.

1912 год был пятым послереволюционным годом. Новогодние номера ведущих российских газет спешили напомнить читателям об этом важном юбилее. По традиции новогодние выпуски готовились особенно нарядными, многополосными, разнообразными по содержанию. Основным элементом праздничной газеты считался большой отчет за прошедший год по всем аспектам социальной, политической и культурной жизни страны. В 1912 году журналисты отчитывались не за год, а за пять сложных послереволюционных лет, подводя первые итоги очередного российского *безвременья*. Литературная история пятилетия в газетных отчетах предстала в виде сложных и многоплановых коллажей. Получавшееся изображение выходило за рамки отдельных текстов, демонстрируя скрытую от поверхностного взгляда тенденцию развития «литературы и жизни».

Критик «Русских ведомостей» И. Игнатов создал большую и достаточно типичную для жанра новогоднего отчета картину литературного пятилетия. Литература *безвременья* принципиально отличалась от беллетристики и поэзии революционной поры, заявил он. Революция ушла из литературы. Вместо Героя-революци-

¹⁷⁰ И. Литературные отголоски // Русские ведомости. — 1909. — № 41. — С. 2.

¹⁷¹ Колтоновская Е. Наследники Санина // Колтоновская Е. А. Критические этюды. — СПб.: Изд-во «Просвещение», 1912 — С. 69—83

онера явился сверхчеловек Арцыбашева. Игнатов помещает в свой коллаж культового героя поколения, которое еще недавно «стреляло из револьвера» на стороне революции¹⁷².

Жизнь и литература «снабжали» друг друга «трупными впечатлениями», рождали отчаяние и разочарование. У интеллигенции «уже не было сознания прежней правоты действий», что с очевидностью демонстрирует «Конь Бледный» Ропшина¹⁷³. Рядом с повестью писателя-террориста в коллаже Игнатова возникают «Вехи» — сборник статей о русской интеллигенции. Предложенный авторами «Вех» вариант спасительного пути разрабатывала для интеллигенции беллетристика, позаимствовав две основные темы сборника: вера и самоусовершенствование. Вера в литературе *безвременья* заместилась разного рода мистицизмом, а совершенствование человека оказалось невозможным «среди несовершенных». Беллетристика свидетельствовала, что «все кумиры повержены». На место Героя пришли «живые трупы», как, например, в рассказе «У порога неизбежности» Леонида Семенова.

В конце концов Игнатов исключал «Вехи» из своего литературного коллажа, ведь писатели уже доказали невозможность немедленного спасения на путях буквального следования программе сборника. Так на что опереться, в чем искать опору? — спрашивал критик. «Ни в чем, ты обречен», — отвечала литература в лице Ропшина, Арцыбашева, Л. Андреева, Юшкевича и др. «И действительность подтверждала литературные выводы длинными рядами застрелившихся, отравившихся, повесившихся, утопившихся»¹⁷⁴. Можно было, подобно Юруле из «Чертовой куклы» З. Гиппиус, жить бездумно: «как ни жить, лишь бы жить». Или вместе с литературной юмористикой высмеивать все то, что прежде боготворил. Но Игнатов не видел в этом смысла. Он так и не сумел найти подходящий сюжет и подходящего героя, чтобы завершить свой новогодний отчет. Пути жизни и литературы расходились, юбилейный 1912 год автор литературного коллажа встречал на перепутье¹⁷⁵.

В 1912 году на смену критическим коллажам пришли собственно литературные *метатексты*, содержавшие в себе сразу все темы *безвременья*, превратившие их в объект дискурса. В рамках новых *метатекстов* этапы интеллигентских послереволюционных взлетов и падений выстраивались вдоль определенного вектора, в начальной точке которого значилась революция 1905—1907 годов, а в конечной — революция в интеллигентском отношении к жизни.

¹⁷² Игнатов И. Литература и жизнь. Пятилетие в литературе // Русские ведомости. — 1912. — № 1. — С. 5.

¹⁷³ Там же. — С. 6.

¹⁷⁴ Там же.

¹⁷⁵ Там же.

Получалась целостная картина событий, которые раньше распались как кусочки мозаики. Теперь мозаику собрали, проанализировали изображение, и восприятие краха литературной мифологии подполья лишилось своей былой эмоциональной интенсивности.

В драме Е. Чирикова «Дом Кочергиных» в гостях у хозяина интеллигентные гости ведут разговоры на темы *безвременья*. Сама форма — салонные беседы — противоречит пафосности, вместо Героя выведена застольная компания, спокойный обмен мнениями делает излишним пылкие разоблачительные монологи. Не отдельные «открытия» *безвременья*, а все прошлое интеллигенции проговаривается, становясь объектом дискурса. Этот исторический по типу дискурс задается жизненной историей 32-летней героини, в которой воплощены черты интеллигентского поколения «золотого века»:

Жила-была барышня... Да на свою беду прочитала она повесть одного писателя, который ей сказал: отбрось это счастье и ищи большого, красивого!.. И стало барышне скучно, и показалось ей, что ей суждена иная доля, лучшая... Но барышня не знала, как ей подойти к этой лучшей доле. Она думала, что писатель, который разбудил в ней тоску по иной жизни, должен это знать... Ну, она написала ему трогательное письмо, где умоляла спасти ее от среды, от прошлости и т. д. и спрашивала «что делать?» А писатель... определил ее на акушерские курсы! ...И всю молодость... была на побегушках у вашего общего блага... Все куда-то надо было сходить, отправить, встретить... и стыдно было думать о себе и стыдно было любить... и стыдно сказать, что любишь [...] А жизнь-то и утекла, как песок, меж пальцев!¹⁷⁶

В монологе «старой девы» есть все: влияние литературы и авторитета писателя, характеристика радикального этоса, переоценка партийного существования и приговор — «жизнь ушла» (название нашумевшего рассказа Ю. Безродной). Подобные ретроспективные монологи произносили и герои других *метатекстов*. Буквальное повторение этих выступлений свидетельствовало об общих источниках, из которых черпали писатели:

...вспомните ваше детство, ваших друзей, вашу юность и ваши интересы! Уже тогда не было настоящего, а было будущее [...] А книжки, все книжки... говорили нам о широких задачах, рисовали заманчивые образы героев [...] Законченные люди к двадцатому году, достойные того, чтобы быть борцами за большое дело, но с глазами и мозгом, устроенными так, чтобы в даль глядеть, и никогда себе под ноги [...] Жизнь огромная, многогранная и бесконечная, жизнь — то, что не поддается словам, то, чего никогда нельзя понять, то, что нельзя остановить и опутать словами — она не может нас принять к себе, потому что не она нас вскормила, а вскормили нас лишь мысли и книжки...¹⁷⁷

¹⁷⁶ Чириков Е. Дом Кочергиных // Чириков Е. Общественная драма — М.: Московское книгоиздательство, 1912 — С. 210

¹⁷⁷ Шенталь Р. Виктор Стойницкий // Вестник Европы — 1911 — Т. 1 — С. 124—125

Герой романа «Виктор Стойницкий», произносивший этот монолог, покончил жизнь самоубийством. Его возлюбленная нашла спасение в науке, их друзья — все бывшие революционеры — каждый воплощали одну из тем *безвременья*. Итогом их мытарств стала переоценка самого *безвременья* — «они говорят о безвременье, а мы видим полный расцвет в науке, в искусстве»¹⁷⁸.

В драме В. Свенцицкого «Интеллигенция» уцелевший кружок верных своим принципам интеллигентов решает издавать журнал для народа. Однако кружок разлагается на глазах, его участники проговаривают все этапы крушения радикального мифа, идейный руководитель и наиболее талантливый литератор превращается в толстовца, призывает учиться вере у мужика и в конечном итоге сам уходит за стариком странником. Уход руководителя кружка воспроизводит и уход Льва Толстого, и «уход» людей «серебряного века» в сектанты, и символический уход из мира Подпольной России:

...дело ваше и жизнь ваша никчемна. И когда вы сознаете это, как сознал я, — вы неизбежно, как я же, броситесь прочь от старой жизни...¹⁷⁹

Энциклопедией *безвременья* можно было бы назвать повесть А. Воиновой-Дандуровой «Записки курсистки»¹⁸⁰. Провинциалка приезжает в Москву на Высшие женские курсы. Но студенческая среда описана вне контекста занятий: автора интересуют лишь разговоры. Разговоры о политике, философии, а чаще всего — о литературе. Параллельный мир Подпольной России присутствует в тени студенческого мира:

Пройдет время и «тайное станет явным», — а пока жизнь Бэлы и всех партийных работников покрыта непроницаемой тайной... — А вы не могли бы там работать? — спрашивала я Дашу. — Нет, не могла бы! — искренне созналась она. — У меня слабый характер, выдержки нет, а там все сильные, смелые люди... — А знакомые у вас есть там? — Нет! — мотнула головой Даша. — Ведь «они» живут очень замкнуто и строго... В свою среду почти никого не пускают из посторонних. И потом очень заняты. У них нет времени тратить на пустые разговоры¹⁸¹.

Далее описана революция 1905—1907 годов, когда «политические мученики» вышли на улицы, а затем идет глава, начинающая-

¹⁷⁸ Шенталь Р. Виктор Стойницкий // Вестник Европы — 1911. — Т. 1. — С. 203.

¹⁷⁹ Свенцицкий В. Интеллигенция. Драма в 4-х действиях и 6-ти картинах. — М.: Изд-во В. П. Португалова, 1912.

¹⁸⁰ К сожалению, нам не удалось восстановить действительную жизненную историю Воиновой-Дандуровой, и соответственно — прояснить степень автобиографичности «Записок курсистки». Об авторе записок известно, что в 1912 г. она жила в Москве и активно участвовала в женском движении: в феврале 1912 г. она читала доклад («Женщина в любви и материнстве») на собрании лиги равноправия женщин; 26 апреля того же года в Московском женском клубе она выступала на тему «Женский вопрос в его современной постановке». См.: Московские вести // Русские ведомости. — 1912 — № 58 — С. 4, Там же — 1912. — № 97. — С. 4.

¹⁸¹ Воинова-Дандурова А. Записки курсистки — М «Сфинкс», 1913 — С. 127.

ся характерной фразой: «Летом печатался в «Современном Мире» роман Арцыбашева *Санин*».

В каждом доме, в каждом сердце, в каждом уме «Санин, Санин, Санин!» И вместе с Саниным, взамен Маркса, Энгельса, Каутского, полезли на стол книги: Форель, Вейнингер, брошюры под громким названием: «Проблемы пола»...¹⁸²

Постепенно курсистка, героиня «Записок», проникается жалостью к своим прежним кумирам — партийным интеллигентам. Ее вкусы меняются: она ходит на лекции «О смысле любви», посещает Художественный театр, где идет пьеса «Бранд», которого она ценит за «цельность религиозного мировоззрения». В «Записках» мелькают имена Ропшина и Азефа, фразы о «духовной нишете и банкротстве», и наконец следует вывод — «больше нет религии, нет революции, нет литературы...»¹⁸³. Соответственно, нет и Подпольной России.

Действительно, ее мифы больше не довели над писателями. Освободившись от жестких жанровых и семантических ограничителей радикальной субкультуры, литература предложила уже не мифологическую, а историческую модель радикального подполья. Эта модель накладывалась на конкретную историю раскола «Народной воли», а также на общероссийскую политическую карту в целом.

В повести «История одного убийства» И. Павловский рассказал о параллельном возникновении двух политических движений. Одно ставило целью поднятие идейного и образовательного уровня народа, ибо «строй меняется от перемены образа мыслей людей», второе провозгласило террор. Террористическая партия была тоталитарна, строго конспиративна и допускала использование провокации. Ее конкуренты-легалисты пытались отстоять более корректные способы политической борьбы, воспроизводя аргументы, звучавшие в адрес радикальной интеллигенции в *безвременье*:

Оно (правительство. — *М. М.*) убивает, и мы должны убивать, оно шпионичает, и мы должны шпионичать. Где же разница между ними и нами? Тут насилие, и там насилие¹⁸⁴.

Но общество поддержало именно террористическую партию, и из рядов легалистов люди уходят в террор. «Про них рассказывались необыкновенные легенды» — именно террористов общество сделало своими героями. Постепенно террористы перешли к экспроприациям, выдавая и их за «революционные акты». В конечном итоге, вся эта деятельность заканчивается грандиозной провокацией¹⁸⁵. «Ис-

¹⁸² *Воинова-Дандурова А* Записки курсистки. — С. 287

¹⁸³ Там же. — С. 369.

¹⁸⁴ *Павловский И* История одного убийства // Исторический вестник. — 1912. — Т. СХХVII. — № 1. — С. 36.

¹⁸⁵ Там же. — № 6. — С. 737—764.

тория одного убийства», по существу, содержала в себе историю радикальной интеллигенции, показывая пройденный ею путь как переход от жизни в мифе к демистификации существования. Не случайно критики выделяли именно «фактическую правду» повести¹⁸⁶.

Постепенно, в результате совместных усилий писателей, читателей и критиков, радикальная интеллигенция создала историческую метафору своего прошлого, проследила корни собственных проблем и впервые разделила ответственность за них с государством, которое ранее считалось единственным виновником всех бед. Настоящее постепенно реабилитировалось, и его контуры наносились на карту истории. Будущее предлагалось оставить следующим поколениям.

Жизнь во всех своих бесчисленных проявлениях — в светлых и темных своих одеждах: в своей грубости и в своей нежности, в преступлениях и в подвигах, в добре, любви, красоте и жалости, — вся жизнь человеческая — вот предмет нашего издания —

так формулировали программы новых журналов их редакторы, свободные от комплексов «направленства»¹⁸⁷. Эпоху общественных направлений «как мирозозерцаний, как религий» они смело относили к прошлому¹⁸⁸.

Конечно, та часть радикальной интеллигенции, которая оставалась верна «заветам», уходить в историю не желала. Она по-прежнему старалась реанимировать вечно живое время мифа, заклиная: «...наш путь — прежний вековой путь русской интеллигенции, освещаемый заветами прошлого»¹⁸⁹. Однако в новой ситуации сами эти усилия воспринимались как политическое доктринерство, не заслуживающее того широкого признания, которым располагала мифология «золотого века». Попытки восстановления Подпольной России, проведения границ радикального мира, замыкания в «ограниченной узкопартийной работе» трактовались как крайность. Такая же крайность, как и бегство от политики¹⁹⁰.

Большинство интеллигенции отказалось от посредничества литературной мифологии в деле примирения с новой жизнью. С распадом семиосферы Подпольной России и усложнением организации семиотического пространства России Легальной прежняя зыбкая граница покинула пределы литературы. Исчезла тотальность и однозначность, присущие ранее беллетристике подполья.

¹⁸⁶ *Измайлов А.* Хрестоматия новой литературы // Новое слово — 1912. — № 8. — С. 118.

¹⁸⁷ *Жизнь* (Казань). — 1912. — № 1. — С. 1.

¹⁸⁸ *Струве П.* Почему застоялась наша духовная жизнь // Русская мысль. — 1914. — Кн. 3. — С. 106.

¹⁸⁹ *Иванов-Разумник* Заветное (1914 г.) — Пг.: Изд-во «Эпоха», 1922 — С. 170.

¹⁹⁰ *Кускова Е.* Факты и настроения // Современник — 1914. — Кн. 1. — С. 76.

Произошло то, что сама интеллигенция *безвременья* назвала «отодвиганием литературы»¹⁹¹.

Понятно, что речь шла не просто о литературе, а именно о литературе как идеальной реальности. Осознав опасности, которые таит в себе беллетризация жизни, интеллигенция должна была найти для себя нишу в «реальной» реальности, а значит — изменить собственной природе. Интеллигенция кануна первой мировой войны в массе своей все меньше походила на рыцарский орден. Интеллигенция начинала идентифицировать себя с «общественностью», постепенно вписываясь в меняющееся на глазах российское общество.

Этому процессу не суждено было завершиться. Мировая война, придавшая всему обществу дополнительный импульс для объединения вокруг государственной идеи, закончилась полным крахом старой российской государственности и распылением «общественности». В огне войны сгорели выстрадавшие интеллигенцией в годы *безвременья* ростки нового отношения к жизни.

Когда убивание человека человеком стало системой, жизнь подешевела и стала *привычно* бесценной...¹⁹²

Войны и революции превращают в радикалов даже умеренных людей, не говоря уже о тех, чья сознательная жизнь прошла в борьбе за эту самую революцию. Но при ином историческом раскладе мифологическая одиссея радикальной интеллигенции, ею же самой осмысленная как История, могла завершиться и по-другому — менее болезненно как для самой интеллигенции, так и для страны в целом.

¹⁹¹ Шапир Н. Учительство литературы // Русская мысль. — 1913. — Кн. 4. — С. 37; Философов Д. В. Весенний ветер // Философов Д. В. Слова и жизнь: Литературные споры новейшего времени (1901—1908 гг.). — СПб.: Изд-во Акционерного общества типографского дела в СПб., 1909. — С. 3; Королицкий М. Литературные наброски // Студенческая жизнь. — 1911. — № 44. — С. 6; Колтоновская Е. Новая жизнь: критические статьи. — СПб.: Изд-во «Самообразование», 1911. — С. III — IV. Интересно, что период «отодвигания литературы» совпал с распространением кинематографа: массовую беллетристику — создательницу мифов сменила новая массовая форма «фабрики грез». Но если читатели делились на группы в зависимости от того, какие книги или журналы они читали или принципиально не читали, то киноаудитория была единой. В кино ходили все: студенты и полицейские, различные представители интеллигенции, рабочие, торговцы, проститутки, военные — буквально все слои городского населения. Киноаудитория начала века может рассматриваться как модель формировавшегося в России нового общества, завязывавшихся новых социальных связей. См. об этом подробнее: Yuri Tsivian, «Early Russian Cinema and its Public» in *Historical Journal of Film, Radio and Television*, 1991, v. 11, # 2, p. 105—120.

¹⁹² Белов А. А. О войне, нации и праве // Студенчество жертвам войны. — М.: Изд-во студенческого общества искусств и изящной литературы при Императорском Московском университете, 1916. — С. 75.

«И УВИДЕЛ Я НОВОЕ НЕБО И НОВУЮ ЗЕМЛЮ» Вместо эпилога

Выстраивая линию от Мифа «подпольного человека» к созданной им Истории, я постоянно ощущала соблазн скоропалительно втиснуть деконструированную реальность в некий новый метанарратив. Хочется надеяться, что сочетание дискурсивного анализа с семиотическим подходом и традиционными методами исторического исследования уберегло меня от абсолютизации собственной мифологемы, а привлеченная масса эмпирических свидетельств помогла отсеять неправдоподобные обобщения. Однако факты не в состоянии предупредить кристаллизацию реконструированной истории в читательском восприятии. Помимо авторской воли эта книга может быть прочитана как некая законченная, сбалансированная внутри себя и лишенная противоречий мифологема. В моей власти спрогнозировать наиболее вероятные направления такого гипотетического «дооформления» текста книги и сформулировать к ним свое отношение в «последнем слове».

Существование наших героев как бы прекращается в 1913 году, и в рамках данной книги их последующая историческая биография не актуальна. Но реальная история не останавливалась: в 1914 году России ожидала мировая война и начало новой кровавой революционной поры. Ничто не мешает читателю мысленно перенести финальную точку повествования в 1915 или 1917 год, отчего рассказанная в книге история предстанет в новой перспективе. Возникает желание дописать ее в поэтике трагедии («все было тщетно, спасения не было») или драмы («если бы не война... если бы не революция»). Действительно, на уровне истории дискурса или социологического анализа героические усилия интеллигенции по преодолению своей родовой мифологии кажутся тщетными. Снова вернулись знакомые герои, и на сей раз свой шанс они не упустили.

Но отвлечемся от поверхностного пафоса. Кто были те люди, которые во второй половине 1910-х годов воспроизводили основные черты классической радикальной мифологии?

Этот вопрос находится за пределами основного пространства нашего исследования, и поневоле ответ на него будет схематичным, лишенным эмпирического подтверждения. И тем не менее... Есть основания предполагать, что люди, причастные Подпольной России и прошедшие впоследствии чистилище *безвременья*, оказались устойчивы к новому искушению. Говоря о конкретных личностях, этот те-

зис подтверждается на примере Б. Савинкова, больше всего опасавшегося вырождения революции в анархию. На уровне социальной группы можно указать на российских либералов, когда-то сочувствовавших Подпольной России и тоже говоривших на языке ее мифологии. Наиболее радикальную линию на бескомпромиссное углубление революции возглавили именно те партии и личности, которые закрылись от *безвременья* в тоталитарных партийных структурах и начетничестве или вынужденно пережидали его на каторге и в тюрьмах.

Если принять это предположение, то картина общественного раскола 1917 года приобретает дополнительное измерение: это был конфликт между «людьми истории» и «людьми мифа». Яркие образы революционной мифологии на уровне массового сознания придавали определенный смысл и логику происходящему. В ходе революции организованные массы причащались сакральному знанию Подпольной России («мартовские эсеры» и т. п.), не изведав еще горечи разочарования. Наверняка формировавшиеся вокруг Временного правительства «реалисты» разных политических убеждений узнавали себя во вдохновенных советских демагогах. Но сделать что-либо, открыть им глаза они были бессильны. Безусловно, они и сами находились в плену определенных мифологем: война до победного конца, единая и неделимая Россия, Учредительное собрание и т. п. Но это были «частные» мифологемы, которые не могли претендовать на тотальный контроль всего миропонимания. Главное — они поддавались рациональному анализу.

Помимо деления на «радикалов» и «реалистов» интеллигенция 1917 года делилась на множество профессиональных, партийных, культурных групп. За годы *безвременья* у разных представителей интеллигенции успела сформироваться своя отдельная история вместо прежней универсальной «интеллигентской» социальной биографии, на которую нанизывались конкретные человеческие судьбы. Российская образованная публика дифференцировалась, перемешалась, многие представители интеллигенции в гораздо большей степени ассоциировали себя с «общественностью», чем с «классической интеллигенцией». Одним словом, проецируя рассказанную в этой книге историю в 1917 год и далее, необходимо четко отдавать себе отчет, о какой группе интеллигенции идет речь. Видимо, применительно к революционному периоду сам термин «интеллигенция» нуждается в дополнительных комментариях. По крайней мере, в 1917 году мы сталкиваемся уже не с прежней интеллигенцией кануна 1905 года, а с группой образованных людей, по-разному определяющих свое место в обществе. Часть из них предпочла вернуться к тому способу самоидентификации, который сформировался в рамках Подпольной России. Другие искали новых путей.

Так или иначе, любое возможное продолжение этой книги, будь то история победителей или история побежденных, эпопея эмиграции или попытка профессионалов в Советской России примириться с режимом, будет описывать уже историческое, а не мифологическое время. Революция, гражданская война, общественная перестройка требуют от людей творческого отношения к жизни. Воспроизводить шаблонный сценарий в такие времена невозможно. Наследники классической российской интеллигенции, оставшиеся в Советской России и распыленные по миру, создавали свои Истории, обретая «новое небо и новую землю».

Марина МОГИЛЬНЕР

**МИФОЛОГИЯ «ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»:
РАДИКАЛЬНЫЙ МИКРОКОСМ В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА
КАК ПРЕДМЕТ СЕМИОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА**

Редактор *О. Лекманов*
Корректор *Л. Морозова*
Верстка *В. Дзядко*

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:
129626, Москва, а/я 55
тел. (095) 976-47-88
факс (095) 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6.05.1997



Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Печ. л. 13.
Отпечатано с оригинал-макета в ППО «Известия»
103798, Москва, Пушкинская пл., 5. Заказ № 5146.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

МИФОЛОГИЯ «ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»



НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ